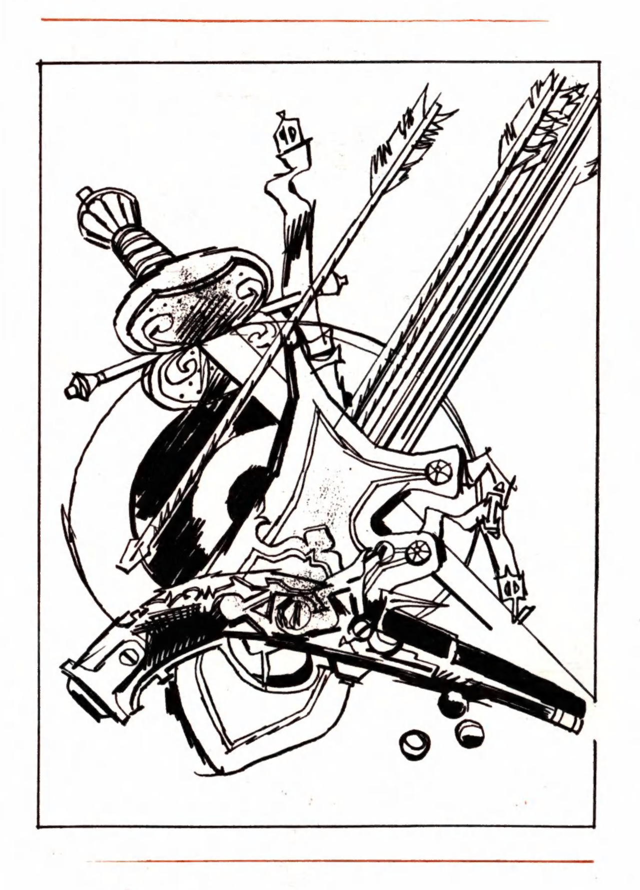

Анатолий Юсин
Душой исполненный полет...


17
17

Анатолий Юсин

Душой исполненный полет...





Анатолий Юсин

Душой исполненный полет...



Москва
«Физкультура и спорт»
1988

Рецензент Д. М. УРНОВ

Юсин А. А.

Ю89 Душой исполненный полет... — М.: Физкультура и спорт, 1988. — 367 с., ил.

Книга рассказывает о том, какое место занимала физическая культура в жизни А. Пушкина, Д. Байрона, М. Лермонтова и А. Куприна, Л. Толстого и Э. Хемингуэя.

Надеемся, что пример героев книги поможет многим людям от созерцания спорта перейти к активному его освоению, позовет на стадионы, в походы по прекрасной стране, которая зовется нашей Родиной.

Для массового читателя.

Ю $\frac{4201000000-006}{009(01)-88}$ 50-88 ББК 75.4



"БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ"

«БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ»



«И чудную поведал он мне тайну»

История одного поиска

«Обув железом острым ноги...» «А ведь Пушкин, сто шестьдесят лет назад написавший эти строки, наверняка умел кататься на коньках. Да так, что ветер свистел в ушах» — эта мысль впервые поразила меня, когда я шел в пушкинское Михайловское. У ворот усадьбы, на высокой, обрубленной ганнибаловской липе, я увидел в гнезде двух аистов. Время от времени птицы наклонялись, словно приседая, что-то ковыряли клювами, а затем, взмахнув крыльями, снова застывали в прежней позе. Их движения почему-то напомнили мне движения конькобежцев, когда те имитируют бег безо льда. И я толкнул в бок Севку Шиловского — тогда еще не народного артиста РСФСР, а просто актера и режиссера МХАТа, который в юности был отличным скороходом, имел первый разряд и тренировался у чемпиона России 1913 года и победителя первенства Советской России 1921 года Никиты Ивановича Найденова, — так вот, я толкнул Шиловского:

— Как на коньках, а?

— Ну и фантазия у тебя! — отмахнулся мой спутник.

Мы шли по невысоким холмам, среди сосен, песчаных проселков и бесчисленных озер, стояли над коричневой Соротью, мы были в Пушкинском заповеднике. И там-то у нас начался спор о том, умел ли Пушкин кататься на коньках.

— А если не умел, то как у него получалось так проникновенно:

Опрятней модного паркета,
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед...

Мы стояли на высоком пушкинском холме, откуда открывалась сказочная панорама: ниточка Сороти, которую словно кто-то небрежно бросил на равнину. И несмотря на то что луга были изумрудно-зелеными, я продекламировал:

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих ровных рек...

— Так все же: умел Пушкин кататься на коньках? Испытывал ли радость от скольжения по застывшему лону вод?

— Наверное, все же не умел.

— Почему?

— Иначе бы Онегин обязательно одел «железом острым ноги» и помчался «по зеркалу стоячих ровных рек». А почему бы и нет? Зима... Что делать-то в деревне?

— Представляю себе морозное декабрьское утро 1824 года, — говорю, подражая актеру-сказочнику, — на крыльцо, вот это самое деревенское крыльцо (смотрю на домик над Соротью), — выходит невысокий, смуглый человек с ясными голубыми глазами. Выходит — и видит: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Читаешь эти строки — представляешь промерзшую чуть не до дна реку, и мальчишек, в золотую пору малолетства живущих беззаботной жизнью,

и гуся, которого какой-то шалун притащил на середину и выпустил из рук, а гусь — птица важная, оступается, скользит, машет крыльями, вытягивает шею, шипит-протестует, ребята же смеются, катаясь вокруг него на деревянных коньках, подбитых снизу железом...

В письме к своему другу П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 года Пушкин признавался: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь».

О многих увлечениях Пушкина можно найти упоминание в его стихах, письмах, документах, комментариях, даже рисунках: о фехтовании, боксе, верховой езде, стрельбе из пистолета, о плавании. А вот о том, катался ли он на коньках, — ничего. Или почти ничего. Или я проглядел? С этого вопроса и началось исследование.

Из биографической хроники жизни Пушкина известно, что 17 декабря 1830 года поэт приезжал в подмосковное Остафьево к своим друзьям Вяземским. Так вот, сын Веры Федоровны и Петра Андреевича оставил такую запись об этом визите: «Пушкин навестил нас в Остафьево. Я живо помню, как во время семейного вечернего чая он расхаживал по комнате не то плавая, не то как бы катаясь на коньках...» «Как бы катаясь» — это на языке современного спорта означает — «имитируя движения конькобежца». Может быть, этот факт подтверждает то, что Пушкин умел кататься на коньках?

Позднее, знакомясь с письмами князя Александра Горчакова — лицейского друга поэта, я нашел в его письме к Е. Н. Пещуровой от 22 ноября 1816 года упоминание о «новом виде развлечений» в Лицее в ту зиму — катании на коньках. Горчаков употребил выражение «окрылив ноги железом», добавив при этом, «как говорит Пушкин». И я решил посмотреть письма других лицеистов,

не мог же один только Горчаков откликнуться на новую зимнюю забаву?

«Окрылив железом ноги» — слова семнадцатилетнего лицеиста... А через тринадцать лет — «обув железом острым ноги...» Какая точность, какое стремление к простоте!

11 января 1975 года исполнилось 150 лет со дня приезда в Михайловское Ивана Пущина — «первого и бесценного друга» Пушкина, с которым он делил «шесть лет соединенья». «Поэта дом опальный» Пущин «первым посетил». Он доставил Пушкину, находившемуся в ссылке под надзором тайной полиции и духовенства, необыкновенную радость, «усладил изгнанья день печальный» и «в день его Лицея превратил». В тот вечер Пущин услыхал от Пушкина последние слова: «Прощай, друг!» А потом была «вечная разлука»... В 1858 году, вернувшись после сибирской ссылки, декабрист Пущин создал свои блистательные «Записки о Пушкине». Их-то я и читал 11 января 1975 года... Словно в первый раз — медленно, раздумчиво... Неожиданно взгляд скользнул на середину страницы: «на коньках»... Уж не наваждение ли?

Столько раз держал в руках эту книгу, многое наизусть помню, а вот эти строки открыл впервые: «Зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни: в саду, на пруде, катались с горы на коньках...» Пущин рассказывает об «увеселениях», которые устраивал директор Лицея для своих питомцев, среди которых был и Пушкин. К сожалению, Иван Иванович не останавливается подробно на описании катания с гор на коньках, но зато он дает любопытную «спортивную» характеристику своего друга:

«Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать

через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острову, куда возил нас на ялике гулять Василий Львович...»

Читаешь Пущина — и вспоминаешь строки Пушкина о самом себе — лицеисте, не вошедшие, правда, в окончательный текст «Евгения Онегина»:

Порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив...

Уже лицеистом Пушкин имел сложный и трудный характер. Человек, принимающий мгновенные решения, он не отличался особой выдержкой и терпимостью. Подобно своему сказочному герою, Пушкин буквально рос «не по дням, а по часам». И всегда и во всем стремился быть первым. Он остро ощущал каждое мгновение жизни, своеобразно реагируя на ее радости и горести. То, что для медлительного Дельвига было мелочью, на которую не стоит обращать внимания, для Пушкина казалось трагедией. И он это понимал. Будучи уже 26-летним, признавался в «19 октября»: «Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья».

Если бы можно было разрешить себе домыслить, то я представляю ледяные горы в Царском Се-

ле, застывший пруд и его — семнадцатилетнего — на железных коньках, спорящего с Горчаковым, Матюшкиным, Пущиным, Яковлевым: кто быстрее? И уж если не получалось быть первым, то он мог со злости сбросить коньки и босиком убежать по льду к себе в четырнадцатую «келью», беспомощно заплакать... И никто, кроме жившего в комнате № 13 Ивана Пущина, не слышал его рыданий... А через 42 года, работая над воспоминаниями о Пушкине, погибшем 21 год назад, тактичный Пущин конечно же не считал такие проявления главными в жизни своего гениального друга.

Свыше полутора столетий поклонники Пушкина ищут его автографы, документы о жизни, увлечениях. Не проходит года, чтобы в разных странах не раздавалось радостного: «Эврика!» — возгласа, сообщающего, что найдена интересная бумага или разведан путь к ней. Как ни обширна Пушкиниана, она в долгу перед любителями Пушкина. Многие материалы еще таятся в частных архивах и коллекциях. Известно, что не обнаружено более 700 писем, десятки стихотворений... В последние годы все чаще стали упоминать об архивной эвристике, которая разрабатывает теорию и методику поиска и учета архивных материалов. Основа архивной эвристики — логические рассуждения, доказательства, которые позволяют научно обоснованно предсказать находки, в том числе и в Пушкиниане...

Известно, что Пушкин был не только поэтом, писателем, редактором, но и талантливым историком. Мы помним, как настойчиво добивался он от царя разрешения работать в архивах, как увлеченно трудился над историей Петра Первого. Эта незавершенная рукопись после гибели Пушкина была запрещена Николаем I, затем затеряна и обнаружена только после Октябрьской революции. К слову сказать, нашли ее в селе Лопасня случайно:

внук поэта Г. А. Пушкин при переезде обратил внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейками. Вся ли это была рукопись? Ответа пока нет...

«Материалы для Истории Петра Великого» опубликованы лишь через сто лет после смерти Александра Сергеевича. Работая под неусыпным контролем Д. Блудова, ведавшего секретными архивными делами, Пушкин написал целый подготовительный том, охватывающий все события Петровской эпохи. Он прочитал и осмыслил почти все книги о Петре, которые были изданы в мире. Он даже добился через Бенкендорфа «дозволения» императора «рассмотреть» купленную Екатериной II и «находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями», которые французский философ получал во время работы над «Историей России при Петре Великом»... Доступ в библиотеку Вольтера в те годы был строго запрещен, лишь для Пушкина сделали исключение... С архивными материалами, привезенными ему из Парижа добрым старым другом А. И. Тургеневым, Пушкин знакомился даже накануне дуэли...

В «Истории Петра I» нет упоминания об увлечении русского царя конькобежным спортом. Видимо, на первом этапе исследования император интересовал историка больше как государственный деятель, а его человеческие привязанности оставались на втором плане. Логично предположить, что Пушкин, знакомый с каждой страницей биографии царя, знал и о том, что голландские историки утверждали, будто Петр впервые приказал приклепать коньки к обуви. Сделал он это якобы, работая в нидерландском городе Заандеме (у Пушкина — Саардаме) в цехе плотников «под именем Петра Михайлова». Строя корабли для России, Петр ув-

лекся в «свободное от работы время» и конькобежным спортом.

Позднее эту версию голландцев подхватили англичане в книге «Искусство катания». Они даже объявили Петра Первого изобретателем конька, привинчиваемого к сапогу. Но как ни лестно это утверждение для нас, россиян, надо, наверное, согласиться с точкой зрения немецкого историка Фрица Ренела, который писал: «Русские долго питали веру в то, что Петр Великий изобрел в Схидаме древо-железный конек, но он его, конечно, не выдумал, а только приобрел и привез в Россию, где бег на коньках долгое время был привилегией двора и сфер».

Здесь необходимо уточнение: коньки были давно известны русским людям, которые очень любили эту полезную забаву. Но они до Петра Первого не соревновались в скорости, не демонстрировали красоту фигур. Английский дипломат Карлейль отмечал в своем дневнике зимнее увлечение москвичей еще в 1663 году — задолго до того, как русский император ездил в страну, лежащую ниже уровня Северного моря в устье трех судоходных рек — Мааса, Шельды и Рейна. Прислушаемся к голосу объективного британца: «Зимой они имеют (как и голландцы) коньки, которые употребляют, когда воды покрыты льдом, но не для путешествия, а только для упражнения и согревания на льду...»

Наверное, здесь уместно сказать о целой истории предположений и доказательств появления слова «коньки». Одно из них таково: слово «коньки» в язык скороходов пришло из русского: «коньки, коньки-бегуны, коньки-горбунки»... Передняя часть деревянных коньков в России издревле — еще до знакомства Петра I с голландскими коньками! — украшалась конской головой. Не отсюда

ли ласковое название, уменьшительное от слова «конь» — «коньки»?!

Справедливости ради отметим: работая в Голландии плотником «под именем Петра Михайлова», император Петр не научился кататься на коньках, а только вспомнил свою первую детскую спортивную привязанность. Ведь он умел кататься уже в 9 лет, а потом остыл к этому развлечению. И лишь в Голландии, увидев повальное увлечение народа бегом на коньках, он не смог остаться равнодушным. И сам встал на коньки, и своих подчиненных увлек примером.

Голландец Яан Номен в записках о пребывании Петра I в Нидерландах в 1697—1698 годах оставил такое свидетельство:

«Москвитяне... пользовались зимним временем и усердно учились кататься на коньках по льду, причем они неоднократно падали и сильно ушибались. А так как они, по неосторожности, иногда катались по тонкому льду, то некоторые из них проваливались по шею в воду. Между тем они отлично переносили холод и потому не торопились надевать сухое платье, а продолжали кататься еще некоторое время в мокром, затем уже переодевались в сухое платье и снова отправлялись кататься. Этим они занимались так ревностно, что делали успехи, и некоторые из них могли отлично бегать на коньках». Запись сделана 6 февраля 1698 года...

Забежим вперед: дальнейший свет на историю коньков проливает заметка, напечатанная в журнале «Геркулес» в 1914 году:

«Со смертью Петра Великого почти исчез в России конькобежный спорт...»

Да, коньки потеряли популярность, и почти сто лет о них в России не было ни слуху, как говорится, ни духу... И лишь в двадцатые годы гениальный Пушкин (он и в пропаганде коньков

— первый!) спел им короткий, но до сих пор непревзойденный гимн:

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих ровных рек...

Именно в годы пушкинской юности коньки возрождаются в России и даже становятся модными. Не случайно в это время издается книга преподавателя гимнастики военно-учебных заведений Петербурга Г. М. де Паули «Зимние забавы и искусство бега на коньках с фигурами». Паули назвал бег на коньках самым «приличным и полезным зимним удовольствием», которое, составляя забаву юношей, «воодушевляет нередко веселость и людей взрослых, возбуждая участие и самих зрителей». Преподаватель гимнастики свидетельствует для истории, что «в течение прошедшей зимы не только число катающихся на коньках значительно увеличилось, но даже кадеты и воспитанники прочих заведений начали наслаждаться этим приятным удовольствием...»

Не один год пытался я найти ключ к теме: «Катался ли Пушкин на коньках?» Пользовался, как говорится, и объездными путями. Так, узнав, что существует картина Каульбаха «Гёте на катке во Франкфурте», я во время поездки в швейцарский город Давос побывал в библиотеке почетного секретаря Международного союза конькобежцев Георга Хесслера и увидел это прелюбопытное полотно.

...Лед отражает голубое небо. Местные модницы пришли на каток, чтобы похвастаться своими нарядами. Автор «Фауста» на старинных коньках, нос которых спиралью загнут внутрь, демонстрирует плавный шаг на правой ноге. Обращают на себя внимание специалистов конькобежного спорта пышные узлы кожаных завязок, которыми прикреплен конек к обуви. Поэт скрестил руки на гру-

ди. Он задумчив, лоб его высок и светел. Движение одухотворенно...

В своем произведении «Пятидесятилетний мужчина» Иоганн Вольфганг Гете отметил, что бег на коньках имеет определенное преимущество перед другими видами спорта: необходимое в нем усилие не слишком горячит человека, а его длительность не мучает. Конькобежец становится гибче, ощущает прилив новых сил. И все это вместе является превосходным отдыхом.

Когда Гете писал своего «Пятидесятилетнего мужчину», он и сам уже был не очень молод. И его увлечение коньками заметно поубавилось. Да и зимы в те годы были капризными — случалось, что пять-семь лет подряд в Германии не застывали катки...

На картине Вильгельма фон Каульбаха Гете изображен на замерзшем Майне зимой 1772/73 года. Даже если художник и чуть польстил поэту, все равно мы должны признать, что Гете был искусным конькобежцем. Живописец запечатлел на полотне и родных поэта — его мать и сестру Корделию, которые восторженно смотрят на катающегося молодого человека...

Нелишне будет напомнить, что в Германии второй половины XVIII века коньки еще не были уважаемым видом спорта. Так, знаменитый организатор физкультурно-гимнастического движения Фридрих Людвиг Ян свидетельствовал: «Занятия коньками перед Семилетней войной (1756—1763 гг. — *А. Ю.*) считались в школе самым тяжким проступком, за который жестоко наказывали. Позже любовь к конькам считалась неприличной. И только после того, как Клопшток воспел коньки, отношение к ним стало меняться...»

Выдающийся поэт и драматург Фридрих-Готлиб Клопшток был просто фанатиком конькобеж-

ного спорта. Он посвятил своему увлечению пять од, и многие историки и по сей день считают его самым активным популяризатором коньков в народе. Своему другу, который постоянно хворал простудными заболеваниями, Клопшток советовал: «От легкой хворобы ты можешь вылечиться только коньками. Самый лучший рецепт — три часа на коньках до обеда и два — после».

Другой немецкий просветитель — Иоганн Кристоф Фридрих Гутсмутс — считал конькобежный спорт важнейшим элементом физической культуры. В изданной в 1793 году «Гимнастике для молодежи» он писал: «Я не знаю более прекрасной гимнастики, чем бег на коньках...»

И Гете, и Клопштока Пушкин читал еще в Лицее по рекомендации Дельвига и Кюхельбекера. Несомненно, был он знаком и с конькобежными одами Клопштока. Но ни в произведениях самого Пушкина, ни в воспоминаниях о нем не нашел я той фразы, той сноски, которую жаждал увидеть: например, «Пушкин, как и Гете, увлекался катанием на коньках» или что-то в этом роде... Обрывалась еще одна ниточка.

Но через некоторое время вновь забрезжила надежда. Мне позвонил Борис Михайлович Чесноков — старейший русский журналист, который еще до революции издавал журнал «К спорту!» и был дружен с замечательными пропагандистами спорта А. Куприным и «дядей Гиляем» — В. Гиляровским; так вот, Чесноков позвонил мне и сказал, что у него есть материалы о Пушкине-конькобежце, обещал показать их. Но потом — заболел, ослеп, не мог без посторонней помощи разобраться в обширнейшем и бесценном своем архиве. А сыну — олимпийскому чемпиону по волейболу — Юрию Чеснокову все некогда... Так и лежит где-то в архиве справочка, выписочка из статьи, ссылка

на чьи-то мемуары, лежит бумажка и не догадывается, что есть люди, которые в поисках ее сотни томов пересмотрели, а ответа нужного не нашли...

Так хочется верить, что Пушкин умел кататься на коньках, но нельзя подгонять задачу под ответ...

Биографы поэта обратили внимание на такой символический эпизод.

31 декабря 1800 года, в последний вечер восемнадцатого столетия, у Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных собрались гости, чтобы встретить не просто Новый год, а новый, XIX век. В полночь раздался звон часов. Первый удар, второй, третий... двенадцатый. Гости поздравили друг друга:

— С новым столетием!

Вдруг открылась дверь — и в залу вошел Пушкин. В одной рубашоночке, полуторагодовалый, он зажмурил глаза, ослепленный множеством свечей. Няня хотела увести ребенка, но «прекрасная креолка», внучка арапа Петра Великого Надежда Осиповна, подняла сына над головой и сказала:

— Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!..

Материнские слова оказались пророческими, хотя и нуждаются в уточнении: Пушкин живет уже два столетия, а ему еще жить и жить.

Жить, и волновать, и быть, как «Джоконда», вечной тайной и загадкой разума...

И загадки в биографии Пушкина везде. Возьмем, к примеру, свидетельство, выданное 9 июня 1817 года воспитаннику Царскосельского лицея: «Александр Пушкин в течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и оказал успехи... в Российской и Французской Словесности, а также в фехтовании превосходные... Во уверение чего и дано ему от Конференции Имп. Царскосельского Лицея сие свидетельство с приложением печати».

Что Пушкин отмечен высшей оценкой по российской словесности — это понятно. Уже в юности он удостоился поразительной оценки П. А. Вяземского: «Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши. **В дыму столетий!** Это выражение — город. Я все отдал бы за него — движимое и недвижимое! Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы **дыма столетий**? О прочих и говорить нечего!» К высшему баллу по французской словесности тоже комментариев не требуется — Пушкин знал этот язык превосходно, недаром одно из его прозвищ было «француз»... А вот превосходное фехтование... Здесь есть о чем порассуждать: тема свежая...

Как известно, в Лицее не было такого предмета — физическая культура. Собственно, и понятия такого до революции не существовало. И предмета «спорт» в программе лицеистов не значилось. А были... Впрочем, почитаем свидетельство Ивана Пущина: «...Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулки три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов.

По середам и субботам — танцеванье и фехтованье...»

Учителем фехтования в Лицее был с 12 июля 1812 года лучший тогдашний маэстро — Александр Вальвиль. Занимаясь с юношами, Вальвиль обобщил свой богатый опыт и написал книгу «Рассуждения об искусстве владеть шпагою». Она вышла в свет в 1817 году, когда питомцы Лицея вышли в жизнь и Пушкин был удостоен превосходной оценки, потому что, по утверждению П. Анненкова, «считался чуть ли не первым учеником известного фехтовального учителя Вальвиля».

В 1816 году император утвердил в лицейской программе обучение верховой езде и плаванию. Первым преподавателем был Дмитрий Крекшин — полковник лейб-гвардии Гусарского полка. Пущин и это новшество отметил в своих «Записках»: «...выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона...» постигали нелегкую, но необходимую азбуку.

А вот с плаванием в Лицее дело обстояло сложнее — сначала не могли найти преподавателя, а потом — зима наступила, специального бассейна не было — пришлось ждать лета 1817 года. К тому времени Пушкин уже был «освидетельствован» как X-го класса коллежский секретарь...

Итак, фехтование и верховая езда — обязательные виды спорта для лицеистов. Пушкин преуспевал и там, и там. Более полувека назад в «Литературном наследстве» были опубликованы отрывки из найденного дневника офицера квартирмейстерской части прапорщика Ф. Н. Лугинина, познакомившегося с Пушкиным в Кишиневе. 12 июня 1822 года только что окончивший Муравьевское училище колонновожатых, которое до известной степени соответствовало Академии Генерального штаба, молодой офицер записал: «...потом дрался с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь». 15 июня еще одно свидетельство: «...опять дрался с Пушкиным, он дерется лучше меня и, следственно, бьет...»

Были в Лицее и упоминаемые Пущиным игры в мячик, беготня, катания на коньках с гор, гребля на яликах... Случались и турниры по борьбе:

Не правда ли? вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни, весной,
Оставя класс, играли мы на воле
И тешились отважною борьбой...
Где вы, лета забавы молодой?

А в одной из поэм есть даже описание приемов борьбы:

Сплетенные, кружась идут по лугу,
На вражью грудь опершись бородой,
Соединив крест-накрест ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотят увлечь друг друга за собой.
...Где вы, лета забавы молодой?

Когда говорят, что всем лицеистам первого поколения повезло, потому что они попали на один курс с Пушкиным и имена всех двадцати восьми его сотоварищей — блестящих, героических, обыкновенных, даже благонравных — мы знаем потому, что они учились с гениальным поэтом, это справедливо. Но, думается, нужно добавить, что и Пушкину до известной степени повезло в том, что его товарищем и соседом по коридору оказался Иван Пущин, что он мог наблюдать за самоотверженным стоицизмом Владимира Вольховского... Оба его товарища в юности зажглись идеей преобразования России, вступили в общество декабристов, готовились к борьбе серьезно, упорно, настойчиво.

Вольховский в Лицее был первым. Рядом с ним уходил в тень даже блистательный Александр Горчаков — будущий светлейший князь, министр иностранных дел, канцлер России. Он был удостоен лишь второй золотой медали, а Большую золотую награду получил конечно же Вольховский... Этот юноша вставал задолго до шести часов, обтирался холодной водой, делал гимнастические упражнения, чтобы разогреть мышцы. Спал он всегда на голых досках, пряча матрац под кровать, вместо подушки — толстые словари. Во время зарядки эти тяжелые книги он клал на голову, чтобы увеличить нагрузку. Потом ходил с этими словарями по комнате, стараясь выработать правильную походку и осанку.

Он с детства хотел стать военным и готовил себя к трудной службе. От рождения слабый, Вольховский сумел достичь гармонии и физического совершенства. Часами сидел на стуле верхом, вырабатывая правильную кавалерийскую посадку. Ни одна минута такого «сидения» не пропадала даром: Вольховский одновременно учил уроки. Он сам изжил все свои природные недостатки, проявив волю, трудолюбие, характер. За спартанский образ жизни друзья прозвали его «Суворчиком» или «Суворочкой». В коллективной лицейской песне про Вольховского говорилось так:

Суворов наш
Ура! Марш, марш!
Кричит, верхом на стуле.

14 декабря 1825 года — в день, когда единомышленники и друзья по Северному обществу вышли на Сенатскую площадь, Владимир Дмитриевич Вольховский, перейдя покрытый льдом Урал, пробивался из крепости Сарайчик сквозь буран вдоль берегов Каспийского моря. Не дойдя 200 верст до Хивы, истощив запасы продовольствия, экспедиция вернулась в Сарайчик. В крепости Вольховского ждал фельдъегерь с приказом: «доставиться в Следственную комиссию»... И хотя экспедиция оторвала его от товарищей по Тайному обществу, как «прикосновенного» к восстанию, Вольховского направили в действующую армию на Кавказ, поднадзорным. Там он через три года встретил Пушкина во время его путешествия в Арзрум, но об этом позднее...

А пока мы обязаны констатировать, что знакомство со спартанцем Вольховским было полезным и поучительным для Пушкина. Ведь недаром поэт вспоминал о нем в стихах:

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,

Пускай Вольховский сядет первый,
Последним я, иль Брольо, иль Данзас.

И через много лет после окончания Лицея Пушкин отдает дань уважения лучшему ученику, который должен сидеть первым в классе. Себе он скромно отводит последнее место, потому что по всем предметам, кроме словесности и фехтования, учился неровно... О Вольховском Пушкин будет вспоминать часто, а в 1833 году напишет ему: «Радуюсь случаю издали напомнить тебе о старом лицейском товарище, искренне тебе преданном. Посылаю тебе последнее мое сочинение. Историю Пугачевского бунта... Мнение твое касательно моей книги во всех отношениях было бы мне драгоценно».

В Лицее Пушкин еще не написал строк: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», но он как бы знал, что человеку не уйти в этой жизни «от поединка со своей собственной судьбою, если он, — как утверждает известный литературовед, профессор Борис Бурсов, — хочет выявить в себе заложенные ею же, судьбой, человеческие возможности, — такова мера человека в пушкинской поэзии, и этим определяются все другие ее качества». «Единственное, чего я жажду, это — независимости (слово неважное, да сама вещь хороша),— признавался Пушкин во время ссылки в Одессу А. Казначееву — управителю канцелярии графа М. Воронцова. — С помощью мужества и упорства в конце концов добьюсь ее».

Мужество и упорство! — без них нет характера настоящего мужчины. И Пушкин — свидетель того, как закалял свою волю Вольховский,— сумел и сам вылепить характер твердый, непреклонный, не укладывающийся подчас в общепринятые рамки и представления, буйный, нетерпимый, свободолюбивый.

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» — этот вывод он делал в 1836 году в большой статье о Вольтере — философе с мировым именем и одновременно робком камергере прусского короля Фридриха II, не всегда умевшем сохранять личное достоинство.

Пушкин понимал: «...гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества...» Сам Пушкин — камер-юнкер при дворе Николая I — с царями держался независимо, гордо, не скрывая своего отвращения к службе, к великосветским будням: «Я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов».

«Настоящее место писателя есть его ученый кабинет...»

«Я предпочел бы быть заточенным всю свою жизнь, чем заниматься в течение двух часов делом, в котором я должен отчитываться», — говорил он 23 марта 1822 года Павлу Долгорукову, который жаловался на занятость ненужной работой. И это были не только слова, ибо всей своей жизнью, каждой своей бессмертной строчкой он утверждал право на свободу творчества.

Поэт гениально предвидел: чтобы творить, надо быть сильным. Нравственно и физически.

Пушкин, может быть подражая Вольховскому, носившему тяжелые словари, тоже обременял себя. Чиновник канцелярии Воронцова Никанор Лонгинов отметил в своем дневнике 21 июля 1823 года: «Пушкин ходит с тяжелой палкой для того, чтобы рука была тверже...»

Эту палку, трость, посох — как ее только не называли — Пушкин приобрел, когда жил в Кишиневе. О ней, кроме Лонгинова, упоминают в мему-

арах И. Липранди и М. де Рибас. Весила она 2 килограмма 400 граммов (6 фунтов), имела длину 88,5 сантиметра и Т-образную ручку 10,5 сантиметров.

Посох — необходимая принадлежность путешественника, странника, ходока. И естественно, что неутомимый ходок Пушкин нигде не мог обходиться без посоха. Упражнения для рук надолго останутся любимыми физическими упражнениями Александра Сергеевича. В псковской ссылке, по свидетельству кучера Петра Парфенова, он тоже баловался тяжестями: «Палка у него всегда железная в руках. Девять фунтов весу; уйдет в поля, палку вверх бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор».

А вот запись рассказа Афанасия — крестьянина деревни Гайки, опубликованного в дореволюционной печати: «Бывало, идет Александр Сергеевич, возьмет свою палку и кинет вперед, дойдет до нее, поднимет и опять бросит вперед, и продолжает другой раз кидать ее до тех пор, пока приходит домой».

Про михайловский посох, с которым Пушкин не разлучался, упомянул и шпион А. Бошняк в своем доносе 1826 года: «На ярмарке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясанной розовою ленточкою, в соломенной широкополой шляпе и с железною палкою в руке».

Директор Пушкинского заповедника Герой Социалистического Труда Семен Гейченко рассказывает любопытную историю деревенской трости Пушкина: «Когда Пушкин упал на льду с лошадью, то сильно ушибся. Ему даже пришлось обращаться ко врачам. Доктора, освидетельствовав больного, установили у него «повсеместное расширение кровевозвратных жил, отчего г. кол-

лежский секретарь Пушкин затруднен в движении». Лечение врачи видели в одном — в упражнениях с посохом, он был объявлен необходимой вещью.

В 1826 году Пушкин нарисовал свой автопортрет на странице рукописи романа «Евгений Онегин». Он изобразил себя во весь рост, с палкой в правой руке. У этой палки ручка в виде буквы «Т», она очень похожа на ту железную трость, о которой повествуется в рассказах местных крестьян. Нужно заметить, что Пушкин был очень точен в своих рисунках».

Предание сохранило нам рассказ о судьбе железного посоха Пушкина. Вот как это будто бы произошло.

В 1835 году Пушкин вновь посетил родные места. Он решил навестить подругу своей юности Евпраксию Николаевну Вульф из Тригорского, вышедшую в 1831 году замуж за псковского помещика барона Б. А. Вревского и жившую в его имении Голубово, находящемся неподалеку от Михайловского.

Здесь он провел несколько дней. Покидая радушный дом, Пушкин бросил свой заветный посох в голубовский пруд, может быть, в знак того, что он вновь посетит это место.

Василий Жуковский — «побежденный учитель» — наставлял своего «победителя-ученика» в апреле 1825 года: «Согласитесь, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава, которую ты должен, должен, должен взять (теперешняя никуда не годится — не потому единственно, что другие признают ее такою, нет, более потому, что она не согласна с твоим достоинством); ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность — теперь ты полу-

чил только первенство по таланту... Дорога, которая перед тобою открыта, ведет прямо к великому; ты богат силами, знаешь свои силы, и все еще будущее твое».

«Знаешь свои силы...» Жуковский, говоря это, имел в виду прежде всего силы таланта, но не забудем, что фраза-то начинается с заботы о здоровье поэта, о силах физических. А о своем физическом совершенстве Пушкин заботился непрестанно. «Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, до езды верхом и отлично дрался на эспадронах» — такую характеристику поэту дал его первый биограф П. Анненков.

Конный спорт, фехтование, стрельба, плавание. И если бы еще бег, а не ходьба, то чем не готовый портрет современного пятиборца? Впрочем, нельзя сказать, что и бег оставался забытым. Брат Александра Сергеевича Лев Пушкин в своих «Биографических известиях об А. С. Пушкине до 26 года» сообщает такой факт: в августе 1823 года поэт, влюбленный в Амалию Ризнич, в припадке ревности пробежал «пять верст с обнаженной головой, под палящим солнцем». Пять верст — это больше чем дистанция легкоатлетического кросса в пятиборье. Надеюсь, читатель извинит такую шутку.

Я не собираюсь из Пушкина делать физкультурника. Но позволю себе несколько вопросов: «кто, увлекаясь боксом, был спарринг-партнером у князя Вяземского? кто, подражая лорду Байрону, купался в ледяной воде Сороти? кто устроил тир в михайловском погребе и тренировался в стрельбе из пистолета? кто признавался в своих записках «Путешествие в Арзрум»: «В этот день я

проехал 75 верст. Я заснул как убитый»? кто в Лицее тешился «отважною борьбой»? для кого «с детских лет путешествия были... мечтой»? кто из русских писателей, кроме Гончарова, совершившего кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», но по натуре своей домоседа, и кроме Чехова, полупешком добравшегося до острова Сахалин, кто из русских писателей столько ездил по стране в поисках материала для своих произведений, как Пушкин? И еще один вопрос: что привез Пушкин из Михайловского? Попробую ответить. Два года назад Пушкин приехал в ссылку с двумя чемоданами. А увозили его архив, по свидетельству кучера Парфенова, на нескольких лошадях: «Помнится, мы на двенадцати подводах везли, двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были».

Двенадцать подвод книг и рукописей... Но это вовсе не значит, что Пушкин все 24 часа в сутки проводил за письменным столом. Нет, поэт не забывал и о спорте: в его жизни была гимнастика, было купание, были бешеные скачки. «Пишу тебе в гостях с разбитой рукой — упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического честолюбия», — вырвалось у него 28 января 1823 года в письме к Вяземскому из Тригорского.

Пишу о Пушкине, а перед глазами — современные симпатичные молодые люди, которым не хватает 24 часов в сутках, и потому они, экономя время, вычеркивают из своей жизни спорт. Но при этом забывают основное: чтобы творить, надо быть сильным. И не только разумом и душой. Но и физически! Это ведь так непросто — сочинить страничку текста: сначала раз семь перечеркнешь, разорвешь, вариантов заголовка до двадцати штук наберется; тут и с родными перессоришься (не

всегда понимают твой синтаксис!), и сам себе опротивеешь за беспомощность. А как приступить к следующей странице? статье? очерку? книге? И как не обращать внимания на нервы, от которых, как говорится в народе, все болезни идут? И как при всем при этом не постареть преждевременно, не утратить творческого долголетия?

Может быть, сам Пушкин даст нам ответ на этот вопрос? Он привез из ссылки двенадцать подвод рукописей. Но как работал поэт: до самозабвения, самоистязания! Было ли у него свободное время? Как он проводил его? Вспомним письмо Алексея Вульфа, опубликованное в 1866 году в «Санкт-Петербургских новостях»: «Вы, вероятно, знаете, что Байрон так метко стрелял, что на расстоянии 25 шагов утыкивал свою розу пулями. Пушкин, по крайней мере в те годы, когда жил здесь, в деревне, был помешан на Байроне: он его изучал старательным образом и даже старался усвоить себе многие привычки Байрона. Пушкин, например, говаривал, что он ужасно сожалеет, что не одарен физической силой, чтобы делать, например, такие подвиги, как английский поэт, который, как известно, переплыл Геллеспонт... Чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы, Пушкин вместе со мной сажал пули в звезду над нашими воротами...»

Выдающийся исследователь творчества Пушкина М. Цявловский составил приблизительный распорядок дня поэта в Михайловском:

«По ночам он, проснувшись, встает, садится за стол и пишет;

огонь в комнате его горит без перерыва;

на прогулки выходит с палкой фунтов на девять;

из пистолета в погребе выпускает до ста зарядов в утро;

в летнее время с утра купается в Сороти, зимой принимает ледяную ванну;

играет в два шара на бильярде;

в свободное время много ходит и ездит верхом по окрестностям Михайловского...»

А теперь — свидетельства людей из окружения Пушкина. «Его можно было видеть гулявшим по дороге около деревень или в лесу, — это из воспоминаний крестьян. — Он всегда любил ходить пешком, и очень редко его можно было видеть ехавшим в экипаже».

«В досужное время он в течение дня много ходил и ездил верхом... Вообще, образ его жизни довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимой он, проснувшись, также садился в ванну со льдом, — писал его младший брат Левушка, — а летом отправлялся к бегущей под горой реке, также играл в два шара на бильярде».

Чаще всего играл сам с собой.

«Я с ним не раз купался вместе в речке Сороти, — строки из рассказа крестьянина Ивана Павлова. — В жаркие дни он покупаться любил».

«Плавать — плавал, да не любил долго в воде оставаться, — как бы дополняет кучер Петр Парфенов. — Бросится, уйдет вглубь и — назад. Утром встанет, войдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится — да и назад».

А поэт Николай Языков, не раз составлявший компанию Пушкину в купаниях, оставил нам воспоминания в стихах:

Туда, туда, друзья мои!
На скат горы, на брег зеленый,
Где дремлют Сороти студеной
Гостеприимные струи;
Одежду прочь! перед челом
Протянем руки удалые
И бух! — блистательным дождем
Взлетают брызги водяные!

Это о купании в Сороти, когда поэты, выбежав из баньки в Тригорском, ныряли в холодную воду реки...

П. Бартенев, лично беседовавший со многими современниками поэта, утверждал: «Пушкин много и подолгу любил ходить; во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком, а пройтись около 30 верст от Петербурга до Царского Села ему было нипочем».

Профессор Петр Плетнев, которого Пушкин считал «всем — и родственником, и другом, и издателем, и кассиром», упоминает о режиме дня Пушкина в тридцатых годах: «Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом, с дачи, он ходил пешком для продолжения своих занятий... Летнее купание было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе».

«Весной 1833 года Пушкин переехал на дачу, на Черную речку (дача Миллера), и отправлялся оттуда пешком каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад, — это уже П. Анненков рассказывает о работе и отдыхе Пушкина. — Как только истощались его силы от физического и умственного труда, он шел купаться, и этого средства уже достаточно было, чтобы снова возвратить ему бодрость и способности».

Интересный эпизод вспоминает в «Автобиографической записке» Сергей Михайлович Сухотин, воспитывавшийся в тридцатые годы в Школе гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров:

«Мы с братом (Федором Михайловичем — будущим председателем Московского попечитель-

ного о бедных комитета, тайным советником. — *А. Ю.*) ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против Летнего сада; один раз, барахтаясь в воде и кой-как еще тогда плавая, я не заметил, как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким приветливым голосом сказал: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать, вы не так размахиваете руками, надо по-лягушечному», и тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру; но вдруг от нас отплыв, сказал вошедшему в купальню господину: «А, здравствуй, Вяземский». Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: «Это должен быть Пушкин».

Со слов друга Пушкина Павла Воиновича Нащокина тот же Павел Васильевич Анненков записал: «Пушкин был, между прочим, неутомимый ходок пешком и много ездил верхом, но во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал всю сцену свидания Дмитрия с Мариной в «Годунове». Какое-то обстоятельство помешало ему положить ее на бумагу тотчас же по приезде (приехав домой, он не нашел пера, чернила высохли. Это его раздосадовало. — *А. Ю.*), а когда он принялся за нее через две недели, многие черты прежней сцены изгладились из памяти его. Он говорил потом друзьям своим, восхищавшимся этой сценой, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его, была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он написал».

Много свидетельств того, как Пушкин любил верховую езду, можно найти в воспоминаниях его друзей, близких, да и в письмах самого поэта. К примеру, в октябре 1824 года он сообщает В. Ф. Вяземской из Тригорского: «Все то время, что я не в постели, я провожу верхом в полях. Все,

что напоминает мне море, наводит на меня грусть, — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня заплакать от бешенства: но, слава богу, небо у нас сивое, а луна точно репка...» В этом письме лаконичен и пронзителен осенний пейзаж, он с редкой силою передает состояние поэта.

И почти то же настроение в другом письме: «Уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать... Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством (Осиповой, в Тригорском), и то вижу его довольно редко — совершенный Онегин — целый день верхом — вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга — с ней только мне не скучно».

Осведомитель Бошняк, собиравший компрометирующий материал на Пушкина, тоже отмечает постоянство поэта, который «ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу».

А слово «свобода» бдительный Бошняк вставил не случайно: мол, поднадзорный и для лошадей требует свободы...

Лошадей Пушкин любил всю жизнь, он обожал быструю езду и ставил своеобразные спортивные рекорды. «500 верст обыкновенно проезжаю в 48 часов», — гордо сообщал он из Москвы в Болдино. «Бывали дни, когда он почти не слезал с лошади», — уверяют кишиневские старожилы.

Верхом поэт много ездил в Михайловском, в дни заточения, в Молдавии, на Украине, в Тавриде, на Кавказе, вдоль и поперек пересек Петербургскую, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Псковскую губернии — все это верхом. Своими

впечатлениями он спешил делиться с друзьями. Так, Дельвигу он рассказывал, как взбирался на скалы, «держа за хвост татарских лошадей... Это забавляло меня чрезвычайно, и казалось каким-то восточным обрядом».

Невозможно перечислить стихи и прозу Пушкина, посвященные лошадям. Всадниками и конями, рисунками лошадей заполнены рукописи поэта. А вспомним: ведь ему было предсказано опасаться белого человека, с белой головой, на белом коне. (Убийца поэта — кавалергард Дантес носил белый мундир, был блондином и ездил на белом коне. Вот так совпадение!)

Предсказание предсказанием... И не оно ли подтолкнуло творческую мысль Пушкина, и он выдохнул «Песнь о вещем Олеге»: «Примешь ты смерть от коня своего...»?

Скачками, ветром, конями наполнены многие стихи поэта. Трудно удержаться, чтобы не процитировать:

Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня...
Ведут ко мне коня: в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед...

И в этой же «Осени» через четыре строки неповторимое:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...

В Болдине, занятый хозяйственными делами, Пушкин скакал по утрам за 25 километров, чтобы искупаться в реке Пьяне. А в октябре 1833 года, когда первые морозы уже сковали льдом

речушку, он писал жене Наталье Николаевне: «...Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну... Вот тебе мой день, и все на одно лицо...»

«Осень начинается. Авось засяду. Я много хожу, много езжу верхом, на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дают овес, к которому они не привыкли» — это из письма к жене в сентябре 1835 года.

«Есть у нас тут кобылка, которая ходит и в упряжи и под верхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет верст десять по кочкам да оврагам — и тут ничем ее не проймешь, пока не устанет сама» — еще одно признание, в подтексте которого ироничное: «Вот так лошадка!»

«Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен», — делится поэт со своим другом П. Плетневым. Он еще не знает, что в душе его рождается мудрое и грустное «Вновь я посетил...», видит возле старых сосен молодую сосновую семью и досадует: «Это ведь и я старею и дурнею», а потом спохватывается и с иронией по отношению к себе признается жене: «Хорош никогда не был, а молод был». И столько в этой строке грусти и предчувствия. И настроение не улучшается даже от того, что в шахматных партиях в Тригорском и Голубове он бьет барона Вревского — мужа Евпраксии, которой он столько строк посвятил в недавнее время. Барон Вревский в письме к А. Вульфу сообщает: «Он мне дает вперед офицера», по-нынешнему — слона...

«...А лошади в Михайловском уже не те, что десять лет назад. Клячи...» — с таким настроением Пушкин домой и вернулся.

Единственный раз говорил он о лошадях так неуважительно...

На лошадях, мы убедились, Пушкин ездил много. Как он сам подчеркивал, быстро ездил: 500 верст за 48 часов — это не шутка...

А вот вопрос с подковыркой: умелым ли он был всадником?

В романе «Пушкин» Юрий Тынянов устами подполковника Фролова дает высокую оценку Пушкину-наезднику: «Над лукой склоняется, коня не боится, и конь его понимает». А Фролов—человек аракчеевский — понимал толк во фрунте и красоте верховой езды.

Но ведь тыняновский роман — это художественное произведение. А литературовед и писатель Тынянов любил говорить: там, где кончается документ, там начинаюсь я, начинается моя работа, домысливание. Во всем ли можно полагаться на роман?

Есть в воспоминаниях пушкинских друзей несколько свидетельств, что поэт не отличался особым мастерством в верховой езде. Взять, например, письмо генерала Михаила Орлова своей жене Екатерине Николаевне, урожденной Раевской, от 24 сентября 1821 года: «После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мной Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе да донской кляче». Есть основания полагать, что последняя фраза написана Орловым — давним литературным соратником Пушкина по обществу «Арзамас» — только ради того, чтобы обыграть выражение «ездить на Пегасе».

Декабрист Михаил Орлов был генералом, как известно, пехотным, а не кавалерийским, но верховую езду, разумеется, знал. Не исключено, что он не придавал исторического значения своему замечанию и не думал, что мы, исходя из его мимо-

летного наблюдения, станем делать серьезные выводы.

Пушкин считал верховую езду занятием престижным и необходимым. Недаром он, говоря о том, что упал на льду, подчеркивал: «не с лошади, а с лошадью», мол, лошадь поскользнулась, а он, всадник, не виноват. И здесь он акцентировал внимание на своем «наездническом самолюбии».

Известно, что кроме занятий верховой ездой в Лицее Пушкин брал уроки у знаменитого героя Отечественной войны Дениса Давыдова. Уроки давались и в манеже, и в кабинете за письменным столом. Пушкин во время поездки в Арзрум признавался М. Юзефовичу — адъютанту генерала Н. Раевского-младшего, что и ездой на лошади, и успехами в поэзии он обязан Денису Васильевичу, который остерег его от подражания Жуковскому и Батюшкову: «Я этим обязан Денису Давыдову. Он дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным». И в своем послании прославленному партизану он отдает должное кавалеристу и поэту:

Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир;
Но и на этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.

Наш современник — Николай Раевский, который недавно отметил свое 90-летие, посвятил специальное исследование «Жизнь за Отечество» военной теме в творчестве Пушкина. Есть в нем раздел и о верховой езде. Выпускник московского Михайловского артиллерийского училища, Пражского университета и французского института литературы в Праге, однофамилец знаменитого героя Отечественной войны 1812 года, занимается пушкиноведением свыше 60 лет, он знает почти все докумен-

ты и рисунки, относящиеся к жизни поэта. Вот что он пишет: «Один из сохранившихся набросков Пушкина, где он изобразил себя верхом, также как будто свидетельствует о том, что посадка у него была неправильной — и по нормам того времени, значительно отличающимся от принятых в XX веке. Ноги чересчур поданы вперед, а стремена (не изображенные на рисунке), несомненно, слишком длинны. Но если это и так, то, несмотря на нетвердую посадку, выносливость в езде у поэта была превосходная — впору хорошему кавалерийскому офицеру».

Не будем сейчас гадать, как ездил Пушкин на лошади. Просто остановимся на констатации фактов, что ездил он всю жизнь и очень много — и в Михайловском, и в Болдине, и в Царском Селе и в дни путешествия в Арзрум.

Во время поездки на Кавказ, где шла русско-турецкая война, Пушкин почти не слезал с лошади. В альбоме Е. Ушаковой сохранился автопортрет поэта на лошади. Превосходный рисовальщик, Пушкин отлично передал и экстерьер своего коня, идущего рысью, — специалисты сразу же определяют — это лошадь донской породы!

Во время одного из сражений поэту даже пришлось выполнять роль ординарца. Декабрист А. С. Гангеблов, которого после четырехлетнего заключения перевели в Кавказский отдельный корпус, вспоминал: «Когда главная масса турок была опрокинута и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы завидели скачущего во весь опор всадника: это был Пушкин, в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь в двух-трех шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал главнокомандующему несколько слов от Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему, Раевскому».

В книге «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» Пушкин не описывает военных приключений, нигде не упоминает о бое 14 июня, в котором непосредственно участвовал. Главное в его поездке на Кавказ то, что он был на войне, там, где творилась история. Удаляясь от Петербурга и царского двора, он вовсе не отдалялся от России, а, наоборот, приближался к ней, к горячей ее ране. В Саганлугских горах исполнилась давнишная мечта поэта, который в 16 лет писал: «И я лечу на гибель супостата». Половина жизни прошла, и в минуту испытания он — человек отважного поступка и мгновенного решения — бросился на турок с пикой в руке. Кстати, потом признался: пикой он владеть не умел...

Отец поэта — Сергей Львович — в те дни сообщал дочери Ольге Сергеевне из Тригорского: «Кажется, что Александр в восхищении от своего путешествия. Он пишет Плетневу и подробно ему изображает свой образ жизни в лагере. Он ездит на казачьей лошади с нагайкой в руке».

Пушкин доехал на лошади до самой границы России: «Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное: с детских лет путешествия были моею мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег...»

Пока конь, наклонившись, пил воду из Арапчая, Пушкину пришли на ум такие слова: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Такие слова просто так не напишешь,

их надо выстрадать, и ради них стоило затевать «путешествие в Арзрум», хотя за эту поездку пришлось долго еще расплачиваться объяснительными записками к шефу жандармов.

Какой парадокс: Пушкин, у которого любимыми словами были «вольность и свобода», никогда не был свободным; Пушкин, которому путешествие нужно было нравственно и физически, за каждый свой шаг отчитывался перед царем и его приближенными. Это было ему ненавистно: «Я предпочел бы быть заточенным всю свою жизнь, чем заниматься в течение двух часов делом, в котором я должен отчитываться» — так он говорил еще в 22 года. Теперь года уже к 30 бежали, а ему попрежнему нужно выспрашивать бесконечные разрешения.

«Генерал, — писал он по-французски Бенкендорфу, — покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством».

Бенкендорф прочитал.

Уезжать не разрешил.

Ни в Европу. Ни в Азию.

Пушкин не мог писать по чьим-то рассказам, эксплуатировать чужие впечатления. Он все должен был видеть своими глазами, прочувствовать, через сердце пропустить. Еще молодым, создав «Кавказского пленника», он был неудовлетворен своей работой и так писал Н. И. Гнедичу: «Вы ожидали многого, как видно из письма вашего, — найдете малое и очень малое. С вершин заоблачного бесснежного Бешту видел я только в отдаленьи ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцены моей поэмы должны бы находиться на берегах

шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелиях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, где возвышаются в дальнем расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа...»

В «Записках» Марии Волконской — спутницы поэта по южному путешествию, свидетельницы создания «Кавказского пленника» и адресата многих стихов — есть такие строки: «Пушкин говорил мне: «Я хочу написать книгу о Пугачеве. Я приеду на место, переееду через Урал, поеду дальше и явлюсь просить пристанище в Нерчинских рудниках...»

Пушкин любил дороги, станционных смотрителей, разбитые колеи, зимники, тракты и проселки, поездки далекие и короткие. Обо всем этом он написал «Дорожные жалобы». Не случайны и названия многих пушкинских вещей: «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», «Путешествие В. Л. П.», «Путешествие в Сибирь», «Путешествие из Москвы в Петербург» и даже целая глава романа в стихах «Отрывки из путешествия Онегина». Не случайно именно Пушкин наставлял своего лицейского друга — начинающего моряка и будущего адмирала Федора Матюшкина, как вести журнал во время кругосветного путешествия на шлюпе «Камчатка», — эти записки Матюшкина недавно опубликованы в альманахе «Прометей». Прочитав их, можно убедиться: советы будущего издателя «Современника» были выполнены...

В «Известиях Всесоюзного географического общества» опубликованы такие данные: Пушкин за свою недолгую жизнь преодолел в путешествиях 34 тысячи 750 километров. Ему была свойственна «охота к перемене мест». Географы с удивлением обнаружили, что великий открыватель Централь-

ной Азии Н. Пржевальский во время своих исторических экспедиций проделал «только» 30 тысяч километров. Эти факты, сообщенные учеными, я не собираюсь комментировать и противопоставлять, потому что помню выражение Гоголя, предупреждавшего: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят».

Но нельзя не обратить внимание на то, что эти почти 35 тысяч километров Пушкин проехал по родной стране. Каждый раз вымаливая себе разрешение. Управляющему III отделением А. Мордвинову он писал летом 1833 года: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую...

Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия проходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

В то время Пушкин работал над «Историей Петра I» и повестью «Капитанская дочка». В тот раз поэту разрешили поехать на место действия. Он побывал в Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Оренбурге, Уральске и Берде — в местах пугачевского восстания, а затем вернулся в Болдино, где и уединился для творческой работы...

Анна Ахматова когда-то поставила перед нами, читателями XX века, волнующий вопрос: **какой ценой** давалась русскому гению каждая строка:

Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво

Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

Какой ценой? Какой ценой?..

Он писал в своем болдинском уединении — и чувствовал себя самым богатым человеком в России, потому что имел, как он шутил, «постоянный доход с тридцати шести букв Русской азбуки».

«Сердце оставляю вам» — это слова Пушкина. В них, как почти во всех его книгах, простор для чувств и мыслей...

Обещал ведь, обещал себе не писать о шахматах, но не могу...

Беру из своей пушкинской картотеки листочек с надписью: «Библиотека Пушкина, книга № 284»... В каталоге библиотеки поэта под этим номером знаменитый пушкинист Б. Модзалевский поставил книгу «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя, изданная Александром Петровым». Книга эта в доме на Мойке в двух экземплярах. На одном — дарственная надпись: «Милостивому Государю Александру Сергеевичу Пушкину, в знак истинного уважения. От издателя». Очевидно, эту книгу, напечатанную в 1824 году, вручил сам Петров... А вот второй экземпляр, возможно, был куплен самим поэтом, который, хотя и не считался хорошим игроком, но мечтал заняться шахматами всерьез. Он даже мечтал, чтобы жена и будущие дети умели играть в шахматы. Как обрадовался он, узнав, что Наталья Николаевна заинтересовалась шахматами:

«Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе; докажу после...»

Не исключено, что когда он писал эти строки, то вспоминал другие, стихотворные, им же самим семь лет назад написанные в Михайловском:

Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеяньи свою...

Это идиллическое описание игры двух влюбленных — тонкое и проникновенное. Уже после гибели Пушкина для шахмат нашли определение — «гимнастика ума», но, кажется мне, поэт не смотрел на шахматы как на передвижения деревянных фигурок, а видел на шахматной доске ту самую «девятую вертикаль», которой не существует, но которая составляет таинственную прелесть этой мудрой игры. Хотя шахматная Пушкиниана и разработана довольно основательно, все же и в ней остается еще много неясного и непроверенного. Когда поэт научился играть? В детстве? В Лицее? В южной ссылке? Не знаем. Ясно одно: в 1825 году его Ленский уже брал в руки ладьи и пешки...

А сам он достаточно много играл в шахматы в январе 1827 года, когда гостил в Торжке у Вульфов. Там он научил этой игре Павла Ивановича Вульфа — дядю своего друга Алексея, а потом... Воспитанница Вульфов Екатерина Евграфовна Синицына в своих воспоминаниях, записанных тверским учителем В. Колосовым, оставила одну из немногих в Пушкиниане зарисовок, показывающих поэта за шахматной партией: оказывается, дядя Вульфа очень быстро постиг тайну шахмат и стал регулярно обыгрывать Пушкина. «Александр Сергеевич сильно горячился при этом, однажды он даже вскочил на стул и закричал: «Ну разве можно так — обыгрывать учителя». А Павел Иванович начнет играть снова, да опять с первых же ходов и обыграет его. «Никогда не буду играть с вами... Это ни на что не похоже» — загорячится обыкновенно при этом Пушкин».

Из отрывка ясно: сильным игроком в шахматы поэт не был, но играть любил и надеялся, что изучит теорию. Зачем бы ему тогда было заказывать первый в истории шахматный журнал «Паламед», который начал выходить в Париже в 1836 году. Три номера он успел получить, но... разрезал лишь 17 страниц...

А свою последнюю партию в шахматы он сыграл накануне роковой дуэли с Дантесом. В воспоминаниях об Аркадии Осиповиче Россете — брате А. О. Смирновой-Россет, написанных П. Бартеневым, есть такие строки:

«В воскресенье (перед поединком Пушкина) Россет пошел в гости к князю Петру Ивановичу Мещерскому — зятю Карамзиной (они жили у Виельгорских), и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином (Виельгорским. — *Ред.*). Пушкин в этот вечер был очень весел, шутил с Россетом, молодым двадцатилетним офицером. Рядом с гостиной была его жена со своей сестрой Екатериной Дантес... А позднее приехал дежуривший по полку Дантес. «Ну что, — обратился он (Пушкин. — *Ред.*) к Россету, — вы были в гостиной; он уже там, возле моей жены?» Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, запинаясь, что Дантеса видел.

Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел: и Пушкин стал громко хохотать над смущением двадцатилетнего офицера».

А по другим сведениям, Пушкин во время шахматной игры увидел входившего Дантеса и, только раз взглянув на него, промолвил, склонившись над шахматными фигурами: «Этот офицер сделает мне мат, я беру его», — и отнял офицера у Виель-

горского, который подумал, что и вся фраза относится только к шахматной фигуре...

И снова — простор для предположений, размышлений. И опять — горькое сожаление, такое, что хочется вслед за Иваном Пущиным повторить:

«...Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история.., то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта — товарища, достояние России»...



«Бывают странные сближения...»

Кто первым написал о спорте? Не Гомер ли? В «Илиаде» есть описание Игр памяти Патрокла. В античной литературе, мы помним, было немало мифов. И поэтому сегодня, перечитывая Гомера или Вергилия, не всегда можно отличить действительную картину от гиперболы. Загадок и спортивных легенд древние оставили множество. И они же даровали нам прекрасную традицию: спорт и физические упражнения, которыми увлекались многие знаменитые люди. Упомянем хотя бы легендарного Пифагора — математика и олимпийского чемпиона. Биография его настолько замечательна, что кажется, будто историки досочинили ее.

Романтичную страницу в историю спорта вписал и великий английский поэт Джордж Ноэл Гордон Байрон.

В «Паломничестве Чайльд Гарольда» Байрон, страстный пловец, с любовью обращается к морю:

Я мальчиком еще с тобой сдружился,
Любил волне отдаться, чтоб она
Несла меня... С прибоем я резвился:

Когда ж пред близкой бурею волна
Вдруг пенилась, бурлива и темна, —
То хоть тревога в сердце проникала,
Она была все ж прелести полна...
И как ребенка ты меня качало,
И гриву волн твоих рука моя ласкала.

Но стихия — это поэт узнал во время путешествия по Средиземноморью — нередко становится грозной, необузданной, несущей страх и смерть.

В дневнике поэта за 1810 год можно прочитать: «Из-за невежества капитана и команды я чуть не погиб на турецком военном судне, хотя буря была небольшая. Капитан в слезах бросился к трапу, крича нам, чтобы мы молились богу. Паруса разорвались в клочья. Невозможно было управлять судном, и Флетчер твердил не без основания, что «все мы останемся здесь в сырой могиле».

Пассажиры кричали: греки призывали всех святых, а мусульмане — аллаха. Камердинер Флетчер, недавно женившийся, повторял имя молодой супруги. И лишь Байрон остался спокойным: он улегся на палубе и... уснул, несмотря на опасность.

Или сделал вид, что уснул...

Уже через несколько дней после того, как появилась запись о «сырой могиле», Байрон задумал переплыть пролив, разделяющий Европу и Азию — знаменитые Дарданеллы, которые древние греки называли Геллеспонт. Этот пролив, разделявший два материка, соединял два моря — Эгейское и Мраморное. Неширокий — от 1,3 километра до 18 — Геллеспонт славился быстрым и коварным течением... Волны, багряные, с опаловыми гребнями, несли фрегат «Сальсетта». Море в тот майский день напоминало горную реку, бурлящую между высокими голыми берегами Греции и Турции. Байрон сказал своему слуге Флетчеру:

— Так вот он, этот пролив, который переплывал Леандр, чтобы увидеть свою возлюбленную.

Поэт вспомнил историю из греческой мифологии — старое, трогательное предание, которое он с детства знал по произведениям Овидия и Вергилия, а здесь, в Малой Азии, услышал еще раз от анатолийских греков... На разных берегах Геллеспонта жили два прекрасных телом, лицом и душою человека — шестнадцатилетняя Геро и девятнадцатилетний Леандр. Юноша — прославленный атлет, одинаково непобедимый в борьбе, беге, плавании, метании диска и стрельбе из лука. Геро — младшая жрица богини Афродиты.

Юные Геро и Леандр увиделись впервые на стадионе во время легкоатлетических состязаний, где, как всегда, первенствовал Леандр. Они полюбили друг друга. Но Геро не могла оставить храм богини до двадцатипятилетнего возраста. Значит, нужно было ждать девять лет. А отец Леандра — знатный аристократ и богач, обещал через год женить своего сына на дочери еще более богатого коринфского купца.

Влюбленные дали друг другу слово: ждать той счастливой поры, когда два великих бога — бог любви и бог случая — ниспошлют им радость соединиться навеки.

— Но как же мы будем видеться? — уныло спросил Леандр, который знал, что отец без контроля не даст ему шага ступить.

— А если ночью? — предложила Геро.

— Но ведь гавани Сестоса и Абидоса по ночам закрываются на цепь, чтобы ни одна лодка не могла уйти в пролив?

— Так что же? — возразила Геро. — Разве ты не лучший пловец в Греции?

Каждую ночь Леандр переплывал Геллеспонт, чтобы встретиться с возлюбленной. Геро зажигала

на башне в Сестосе огонь, и Леандр плыл по темному морю, ориентируясь на пламя маяка. Однажды огонь погас, и Леандр, заблудившись в тумане, погиб. Когда утром Геро увидела прибитый волнами к берегу труп любимого, она в отчаянии бросилась в море... И вот теперь, когда «Сальсетта» резала носом волны Геллеспонта, английский лорд решил уподобиться мифическому Леандру.

Дважды пытался он преодолеть Дарданеллы. Первая попытка кончилась неудачей. И лишь через сутки, плывя из Европы в Азию, поэт продержался на воде больше часа.

По его признанию, он нисколько не устал. Поэта даже не расстроил тот факт, что его товарищ, мистер Экенхэд, сопровождавший смельчака, обогнал Байрона на пять минут. Первое ощущение после финиша — необыкновенная дрожь: ведь 3 мая море даже на юге теплым не назовешь...

Предоставим слово самому поэту, который, переплыв из Сестоса в Абидос, написал:

Чрез Геллеспонт, поток огромный
(Всем девам дорог тот рассказ),
Во мгле декабрьской ночи темной
Леандр отважный плыл не раз.
Он все забыл — в мечтах лишь Геро;
Холодный вал в ночной тиши
Вокруг плескал... Клянусь Венерой,
Мне жаль влюбленных от души!
    Я, жалкий выродок, в дни мая
    Рискнул на пробу слабых сил —
    И, мокрый, члены разминая,
    Уж мню, что подвиг совершил.
Коль верить мифу, точно были,
Бог знает, что в душе тая,
Он к милой плыл; мы оба плыли,
Он для любви, — для славы я.
    Но боги портят смертным славу:
    Обоим вреден был порыв;
    Он труд утратил, я — забаву,
    Он утонул, а я — чуть жив.

А в прозе первые впечатления выглядели так.

«Мы переплыли пролив, выйдя в воду значительно выше европейского форта, и вышли на другой берег ниже азиатского... Все расстояние от того места, где мы бросились в воду, до места, где мы вышли на другой берег, включая и пространство, на которое мы были отнесены течением, определялось офицерами фрегата более нежели в 4 английских мили (одна морская миля равна 1,853 км, следовательно, расстояние, преодоленное Байроном, приблизительно 7,412 км. — *А. Ю.*), хотя действительная ширина пролива составляет всего одну милю. Течение так быстро, что ни одна лодка не в состоянии переплыть пролив по прямому направлению. Об этом можно до некоторой степени судить по тому обстоятельству, что все расстояние было пройдено одним из пловцов в час пять минут, а другим — в час десять минут. Вода была очень холодная вследствие таяния горных снегов... Мы не устали, но немного озябли; я исполнил это без особого затруднения», — читаем мы запись в его дневнике, сделанную 6 мая 1810 года.

Подводя итоги двухлетнему путешествию по Европе, Байрон писал одному из своих друзей: «Я видел все, что есть замечательного в Турции, Трою, Грецию, Константинополь и Албанию. Я не думаю, что я совершил что-нибудь, что отличало бы меня от других путешественников, разве только моя прогулка вплавь... подвиг, весьма достойный для человека нашего времени».

Байрон был невероятно горд собой, и в письмах все время возвращался к рассказу о заплыве: «Начну с того, — ибо писал я вам об этом только два раза, — что я переплыл из Абидоса в Сестос. Я повторяю это для того, чтобы вы прониклись должным уважением к герою этого подвига, так как этой славой я горжусь больше, чем какой-либо

другой, политической, поэтической или ораторской». Почему лорд Байрон так настойчиво повторял о своих успехах в плавании и слово «подвиг» не брал в кавычки ни в одном из писем?

Вспомним его биографию. А поможет нам очерк А. С. Пушкина «Байрон», написанный 25 июля 1835 года: «В самую минуту его рождения нога его была повреждена — и Байрон остался хром на всю жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие. Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды миссис Байрон выбранила его **хромым мальчишкою**. Он, будучи собою красавец, воображал себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, опасаясь их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства».

Пушкинские строки как бы подсказывают ход поиска материалов для спортивной биографии Байрона, который природный недостаток стремился компенсировать смелостью и силой. «В классах он был из последних учеников — и более отличался в играх, — читаем мы у Пушкина. — По свидетельству его товарищей, он был резвый, вспыльчивый.., всегда готовый подраться». Джордж увлекался всеми мальчишескими играми и нередко отличался в них, несмотря на свой физический недостаток. Больше всего он любил плавать и нырять. Когда поэт учился в Кембриджском Тринити-колледже, то нырял на глубину 5 метров и доставал со дна любой предмет, даже крошечный шиллинг. На дне реки торчал ствол старого дерева, за который Джордж любил цепляться, будучи под водой. Он удивлялся: как это дерево попало в подводное царство. И увиденное рождало неожиданные образы.

Тогда Байрон еще только задумывал свои первые баллады, мечтая назвать их «Шотландские арфы». А в ожидании славы поэтической стремился заслужить славу пловца. Под наблюдением Джона Джексона — чемпиона Великобритании по боксу — он переплыл Темзу. Критик Ли Хэнт признался, что он любил наблюдать за пловцом, который то исчезал в воде, то вновь появлялся на поверхности — наверное, человек плыл современным баттерфляем или дельфином. Позднее критик узнал, что пловец — это несовершеннолетний лорд Байрон, а человек внушительной наружности, наблюдавший за ним, популярнейший боксер Джексон. Это о нем Байрон говорил: «Мой друг и телесный пастырь...»

Где бы ни жил Байрон, послеобеденное время он посвящал спортивным занятиям — плавал, нырял, брал у товарищей разные предметы, бросал их в воду и доставал со дна. Суровые упражнения и игры — составная часть режима его дня. Байрон тщательно следил за своим весом и ел только один раз в сутки, никогда не пил пива и очень редко ел мясо. В день совершеннолетия 22 января 1809 года Байрон зажарил для друзей быка, а сам съел за весь вечер одно яйцо, ломтик бекона и выпил бутылку эля... В своем замке Ньюстэде, возвышавшемся над чудесным лесом Шервуда в окрестностях Ноттингэма, поэт устроил подземный бассейн, чтобы плавать в любую погоду. В монастырских погребах создал водные дорожки, на которых без устали упражнялся... Интересное чтение — дневники Байрона. Записи он вел обстоятельные. Есть среди них и спортивная самохарактеристика: «...плаваю весьма сносно, на коне езжу, хоть и не как кавалерист (в восемнадцать лет сломал себе ребро), но неплохо фехтую, особенно шотландским палашом. К тому же удачно бокси-

рую, особенно, когда удается совладать со своим темпераментом: мне удавалось побеждать Пэрлинга и Джексона в спарринг-боях в 1806 году».

«Плаваю весьма сносно». Байрон явно скромничал, потому что уже в 1807 году, в свои девятнадцать лет, он считался главным экспертом по плаванию в Кембридже. Джордж не уставал повторять своему другу Мэтьюсу: «Вы скверно плаваете. Вы когда-нибудь утонете, если будете так высоко держать голову...» Так оно, к несчастью, и случилось: в отсутствие Байрона Мэтьюс утонул в Кэме...

А потом погиб во время кораблекрушения на пути в Лиссабон другой его друг — Лонг. Накануне своего совершеннолетия Байрон долго всматривался в запечатленные на портретах лица товарищей. Вечером он доверился дневнику: «Из четырех человек, чьи имена записаны здесь, один умер, другой... все врозь, а ведь еще и пяти лет не прошло, как все они были вместе в школе, и никому из них нет еще двадцати одного года».

Тяжело переживая гибель друзей, Байрон уединенно жил в своем Ньюстэде. Много читал. Занимался фехтованием с приезжавшим в замок Гобхаузом. Ежедневно катался верхом по лесу. В полдень — гребля на озере, до стертых ладоней, водяных мозолей, до изнеможения. А вечером — борьба с медведем, настоящим, сидевшим на цепи в за́мке. Так поэт проводил дни с января по май... В дневнике он находил место и для описания режима дня, иногда появлялись иронические строчки: «Я понимаю, что все это кончится моей женитьбой на какой-нибудь золотой кукле или пулей в лоб; чем именно из двух — это неважно, средства, можно сказать, почти одинаковы...»

Чтобы не попасть в объятия «золотой куклы», молодой поэт решил отправиться на Восток — в

Албанию, Грецию, Персию... Во время этого путешествия он и совершил свой «подвиг» — переплыл Дарданеллы... Вот вам и кокетливое «плаваю весьма сносно».

А теперь — комментарий к фразе «удачно боксирую... мне удавалось побеждать Джексона...»

Джексон — это живая легенда британского бокса. Он обладал феноменальной силой — мог, к примеру, написать свое имя, держа в той же руке двухпудовую гирю. Английский писатель Артур Конан Дойл, к слову говоря, сам бывший прекрасным боксером, утверждал, что Джексон не только обладал сильнейшим ударом, но был и тонким тактиком, «конструктором» боксерских движений. Он изобрел прямой удар — основной удар английского стиля в боксе. Называя Джексона «королем ринга», Конан Дойл оставил портрет учителя и соперника Байрона: «Джексон обладал великолепной фигурой, тонкой в талии и геркулесовски широкой в плечах».

Джексон считался одним из самых знаменитых людей в Лондоне, ведь боксеры-чемпионы в начале XIX века были в Англии известны так же, как Веллингтон — командующий союзными войсками в сражении при Ватерлоо, где закатилась звезда Наполеона. О боксерах постоянно напоминали в газетах, даже в литературе находили отражение их спортивные подвиги. Так, в одном из примечаний в книге «История Тома Джонса, найденыша» великий Генри Филдинг рассказал об открытии одной из первых в мире боксерских школ, информация о которой появилась 1 февраля 1747 года: «Мистер Браутон предполагает при поддержке публики открыть в своем доме на Геймаркет академию для обучения лиц, желающих быть посвященными в тайны бокса; в названной академии будет подробно преподаваться

и объясняться теория и практика этого истинно британского искусства во всем объеме с указанием различных выпадов, ударов..; обучать будут с превеликой заботливостью и уважением к деликатным силам и сложению учащихся, с какой целью припасены рукавицы, вполне ограждающие от неприятных последствий в виде подбитых глаз, раздробленных челюстей и расквашенных носов».

К Джону Браутону (1705—1785 гг.) — известному английскому боксеру, первому, кто подчинил кулачный бой четким, хотя и сложным, правилам, ходил заниматься и юный Джексон (1769—1845 гг.). Когда-то древние римляне, дабы подчеркнуть никчемность человека, говорили о нем: «Он не умеет ни писать, ни плавать». Англичане же в конце XVIII — начале XIX века несколько перефразировали этот афоризм: «Он не умеет ни писать, ни боксировать».

Слава об английских боксерах распространилась по Европе. Французский поэт-песенник Пьер Жан Беранже даже написал о них ироническое стихотворение: «Боксеры, или Англомания»:

Хотя их шляпы безобразны,
God damn!
Люблю я англичан.
Как мил их нрав! Какой прекрасный
Им вкус во всех забавах дан!
На них нам — грех не подивиться.
О, нет! Конечно, нет у нас
Таких затрещин в нос и глаз,
Какими Англия гордится.
Вот их боксеры к нам явились, —
Бежим скорей держать пари!..

Настоящим боксером Байрон стал уже после того, как познакомился и подружился с Джексоном. Этот гигант к тому времени перешагнул границу сорокалетия и перестал участвовать в чемпионатах.

Когда Джексон открыл школу бокса, многие выдающиеся деятели той эпохи (и в первую очередь лорд Байрон) стали посещать прославленного маэстро. Поэт всю жизнь восхищался своим учителем в спорте, но это преклонение не мешало молодому человеку побеждать чемпиона, когда дело доходило до серьезного «мужского разговора» лицом к лицу...

«Только что пообедал с Джексоном, владыкой бокса, и еще с одним известным бойцом, — записал Байрон 24 ноября 1813 года. — После обеда мы навестили Тома, который принадлежит к числу моих старых друзей. Я присутствовал на нескольких его боях, самых лучших, какие я только видел, а в течение своей жизни я видал немало боев».

17 марта 1814 года сразу после тренировки он сделал любопытную конспективную запись:

«Сегодня начинаю подготовку к бою с Джексоном, собираюсь возобновить знакомство с боксом. Упражнения требуют наивысшего напряжения. Шпага и палаш никогда меня так не утомляли...»

А вечером он развил свою мысль:

«Сегодня утром для упражнения я боксировал с Джексоном. У меня твердое намерение продолжать тренироваться и таким образом возобновить знакомство с боксом. Моя грудь, руки, дыхание — всё в очень хорошем состоянии. Я не ожирел. Я был когда-то хорошим боксером; я бью на большом расстоянии сравнительно с моим ростом — благодаря длине рук. Со всех точек зрения, в особенности в отношении здоровья, бокс — это превосходный вид спорта. Он и лучше, и сильней действует на организм, чем какой-либо другой. Фехтование меня никогда до такой степени не тренировало и не прорабатывало так мускулатуры».

«28 марта 1814 года. Встаю намного раньше,

чем обычно; у меня спарринг-бои с Джексоном, и чувствую я себя намного лучше, чем когда-либо».

Девятнадцать лет назад — в 1795 году Джексон после победы над Даниэлем Мендосой завоевал титул чемпиона Англии. По тем временам это было равнозначно званию чемпиона мира. Он ходил по столице в ярко-красной куртке с кружевными манжетами. Байрону все нравилось в своем кумире — даже шелковые чулки чемпиона. Словом, он старался подражать силачу, который помогал ему воспитывать характер бойца и поддерживать спортивную форму. Именно Джексон приучил Байрона к строгому режиму, аскетизму, изнуряющему тренингу.

«День, который ты прожил без того, чтобы не пофехтовать, не пострелять, не поездить верхом, не поиграть с медведем, который хоть и сидит на цепи в Ньюстэде, но просто так на лопатки не ложится, — этот день можешь считать напрасным,— убеждал Джексон. — А еще надо грести на лодке и плавать. О боксе не говорю. Без бокса я не признаю настоящего мужчину».

Есть еще одна любопытная деталь в биографии Байрона-боксера: в 1810 году он жил в монастыре капуцинов в Афинах, рядом с Акрополем и храмом Юпитера. Байрон научил боксерским приемам монахов и с радостью организовывал поединки между католиками и православными. Сам он с монахами не дрался: слишком велика была разница в классе...

Байрон был высокого мнения о себе как о спортсмене. В «Разрозненных мыслях» 15 октября 1821 года промелькнуло недоумение: «Почему его, Байрона, сравнивают с Жан-Жаком Руссо?» Англичанин искренне писал о себе и Руссо:

«Он не умел ни ездить верхом, ни плавать; не был он и «искусен в фехтовании»; — я прево-

сходный пловец и сносный, хотя и не лихой, наездник после того, как в восемнадцать лет сломал ребро во время галопа, я и фехтовал недурно, особенно шотландским палашом; неплохо также боксировал, если сохранял самообладание, что было для меня трудно, но что я всегда стараюсь делать с тех пор, как в 1806 году, в заведении Анджело и Джексона, работая в перчатках, сбил с ног мистера Пэрлинга; был я также довольно силен в крикете; играл в команде Харроу против Итона в 1805 году. ...В общем, я считаю, что сравнение ни на чем не основано. Я говорю это без всякой досады, ибо Руссо был великий человек, и сравнение было бы достаточно лестным; но мне не хочется льстить себя пустыми химерами».

Здесь Байрон уже не скромничает — после «подвига» в Дарданеллах он считает себя пловцом «превосходным», наездником «сносным», фехтовальщиком «недурным», боксером «неплохим»... Добавим: Байрон был и неутомимым путешественником. Он не раз задумывался, что влечет человека к игре, к битве, к путешествиям, к необузданному, по его словам, но остро ощутимому преследованию той или иной цели. Поэт отвечал на этот вопрос так: вся радость состоит в волнении, связанном с достижением этой цели... Ради того, чтобы испытать это волнение, пережить его, победить его, он и на ринг выходил, и с континента на континент плавал...

«Бывают странные сближения...» — эта фраза просилась на бумагу с той поры, как я впервые прочитал, что замечательный русский поэт Михаил Лермонтов принял, со слов отца, версию о происхождении своей фамилии от шотландских предков Лермóнтов. Советский писатель Овидий Горчаков, изучая историю шотландских предков русского поэта, установил, что в середине XVII ве-

ка одна из дочерей Лермонта вышла в Великобритании замуж за сэра Вильяма Гордона, потом...

«Лет через полтораста после того, как Лермонты породнились с Гордонами, 13 мая 1785 года на Екатерине Гордон женился пятый барон Байрон, отпрыск древнейшего нормандского рода Бурунов, ставшего позднее французским родом Биронов, а затем и английским родом Байронов. В 1788 году родился гениальный поэт Джордж Гордон Байрон. Таким образом, породнились два рода и два великих поэта — Лермонтов и Байрон. Когда Байрону было 26 лет, в Москве у Красных Ворот родился его родственник — Михаил Юрьевич Лермонтов. Всю свою жизнь наш поэт не подозревал, что состоит в свойстве со своим кумиром».

Шестнадцатилетний Лермонтов выплеснул на бумагу:

Я молод, но кипят на сердце звуки.
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О, если б одинаков был удел!..

После Лермонтова не осталось ни дневников, ни воспоминаний. Лишь разрозненные автобиографические записи в черновых тетрадях. В «Замечании», относящемся к 1830 году, юный поэт упоминает о том, что, овладев английским языком, он читал в подлиннике «Письма и дневники лорда Байрона с заметками о его жизни», подготовленные Т. Муром. В «Замечании» Лермонтов дважды сравнивал моменты собственной жизни с эпизодами из биографии Байрона и удивлялся: «Ныне я прочел.., что он делал то же — это сходство меня поразило!»

«Юный Лермонтов страстно желал повторения судьбы великого английского поэта — даже ценой собственного несчастья: «Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив,

как Байрон». По свидетельству Екатерины Сушковой, Лермонтов «был неразлучен с огромным Байроном» — скорее всего, это были не сочинения Байрона, а только что вышедший первый том писем и дневников англичанина. Об этом же есть и у Акима Шан-Гирея: «Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его».

Лермонтов нашел неповторимую форму образования — он переписывал поэмы Байрона на английском и Пушкина на русском (Анна Ахматова мудро подметила парадокс лермонтовской неподражаемости: «Он подражал... Пушкину и Байрону, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актеров называется «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя... Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет»).

Итак, он жадно учился у двух поэтов с мировым именем. Старался все знать о своих любимцах. Когда в Лондоне вышла книга «Письма и дневники Байрона», то друзья Лермонтова привезли ему в Москву этот уникальный трехтомник. Поэт перевел его моментально. Потрясенный героическими страницами биографии Байрона, умершего в 1824 году в далекой Греции, за свободу которой он сражался, Лермонтов воскликнул: «О, если б одинаков был удел!..» Из этой же биографии он узнал и о спортивных подвигах Байрона, и, очевидно, эту деталь отметил в своем стихотворении:

Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.

И все же, как ни прекрасен был образ английского поэта, созданный в воображении Лермонтова

после прочтения его писем и дневников, русский поэт желал остаться самобытным:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

«Бывают странные сближения...»

Байрон страстно любил английский бокс.

Лермонтов знал толк в русском кулачном бое. В воспоминаниях его троюродного брата Шан-Гирея можно найти картину детства в Тарханах: «Зимой... на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда еще не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий-садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови».

Записывая воспоминания тархановских старожилов, один из исследователей биографии и творчества Лермонтова, Петр Шугаев, сообщал такой факт: «Михаил Юрьевич любил устраивать кулачные бои... и победителей щедро оделял сладкими пряниками, что главным образом и послужило темой для «Песни про купца Калашникова», в которой он блестяще показал кулачные бои на льду Москвы-реки — спорт XVI века, спорт, уже тогда требовавший соблюдения правил».

Так написано было в журнале «Живописное обозрение» еще в конце прошлого века.

В начале XIX века на берега Москвы-реки и Невы завезли с набережных Сены и Темзы четырехтомное руководство «Боксиниана, или Упражнения в кулачном бое прежде и теперь». Книгу эту Лермонтов знал, изучал и даже пытался переводить на русский язык. Более того, есть сведения, что офицер Лермонтов в гусарском полку встречал-

ся с офицерами лейб-гвардии казачьего полка, с которыми «развлечения ради боролся на поясах», по-калмыцки, и сходился не раз в кулачных боях по заграничной методе», то есть, говоря современным языком, боксировал.

Но и народные спортивные забавы Лермонтов не забывал. Уже став офицером, он, приезжая в родную усадьбу, устраивал на сельской площади в праздничные дни кулачные бои стенка на стенку, причем, как утверждают современники, «и у Михаила Юрьевича рубашка тряслась», и он хотел участвовать в этой лихой молодецкой схватке, но дворянское звание и «правила приличия» удерживали его в роли арбитра.

Вы не обратили внимание, что первый лист юношеского романа «Вадим» испещрен изображениями кулачных бойцов?..

Любил поэт и другие виды спорта. Такие, что его кумиру — Байрону — и не снились. Коньки, например...

Есть свидетельства, что воспитанник Московского университетского благородного пансиона Михаил Лермонтов по воскресным дням бывал на различных «застывших водоемах», в частности на Пресне, где, как отмечали газеты 1828 года, «сие катание (на коньках. — *А. Ю.*) появилось на верхнем Пресненском пруде. Там по воскресным и праздничным дням, в присутствии любопытных зрителей, иностранцы и россияне торжествуют друг перед другом в искусстве скользить по твердому зеркалу вод. Вензеля, зигзаги, рисуемые ногами мастеров, и птичья быстрота их — удивительны». Говорят, что юный Лермонтов очень быстро из разряда «любопытных» перешел с помощью своего гувернера-француза в ряды тех, кто рисует «вензеля» ногами...

В 30—40 годы XIX века катание на коньках

стало модным увлечением петербуржцев. Лермонтов и на невских берегах не прекращал скользить по «зеркалу стоячих вод». В воспоминаниях Владимира Бурнашова, хорошего знакомого Лермонтова, записавшего по «горячим следам» рассказы гвардейских однокашников поэта, подробно говорится об открытии первого в столице катка «на Неве против Английской набережной».

Сохранилось много документов, подтверждающих, что Лермонтов и наездником был прекрасным. Посмотрите письма Софьи Карамзиной, обратите внимание на запись от 7 августа 1832 года, в которой говорится о приезде в Петербург француза Шарля Бурмона — брата военного министра.

«Бурмон обедал у нас, — сообщает Карамзина. — В семь часов вечера мы поехали верхом: он, Лермонтов, Лиза и я. Я боялась за Лизу, которая ехала с безумцем Лермонтовым — он постоянно заставлял скакать лошадь Лизы».

Среди дворян начала и середины XIX века практически не было людей, не умеющих скакать на лошади. Но в нашем случае речь идет о юноше-всаднике, который уже пострадал от верховой езды, искалечив ногу. Товарищ Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Александр Меринский был свидетелем драмы в манеже, которая на всю жизнь пометила Лермонтова хромотой. Меринский рассказывал: «Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз, после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтобы показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в

манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа».

Нога зажила, но срослась криво. Лермонтов — этот великий труженик в любом деле, способный к самовоспитанию и самоограничению, к тяжелому, требующему долгого напряжения занятию, Лермонтов тренировался, стремясь, чтобы физический недостаток не бросался в глаза. Он сумел добиться цели. И только завистливые люди, вроде его будущего убийцы Н. Мартынова, не хотели оценить героических усилий юноши. «Он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади, — писал Мартынов, — но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, — поэтому он никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не посылали». Убийца и через тридцать лет после выстрела у подножия Машука пытался очернить образ поэта, сочиняя заведомую ложь о якобы физической неполноценности офицера Лермонтова.

«Недостатки его фигуры совсем исчезали на коне, — писал о Лермонтове историк гродненского полка генерал-лейтенант Василий Потто, — в служебном отношении поэт всегда был исправен, а ездил настолько хорошо, что еще в школе назначался в ординарцы». (Чуть ранее я упоминал о хромоте Байрона и о том, как тот железными тренировками превозмогал физический недуг. «И Байрона достигнуть я б хотел; У нас одна душа, одни и те же муки...» — Лермонтов словно предвидел, что даже физические муки им достанутся схожие.)

Говоря о роли верховой езды в физическом развитии поэта, отметим характерный момент «преодоления себя» и воспитания характера.

Юный Байрон, чтобы утвердить свою ориги-

нальность, нырял на дно озера за шиллингами. Юный Лермонтов участвовал во всех рискованных конноспортивных играх в манеже. Но особого искусства достиг он в джигитовке. Екатеринославский помещик Петр Магденко весной 1841 года встретил Лермонтова на дороге между Георгиевской и Ставрополем, и вот какой факт он сообщает:

«Между прочим он (Лермонтов. — *А. Ю.*) указал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне». Это не было спортивным состязанием с черкесскими всадниками — погоня шла не на жизнь, а на смерть. Если бы вооруженные горцы догнали русского офицера, они, в лучшем случае, взяли бы его в плен. Но поэт смог обхитрить трех джигитов, которые учатся сидеть на лошади раньше, чем постигают искусство ходить по земле.

Стало быть, высшее мастерство верховой езды спасло жизнь Лермонтову. К слову, и блестящее владение рапирой гарантировало ему безопасность во время дуэли с французом де Барантом.

Лично я уверен, что француз, выбирая оружие для поединка, схитрил: Барант был наслышан, что Лермонтов — мастер боя на эспадронах, то есть саблях. Умел Лермонтов драться и на шпагах. А вот об успехах его в «королевском» виде фехтования — рапире — Барант не подозревал. Потому и предложил этот вид оружия. Лермонтов согласился: ведь он считался хорошим учеником ротмистра Александра Вальвиля, того самого, что в Лицее давал уроки Пушкину...

Дуэль проходила 18 февраля 1840 года на той самой Черной речке, которая на веки вечные связана с трагедией Пушкина. И опять лицом к лицу гениальный поэт и заезжий француз. Под-

робно дуэль описана в воспоминаниях Шан-Гирея, потому не будем на ней останавливаться, лишь подчеркнем кое-какие детали. Первая же атака Баранта, отпарированная 25-летним русским офицером, заставила француза перейти к «благоразумной сдержанности». Лермонтов «не нападал, но и не поддавался», как написано у Шан-Гирея. Во время одной из атак француза поэт пропустил укол — рапира оцарапала руку Лермонтова ниже локтя. Михаил Юрьевич, «спеша отреваншироваться», сделал красивый выпад — и... его «рапира лопнула». Противник предложил продолжить поединок на пистолетах. Француз стрелял первым и промахнулся. Лермонтов разрядил свой пистолет в воздух.

Мог ли поэт поступить иначе?..

И еще одна деталь, характеризующая физическое развитие Лермонтова. Поэтесса Евдокия Ростопчина, которая хорошо знала Лермонтова и высоко ценила его, написала стихи после трагической гибели 26-летнего молодого человека: «Но где ж, но где ж она, та юная, та мощная рука?..»

В каком смысле «мощная»? Способная создать столько стихов, драм, поэм, повестей, гениальный роман? Рука, написавшая замечательные картины, рука, профессионально державшая кисть и обещавшая Лермонтову славу живописца не меньшую, чем литератора? Наверное, у Ростопчиной выражение «мощная рука» имеет и другой смысл. Если неторопливо читать воспоминания современников, то можно найти дивную сцену в мемуарах Александра Меринского:

«Лермонтов был довольно силен, в особенности имел большую силу в руках, и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач —

он гнул шомполы и делал узлы, как из веревок».

Однажды Лермонтов и Карачинский были застигнуты директором школы, генералом Шлиппенбахом, за состязанием в силе. Разозлясь, генерал «начал делать им замечания: «Ну не стыдно ли вам так ребячиться? Дети, что ли, чтобы так шалить!.. Ступайте под арест». Их арестовали на одни сутки. После того Лермонтов презабавно рассказывал нам про выговор, полученный им и Карачинским. «Хороши дети, — повторял он, — которые могут из железных шомполов вязать узлы», — и при этом от души заливался громким хохотом».

При своей короткой жизни Михаил Юрьевич издал всего один сборник. В него он включил только стихи, написанные после 1836 года. В нем не нашлось места для строк, которые сегодня знает каждый школьник: «Белеет парус одинокий»... Даже то стихотворение Лермонтов считал детским. Вот как строго он спрашивал с себя.

А в минуту досуга мог гнуть шомполы и вязать из них узлы, играть в шахматы под черкесскими пулями и бросать в лицо подлецам «железный стих, облитый горечью и злостью!»

Лермонтов, как и Пушкин, был неутомимый ходок пешком. Вспомните историю написания стихотворения «У врат обители святой». Лермонтов с бабушкой и Екатериной Сушковой был в Троице-Сергиевой лавре — нынешнем Загорске. Юный поэт увидел слепого нищего, которому «шалуны» вместо монет положили камень в протянутую ладонь — и написал бессмертные гневные двенадцать строк... Но примечательно здесь и другое: Лермонтов и его сверстники шли в лавру пешком четверо суток (бабушка ехала в экипаже) из деревни Середниково, которая располагалась на берегу Клязьмы в нынешнем Солнечногорском

районе. Чтобы попасть в лавру, путешественники пересекли Клинско-Дмитровскую гряду и, возможно, прошли через будущее Шахматово Александра Блока...

Лермонтов, повторимся, вообще стремился больше ходить, ездить на лошади, узнавать свою Россию «на вкус и запах». Осенью 1837 года, сосланный на Кавказ, он писал Святославу Раевскому:

«Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазал на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь...

Я уже составил планы поехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Петровским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни...»

Незадолго до смерти — в письме к Софье Карамзиной из Ставрополя — Лермонтов снова заговорил на тему путешествий:

«Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно еще пожелать... Я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтобы знать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия мною овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье...

Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечность...»

«Суждено длиться вечность...» Если бы это было так! Поэт не знал, что ему осталось жить всего 64 дня...

Его глазами

Почти полвека назад на перрон Белорусского вокзала в Москве сошел пожилой человек. Еще совсем недавно, встретив его в Париже, писатель Иван Бунин удивился: «Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, что у меня слезы навернулись на глаза».

И вот он приехал в социалистическую Москву, радостный и счастливый: «Осуществилась мечта моей жизни... Я готов был пойти в Москву пешком, лишь бы туда вернуться».

«Мне хорошо, — вот его первые слова после возвращения. — Какое счастье принадлежать к такому народу, любить его».

Человека, приехавшего на Родину, звали Александром Ивановичем Куприным. Для многих это был известный русский писатель, жизнелюб и бро-

дяга, перечисливший в журнале «Сатирикон» свои профессии:

«...был управляющий при постройке дома,

был репортером,

разводил табак — махорку-серебрянку — в Волынской губернии,

служил в технической конторе,

был псаломщиком,

служил на сцене,

изучал зубоврачебное искусство — исключительно протезную технику (изготовление искусственных зубов),

давал уроки детям,

пробовал постричься в монахи,

был заведующим учетом кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве,

в течение одного лета служил в артели подрядчика в Киеве по переноске мебели фирмы Лоскутова,

носил кирпич на козе,

работал осенью по разгрузке арбузов. Остальное сейчас не вспомню...»

«Напомним забывчивому А. И. — стал знаменитым писателем», — замечает «Сатирикон».

Мне бы тоже хотелось дополнить перечень увлечений А. И. Куприна, который однажды сам о себе откровенно сказал:

«Я бродяга и страстно люблю жизнь... Никогда не гнала меня нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство».

Правда, писатель Владимир Алексеевич Гиляровский сказал как-то о нем:

«Когда Антон Павлович Чехов предложил провести состязание силачей-литераторов, то Куприн почему-то отошел в сторону: «Где мне с дядей Гиляем сладить». При этом улыбнулся, но я по-

нял — Куприн не шутил, хотя мне невдомек: что он имел в виду?..»

Наверное, Александр Иванович Куприн вспомнил в ту минуту о международном спортивном признании Гиляровского, возглавлявшего вместе с А. П. Чеховым Русское гимнастическое общество и завоевавшего на состязаниях славянских спортивных делегатов общества «Сокол» в Белграде в 1897 году специальный приз и звание «Наибольшего витязя».

Такого официального звания у самого Куприна не было, хотя классик русской литературы не без оснований считался пионером русского спорта, создателем киевского атлетического общества, в котором, кстати, получил первые уроки Иван Поддубный. Куприн, судья в борьбе, энтузиаст спортивной авиации, друг талантливых пропагандистов спорта «дяди Вани» Лебедева, Ивана Заикина, Ивана Чуфистова, Сергея Уточкина, чемпиона мира по шахматам Александра Алехина...

Куприн был известен и как спортивный журналист, сотрудничавший в «Геркулесе». На обложке этого популярного журнала был однажды напечатан портрет Александра Ивановича. Так «Геркулес» отдавал дань уважения писателю, который подарил спортивному миру прекрасные страницы описания боев боксеров, борцовских поединков. Куприн писал об авиационном спорте, акробатике, водолазном деле, гимнастике, гребле, о коньках, лапте, парусном спорте, плавании, стрельбе, тяжелой атлетике и фехтовании. Спортивные рассказы и очерки, заметки и отчеты до сих пор привлекают читателя глубиной философии спорта, знанием техники и методики, пониманием движения и красоты тела.

Александр Иванович во все периоды жизни страстно увлекался спортом и знал его не пона-

слышке, а попробовал свои силы чуть ли не во всех известных в начале XX века видах спорта. Мария Карловна Куприна-Иорданская вспоминала, как проходили дни писателя во время летнего отдыха в Крыму:

«Вставал Александр Иванович очень рано, но в море утром не купался. Он любил заплывать далеко, а это перед работой расслабляло и утомляло. Поэтому утром он принимал только душ. В нескольких саженях от дачи, по нашей границе с соседним, еще не застроенным участком, протекала горная река Салгир. Здесь из кадки, прикрепленной к толстой ветке росшего на берегу дуба, и садовой лейки Александр Иванович устроил душ. Вода в Салгире была холодная, и сейчас же после душа Куприн занимался гимнастикой на параллельных брусьях. Их он тотчас по приезде заказал у работавших на соседней даче плотников. Через два дня плотники принесли какое-то странное деревянное сооружение, которое поставили во дворе.

— Это параллельные брусья для гимнастики, — объяснял мне Александр Иванович. — Вот выровняем площадку и укрепим их. Тогда я покажу тебе, сколько самых сложных гимнастических упражнений можно проделать на этих брусьях.

«Человек должен развивать все свои физические способности, — был убежден Куприн. — Нельзя относиться беззаботно к своему телу».

Перечитывая сегодня Куприна — одного из первых русских спортивных беллетристов, не забудем: время, в которое он писал — конец XIX и начало XX века, — характеризуется полным безразличием царской власти к спорту, физическому воспитанию и здоровью народа. Корреспонденты журнала «К спорту!» несколько раз пытались взять интервью у председателя Московской городской думы Н. Гучкова, но начальник канцелярии два

года не подпускал журналистов к «хозяину города». И лишь в 1911 году, когда Россия официально объявила о своем согласии принять участие в V Олимпийских играх в Стокгольме, отмалчиваться стало невозможно.

Был создан по высочайшему повелению императора специальный комитет, призванный заняться подготовкой к состязаниям. Повсюду в обеих столицах шли споры о составах команд, о возможных шансах, о том, в каких видах программы участвовать. Передовая часть общества — и в их числе Куприн — во весь голос заявила о необходимости всерьез заняться физической культурой. И тогда-то г-н Гучков соизволил сказать свое слово. Но разве лишь для того, чтобы расписаться в собственном невежестве, беспомощности, растерянности:

«Русское общество относится равнодушно к физическому развитию. В России, и даже в Москве — не будем уже говорить о взрослых, — физические упражнения не стоят на должной высоте даже в школах. Что дает сейчас для укрепления тела своим питомцам наша школа? Пока одно: неинтересную, скучную повинность гимнастического урока. Наклонитесь, разогнитесь...»

Обратите внимание, как решительно и прямолинейно заявлял думский голова: «Русское общество относится равнодушно к физическому развитию». О каком, собственно, обществе шла тогда речь? Разве не выдающимися представителями русского общества были Лесгафт и Краевский, Поддубный и Заикин, Уточкин и Панин-Коломенкин, страстный пропагандист спорта писатель Куприн? Разве замечательные русские конькобежцы — Струнников и братья Ипполитовы, борец Петров, велосипедист Панкратов, борец Гаккеншмидт, тяжелоатлет Елисеев, даже в тех условиях добивавшиеся побед, не представляли Россию? Откройте книги Купри-

на — и вы увидите Россию пробуждающуюся, Россию героическую и богатырскую, Россию спортивную!

Куприн был жизнелюб и бродяга, репортер и актер, спортивный судья и цирковой борец, офицер и мастер-стоматолог, рабочий на сталелитейных и рельсопрокатных заводах, грузчик и писатель. Куприн любил простор лугов, буйство берез и сосен. «Если бы мне дали пост заведующего лесами Советской республики, я мог бы оказаться на месте», — писал Александр Иванович в 1925 году М. К. Куприной-Иорданской. Он любил свежий русский воздух и такой благодатный для здоровья и спорта морозный климат.

Готовя к печати этот очерк-беседу, я перечитал, мне кажется, все произведения Куприна, изданные на русском языке, просмотрел письма, хранящиеся в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина и в Государственном литературном музее. И когда я снова и снова перечитывал Куприна, то мысленно беседовал с ним, смотрел на спорт «его глазами». Так и родилась «беседа» с Александром Ивановичем, в которой я использовал его высказывания в различные периоды жизни и отрывки из произведений. Беседа, которой не было...

А. Ю. Так и хочется спросить: Александр Иванович, что особенно удивило Вас, когда Вы вернулись на Родину?

Куприн. Меня поразили... бодрость и безоблачность духа.

А. Ю. Вы говорите о молодежи?

Куприн. Это — прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная походка. Видимо, это результат регулярных занятий спортом.

А. Ю. Кстати, еще до встречи с Родиной, лет десять назад, Вы писали Ивану Заикину. Помните?

Куприн. Ты мечтал об устройстве питомника физической культуры в государственном плане? Это в России возможно, и только в ней.

А. Ю. Коль речь зашла об Иване Заикине, расскажите об этом человеке. Вы ведь с ним в течение многих лет дружили? Даже летали вместе на самолете?

Куприн. Во время полетов Катанео, Уточкина и других Заикин зажегся мыслью, чтобы летать. В то время мы вместе с ним были на аэродроме. Со свойственной этим упрямым волжанам внезапной решительностью он сказал:

— Я тоже буду летать!

Дернул меня черт сказать:

— Иван Михайлов, беру с вас слово, что первый, кого вы поднимете из пассажиров, буду я!

...И вот почти ровно через год, в очень ненастную одесскую погоду Заикин... добродушно разнял толпу, подошел ко мне и сказал:

— Ну что ж, Лександра Иванович, полетим?

А. Ю. И в этом полете что-то случилось с мотором. Вы могли погибнуть. Какие ощущения Вы испытали?

Куприн. Ни у меня, ни у кого (как я потом узнал) не было ни на секунду ощущения страха — страх был раньше. С каким-то странным равнодушным любопытством я видел, что нас несет на кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа.

Только впоследствии я узнал, что Заикин в ту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником нескольких человеческих жизней. Он успел круто свернуть

налево... и затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю...

А. Ю. Но Вы тоже упали?

Куприн. Я скорее его поднялся на ноги и спросил:

— Что ты, старик, жив?

Вероятно, он был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил на мой вопрос, но первые его слова были:

— Мотор цел?..

А. Ю. Иван Михайлович спросил о моторе в первую очередь потому, что аэроплан принадлежал не ему? Наверное, надо было отвечать за разбитую машину? Кстати, ведь после этого полета, если мне не изменяет память, Заикин перестал быть спортсменом-летчиком?

Куприн. Братья Пташниковы — миллионеры, хотевшие эксплуатировать удивительную дерзость этого безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, перевели исковерканный Фарман в гараж.

А. Ю. А что же стало с Заикиным после вашего полета?

Куприн. Все это дело прошлое. Заикин опять борется... и часто пишет мне совершенно безграмотные, но необыкновенно нежные письма и подписывается: «Твой серенький Иван».

А. Ю. Заикин оставил мысли о небе. А Вы?

Куприн. Что касается меня, я больше на аэроплане не полечу!

А. Ю. После Октябрьской революции Иван Заикин — богатырь ростом 210 сантиметров — появился в Париже. Он ходил в вышитой русской косоворотке из чесучи и подобно Вам скучал по Родине. Он казался Вам близким человеком. Даже свое горькое письмо-жалобу о том, что Вашу книгу «Новые повести и рассказы» издали тиражом всего

полторы тысячи экземпляров, Вы адресовали именно ему — неграмотному спортсмену. Вы советовали ему вернуться на Родину. Помните?

Куприн. Перебирайся на Родину... Вот эту сторону ты взвесь хорошенько... И я к тебе переберусь... Даже цветы на Родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей.

А. Ю. Я вернусь несколько назад. Полет на спортивном самолете, кажется, не был Вашим первым знакомством с небом? Еще в 1909 году, когда получили широкое распространение показательные спортивные полеты, Вы поднимались над Одессой на воздушном шаре, управляемом Уточкиным. В небе Вы побывали одним из первых в России. Перед полетом поэт Федоров вручил Вам шутливую эпиграмму. В ней было написано...

Куприн.

Прощай! С тобой в ином уж мире
Мы повстречаемся, Куприн!
Исчезнешь ты от нас в эфире,
Притом исчезнешь не один...

А. Ю. К счастью, автор ошибся в прогнозах. Но прошло несколько дней, и в газете «Одесские новости» появилось четверостишие, посвященное Вам.

Куприн.

Спустился ты на дно морское,
Поднялся ты под облака —
Из четырех стихий в покое
Лишь огнь оставил ты пока.

А. Ю. Известно, что Вы были одним из первых энтузиастов подводного плавания, когда изучали его под руководством старого водолаза Дюжаева, и осенью 1909 года несколько раз «спускались на морское дно» в Одессе.

Куприн. Сам я... все это вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Кажется,

никогда этого не было... Был сон... Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю.

А. Ю. Беседуя о спорте, мы вспомнили Заикина, Уточкина, полеты в небо и подводное плавание. Мы вспомнили море. Говорят, Вы очень любили море и его «пленников»?

Куприн. Кто знал однажды прихоти моря и его чудеса и радости, его гнев и сладкую ласку, тот уже пленник моря навеки. Оно притягивает к себе моряков, как луна влюбленных.

А. Ю. А чем влекло Вас море?

Куприн. Какая прелесть были черноморские парусные баркасы!.. Как сладко волновал сердце момент выхода в открытое море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. Нашел — и мгновенно со звуком лопнувшей струны весь наполняется ветром и становится во всей белизне и благородной выпуклости... Баркас накренился набок. Журчит вода под килем. Пена плещет через борт. Дрожит туго натянутый шкот, рвется вперед парус. Баркас живет всем своим телом и нервами. Он одушевлен.

А. Ю. А как Вы отнеслись к рождению водно-моторного спорта?

Куприн. В моторной лодке нет души. Только воняет бензином и в своем противном стрекотании подражает цикадам. Море же не любит ни свиста, ни праздного шума.

А. Ю. Позвольте не согласиться с Вами.

Куприн. Во мне говорит завистливое чувство, подобное тому, какое испытывает мальчишка, которого не приняли в игру.

А. Ю. Но с десятилетиями водно-моторный спорт стал очень популярным.

Куприн. Пусть я — человек отсталый, но вот не нравятся мне моторные лодки — и конец.

А. Ю. Вас и Ваших героев привлекали в основном те виды спорта, которые требуют мужества, умения преодолевать препятствия на каждом шагу. Не связано ли это с тем, что российский спорт начинался на Ваших глазах и Вы видели в спорте одну из форм воспитания мужества?

Куприн. Известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти.

А. Ю. Но тем не менее спортсмены преодолевают эти препятствия, проверяют себя, чтобы в трудную минуту встретить опасность во всеоружии. Вы были хорошо знакомы со многими ведущими спортсменами России — ее чемпионами и рекордсменами. Произносились ли в том мире слова «мужество», «сила воли», то есть те слова, которыми мы, журналисты, любим козырять?

Куприн. Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и прочие сверхчеловеческие душевные качества в этом мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход... спортсмена?

А. Ю. Но неужели спортивный подвиг Нестерова не вызвал удивления?

Куприн. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю... Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству! Люди, совершающие подвиги... это — самые обыкновенные бесхитростные люди, вовсе не думающие о своем геройстве и идущие на подвиг не во имя подвига, а во имя долга...

А. Ю. Мне нравится Ваш герой, который летал на спортивных самолетах, воспитывал в себе мужество, готовился к испытаниям...

Куприн. Мичман Прокофьев? Сашка?

А. Ю. Да! В одном из воздушных боев с немцами самолет Прокофьева был подбит. Летчик падал в море. Мичман Прокофьев спасся каким-то чудом...

Куприн. Он вынырнул спиной к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, — теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества.

А. Ю. Отличный спортсмен, Прокофьев сумел доплыть до берега. Причем доплыл с раздробленной ногой, которую позднее пришлось ампутировать. Трудно представить: ночное море, десятки километров темноты и одиночества, раненая нога — и все же выплыл. Мало того, он мечтал о возвращении в небо.

Куприн. Подумать только: он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд жизни, не о грозящем ему ужасе непоправимого калечества... Нет, точно каменная плита, угнетала его одна мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых полетов вверх сквозь облака, в чистую лазурь, к слепящему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы!..

Мичману отняли ногу... Доктор не ручался за исход операции — больной был чересчур слаб.

А. Ю. Узнав, что у него отняли ногу, Прокофьев не пал духом. Он даже сочинил песенку...

Куприн.

А Прокофьев о ноге не тужит,
с деревяшкой Родине послужит...

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры (а вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить Родине с деревяшкой или не сможет. Оказалось, смог.

А. Ю. Настал день — и он сел за штурвал.

Куприн. Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июльским утром отделился он от земли и свободно поплыл ввысь, а аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев.

А. Ю. Прокофьев совершал не только спортивные полеты?

Куприн. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить два германских аэроплана...

А. Ю. Кажется, нет такого вида спорта, которым Вы не увлекались бы и о котором не писали бы в своих произведениях. В «Синем журнале» за 1913 год напечатаны строки, в которых Вы пропагандировали стрелковый спорт...

Куприн. Я поклонник и любитель всякого вида спорта, исключая, конечно, катанье на роликовых коньках в закрытом помещении, среди духоты...

Одним из самых благородных и полезных упражнений (если не самым лучшим) считаю стрельбу... В самом деле — искусство стрельбы в цель вовсе не легкое искусство. Оно требует от стрелка много данных: спокойствия, хладнокровия, уверенности, душевного и физического равновесия, внимания, зоркости взгляда, находчивости, терпения... Стрелковый спорт интересен еще потому, что в нем нет пределов для совершенствования...

Если бы спросили моего совета, я горячо рекомендовал бы насаждать стрелковый спорт в среднеучебных заведениях. Он прекрасен в воспитательном смысле.

А. Ю. Сегодня, с известного исторического расстояния, мы можем еще больше оценить Вашу благородную деятельность в популяризации спорта, народных русских игр, в частности лапты, о которой Вы говорили на страницах «Геркулеса» в 1916 году.

Куприн. Эта народная игра — одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят.

Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я усердно рекомендую эту родную русскую игру не только как механическое упражнение, но и как безобидную забаву, в которой вырабатывается товарищеская спайка: «Своего выручай!»

А. Ю. Специалисты иппической, то есть лошадиной (от греческого hippos — лошадь), литературы считают, что в мировой поэзии и прозе, увенчанной строками Гомера и Шекспира, Пушкина и Лермонтова, Толстого и Сервантеса, Свифта и Голсуорси, — в этом блестящем ряду «Изумруд» Куприна занимает особое место. Наверное, не в последнюю очередь это объясняется тем, что повесть о лошади, ставшей жертвой людской зависти, подлости, душевной черствости, это произведение посвящено «Памяти несравненного пегого рысака Холстомера». Не живого, реального Мужика I, который послужил прообразом Льву Толстому, а литературного героя, созданного гением из Ясной Поляны... Говорят, что Вы, дабы проникнуть в психологию удивительного животного, постави-

ли у себя на веранде лошадь и жили рядом с ней, и работали, слыша ее причмокивание... Вы даже многих знакомых литераторов после этого «эксперимента» переосмысливали «под углом зрения лошади»?

Куприн. Диккенс заметил: «Души кучеров еще не исследованы...» Не правда ли, какой замечательный, остроумный афоризм? ...Наверное, вы не раз наблюдали, как идущую хорошей рысью лошадь кучер ни с того ни с сего принимается нахлестывать и она начинает скакать галопом. Один кучер медленно спускает лошадей с горы и гонит их на гору. Другой спускается карьером, а в гору поднимается шагом. Как правило, кучера без толку задергивают лошадей и портят их...

Во время нашего разговора мне пришло в голову, что души критиков так же не исследованы, как и души кучеров, но воспитательные приемы их часто бывают одинаковыми. Критики так же, как и кучера, воображают, что если они будут задергивать, всячески измываясь над писателями, то те станут уважать их и слушаться...

А. Ю. Работая над повестью о конных бегах, Вы, разумеется, вспоминали, как часто бывали раньше на ипподроме, благо что он располагался рядом с Кабинетской улицей, в которую упиралась Разъезжая, где Вы жили...

Куприн. На бегах горячие лошади берут сразу, с места. Они становятся любимцами публики, им присуждаются большие призы. Но это большей частью лошади, бегущие на короткую дистанцию. На длинную им не хватает дыхания и выдержки. Тогда раньше незаметная, скромная лошадка приходит первой и берет приз.

Вот и я на литературных бегах такая незаметная скромная лошадка. Но я и лошадка на большую дистанцию. Короткая мне не нужна. Поэто-

му пускай бегут, обгоняют меня и берут призы Андреев, Чириков, даже Скиталец. Я... свое возьму... моя дистанция длинная.

Лошадка на длинную дистанцию и Бунин, но он хладнокровно к этому не относится. Он сердится, когда его обгоняют. Его это раздражает...

А. Ю. «Лошадники», перечитывая «Изумруда», до сих пор не могут успокоиться, с восхищением отмечая Ваше бравирование знанием лошади. Изумруд немножко косолап, и когда он стоял — слегка покачивался. Для лошади подобное покачивание, «маятник» — недостаток. Но Вы не случайно ввели эту деталь, а для того, чтобы показать отношения людей и лошадей глазами коня? Всем сердцем, всем дыханием, всей страстью Вы на стороне несчастного скакуна, рожденного бегать, но лишенного этой возможности из-за человеческой подлости... Лучшие наездники 80-х годов XX века признают, что Вам удалось передать момент таинственного взаимопонимания между лошадью и человеком. Ожидая рысистых состязаний, Ваш серебристо-стальной Изумруд тепло вспоминает своего наездника...

Куприн. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем... как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

...Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания.

А. Ю. А потом были бега, столь желанные. И было единение лошади и человека.

Куприн. ...Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!... Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, пронесясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне семью секундами позже.

А. Ю. Интересуясь историей конькобежного спорта, я нашел ответ на вопрос: почему самый первый в истории России чемпионат был проведен в Москве?.. Ответ подсказал Ваш рассказ «Юнкера», особенно те страницы, где дан портрет преподавателя гимнастики Александровского училища, московского конькобежца Постникова.

Куприн. Еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, женщин падать в обмороки...

А. Ю. Далее в рассказе называются те, кем по праву гордилась Москва в пику чиновному Петербургу: «У вас в Питере так-то, а у нас в Москве во сто раз хлеще...» Среди московских знаменитостей — клоуны, братья Дуровы, репортер и силач Гиляровский (дядя Гиляй), Сергей Шмелев — устроитель народных гуляний, ледяных гор и фейерверков. И лишь в конце списка, занимающего полстраницы, вспоминается о пловцах и спортсменах, причем специально подчеркивается: «...и только под конец спортсменов». Мне лично кажутся важными другие слова: «У вас в Питере так-то, а у нас в Москве во сто раз хлеще...» Как известно, учредители первого русского «Общества любителей бега на коньках» жили в Петербурге, и естественно, они готовились провести первый чемпионат страны у себя на Неве, но... состоялся он на... московской Петровке.

Почему?

Во-первых, коньки в Москве уважали. Не случайно любимый Львом Николаевичем Толстым Левин катается на льду Зоологического сада. Причем Левин объявляется конькобежцем прошлого... Какого прошлого? Конца шестидесятых годов?

Конечно, и в Москве и в Петербурге бег на коньках был привилегией богачей. Вспоминаются размышления Вашего героя Александрова, который, будучи стесненным в средствах, мучительно думает: «Как попасть на каток?»

Куприн. Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник — три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого — шесть раз — шестьдесят копеек. Вход в Чистые пруды — гривенник, итого семьдесят копеек...

А у Александрова не было ни единой копей-

ки. О свинская, о подлая бедность! Неужели придется отказаться?..

А. Ю. Вот видите: попасть на каток — уже большое счастье для москвича. А умение бегать по льду — признак хорошего тона в Белокаменной. И она-то, любящая, если верить Вам, все делать в пику чиновному Петербургу, провозглашает: «Первый всероссийский турнир состоится в феврале 1889 года на катке яхт-клуба. Дистанция — три версты». Вот вам и москвичи!..

Куприн. «У вас в Питере так-то, а у нас в Москве во сто раз хлеще...»

А. Ю. В Петербурге предлагали на ярды и мили бегать, а Москва решила мерить русскими верстами. Кстати, Александр Иванович, Ваш старый знакомый — чемпион России по конькам Никита Иванович Найденов рассказывал нам, своим ученикам, об одном Вашем «конькобежном изобретении». Позвольте небольшое отступление...

Было это в марте 1913 года. Русские скороходы возвращались с чемпионата мира из Хельсинки. Настроение у них было неплохим: Василий Ипполитов занял второе место в многоборье, а Никита Найденов — третье. Впрочем, после успехов Николая Струнникова, прозванного «славянским чудом», они остались в тени... В Финляндии скороходов познакомили с двумя писателями — Александром Ивановичем Куприным и Корнеем Ивановичем Чуковским. Вы расспрашивали конькобежцев о первенстве мира.

— А скорость-то, скорость какая была? — Вам обязательно нужно было узнать все детали: как, что, зачем?

— Полкилометра за 46 секунд, — отвечали спортсмены. — Но очень плохая погода стояла.

— А вот у нас скорость на коньках — это скорость! — похвастался Куприн.

Бегуны смотрели на литераторов и не понимали — разыгрывают они их или говорят серьезно? Как Куприн и Чуковский могут бегать быстрее, если Ипполитов и Найденов занимают второе-третье места во всем мире?

Оказывается, Чуковский научил Вас кататься по ослепительно сверкавшему льду залива под парусом. И Вы, до того дня ни разу под парусом не ходивший, как истый спортсмен, усвоили технику этого дела и молодецки носились по льду, перегоняя Корнея Ивановича.

Катались на узеньких железных полозьях — одни их называли коньками, другие с таким же успехом — лыжами. Коньки (думаю, это название более точное) не расползались по льду. Парус натягивался на длинные бамбуковые палки, связанные бечевкой крест-накрест, между ними — перекладина, за которую хватался спортсмен, приладив парус у себя за спиной, — все это рассказывал Никита Иванович — патриарх русских коньков...

Позвольте перейти к другому виду спорта, одному из самых любимых — к боксу. В. Ходасевич в статье «А. Куприн и Европа» даже насмешливо писал о Вас: «В его путешествиях все какие-то... боксеры».

Куприн. Среди людей интеллигентных профессий я очень редко встречал любителей спорта и физических упражнений. А наши литераторы, на кого они похожи — редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы и кривобоки, при ходьбе вихляют всем туловищем, загребают ногами или волочат их — смотреть противно... А попробуй с ними заговорить о боксе. Борьбу как занимательное зрелище снисходительно допускают, но на бокс принято смот-

реть как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять. И не хотят понять, что бывают случаи, когда знание простейших приемов бокса может оказать неоценимую услугу.

Вот что было со мной в Киеве.

Я поздно вечером возвращался домой. На улицах было темно и морозно. На одном из перекрестков из-за угла выскочил рослый дядя и потребовал от меня деньги, часы и пальто. В моем кошельке всего-навсего было несколько серебряных монет, и расстаться с ними мне было бы не жалко, часы находились в закладе, но своим единственным, хотя и сильно поношенным, пальто с собачьим воротником и дорожил... Разумеется, пальто я решил не отдавать. Ты, может быть, думаешь, что я начал кричать и звать городового. Ну, нет! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже больше не боеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Будешь теперь знать, мерзавец, как отнимать у человека его последнее пальто...»

А. Ю. Из воспоминаний Ваших современников известен и другой случай, когда во время отдыха на даче под Лугой Вам пришлось вспомнить о своем умении боксировать в обстоятельствах, когда вашей жизни и здоровью ничто не угрожало. Но Вы вступились за лошадь, которую кучер Василий варварски истязал...

Куприн. От работы отвлек меня какой-то слышавшийся из конюшни шум. Раздавались чьи-то выкрики, частые удары копыт о деревянный настил и не то хрип, не то ржание лошади.

«В конюшне что-то случилось», — подумал

я и выбежал во двор. Распахнув двери конюшни, я увидел, как Василий, перегнувшись через переборку, длинным колом остервенело бил запертую в стойле лошадь.

«Что ты делаешь, мерзавец!» — крикнул я.

«Воспитываю коня, чтоб он меня уважал и слушался», — повернулся ко мне Василий.

«Сию минуту брось кол и проспись, собачий сын».

«Уходи, пока цел, господин, а то...» — Василий с колом двинулся на меня.

Но, скажу без ложной скромности, я очень неплохой борец, а как боксер могу поспорить с любым профессионалом. Испытанным боксерским приемом я ударил его в челюсть, потом в переносицу и третьим ударом под ложечку свалил с ног, а затем выбросил из конюшни. И все время, пока мы жили на даче, он лошадь больше не «воспитывал».

А. Ю. Вы сказали, что как боксер могли поспорить с любым профессионалом. Наверное, Вы имели в виду свой бой с чемпионом юга Франции Мариусом Галлом?

Куприн. Конечно, вечное любопытство — увы! — увлекло меня попробовать этот спорт. Мы с Галлом протянули друг другу руки... Затем мы надели перчатки... И я не успел еще опомниться, как уже лежал на полу. Спокойно улыбаясь, Галл говорил мне:

— Теперь ваша очередь...

Я был в то время тяжелее его на два пуда двадцать фунтов и несомненно, что, если бы мне удалось попасть ему в грудь или лицо, я его опрокинул бы. Но, к сожалению, мне это не удалось. Мои удары падали в воздух. Через три минуты он загнал меня в угол...

А. Ю. Известно, что Вы были активным про-

пагандистом бокса. В 1916 году в февральской книжке «Геркулеса» Вы писали...

Куприн. Бокс развивает в человеке выносливость, смелость и бесстрашие, доводя эти качества до высшего предела... Противники бокса утверждают, что это кровавое искусство, но... мне кажется, что если это вдохновение налицо, то зрителям одинаково передается простота момента и в резком, рассекающем воздух ударе боксера, и в каскаде приемов борцов, беззлобно сплетших свои прекрасные мускулистые тела. От силы вдохновения противников зависит заставить всех зрителей сидеть в напряженном, внимательном молчании, которое можно назвать благоговейным.

А. Ю. Но, воспевая бокс, Вы все же считали его одним из труднейших видов спорта?

Куприн. Мой друг, очень честный человек и прекрасный спортсмен С. И. Уточкин, однажды признался мне под веселую руку в том, что он перепробовал все рода спорта, вплоть до бокса (в Париже), но что он искусства бокса не мог одолеть... Боли совсем не чувствуешь, остается только инстинктивное желание: упавши на пол, встать раньше истечения трех минут одиннадцати секунд. Вы сами знаете, друг мой, что я средней руки велосипедист, мотоциклист и автомобилист. Я недурно гребу, плаваю и владею парусом. Я летал на воздушных шарах и аэропланах. Но, пре-пре-представьте с-с-себе, этого с-спорта никогда не мог о-д-д-о-леть.

А. Ю. О Вашей дружбе с Уточкиным написано много.

Вы очень любили этого чудо-человека с ярко-рыжими волосами и белесыми ресницами, с широким носом и резко выступающим вперед подбородком. Пожалуй, и сегодня Уточкин — во многом эталон спортсмена-многоборца: велосипе-

дист, конькобежец, боксер, автомобилист, один из первых в России парашютистов-летчиков. Он и футболистом был. И как играл! О нем писали в те годы...

Куприн. «Среди английской партии футбола заметно выделялся своей игрой известный одесский спортсмен С. Уточкин».

А. Ю. Он был добр к людям, Сергей Уточкин. И все же глубоко несчастен. Я читал строки из его письма: «...На что уходит жизнь? Кому я нужен со своим спортом... Надо что-то сделать, ох!»

Куприн. Он был самый страстный спортсмен в мире, какого только можно себе вообразить.

А. Ю. Ваша оценка людей сомнению не подлежит. Ведь это Вы, Александр Иванович, среди борцов цирка, где спортсмены были «все на один парад», выделили Ивана Поддубного. Вы сказали ему, что для борца одной силы мало, необходимо иметь «спортивное сердце», то есть воспитывать в себе силу воли. Впоследствии «чемпион среди чемпионов» говорил: «Многим я обязан Куприну. Он открыл мне тайну, дал мне «борцовское сердце». И Ваша дружба с Поддубным, Заикиным, Чуфистовым не была ведь случайной?

Куприн. Профессиональную борьбу я прекрасно знаю.

А. Ю. Мне посчастливилось встретиться с Иваном Ивановичем Чуфистовым. Было это в 1966 году, когда ветерану русской борьбы исполнилось 82 года. Он рассказывал мне о том, как Вы судили его поединок с Моро-Дмитриевым. А потом писали о Чуфистове на страницах «Геркулеса»...

Куприн. Молодец, ничего не скажешь! Вот она, русская силушка, нету ей равных. Русский Иван могуч!

А. Ю. Русский богатырь, который в 82 года выглядел как крепкий, могучий, полный сил дуб, вспоминал о том страшном для России дне, когда началась империалистическая война. Он был в тот день с Вами. Потом Вы вышли на улицу. Вы прекрасно знали состояние русской армии, и Вам, автору «Поединка», в котором сорваны маски с русского офицерства, было понятно уже тогда, какой кровью Россия должна заплатить за тот день 1 августа 1914 года, когда она вступила в мировую войну. Вы рассказывали Чуфистову про японскую войну и настолько разволновались, что Ивану Ивановичу показалось: это в Вашей семье случилось большое горе. Позднее он понял: семьей для настоящего писателя всегда должна быть вся Россия. И ее горе — всегда личное горе патриота.

Чуфистов недоумевал, почему в тот трагический день Вы, чтобы развеяться, пошли в цирк. Позднее в рассказе «Дурной каламбур» он прочитал Ваши впечатления о цирке...

Куприн. Цирк восхищал, волновал, радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии?.. И возвращались мы из цирка домой широкими и упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!

Много драгоценных и, по совести скажу, полезных минут давал нам цирк...

А. Ю. Ваша дочь Ксения Александровна вспоминала, что в доме Куприных постоянными гостями были атлеты, которые демонстрировали приемы французской борьбы и атлетические номера, советовались с Вами, делились успехами и планами, раскрывали профессиональные тайны.

Интересно, как Вам удавалось одинаково любить и борьбу, и бокс: виды спорта, которые многие в начале XX века противопоставляли друг другу?

Куприн. Нетрудно примирить сторонников борьбы и бокса, заставив их понять, что всякий спорт можно сделать искусством, прекрасным до совершенства, — все зависит лишь от вдохновения противников... В результате желаю каждому обнаженному прекрасному победителю — будь он боксер или борец, — лавровый венок. А молодежь пусть смотрит, учится и соревнуется, потому что в спортивных состязаниях — школа жизни.

А. Ю. Наша беседа подходит к концу. Один из последних вопросов относится к тяжелой атлетике. Потому, что сами Вы любили тяжелую атлетику, в конце прошлого века считались одним из сильнейших богатырей Киева. Я хочу вспомнить Ваш рассказ «В цирке», который очень любили Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов. Помните, когда атлет Арбузов приходит к доктору и врач говорит ему...

Куприн. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай — и атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте.

Атлет вздохнул и, сонно покосившись на свою левую руку, согнул ее, отчего выше сгиба под тонкой кожей, надувая и растягивая ее, вырос и прокатился к плечу большой и упругий шар, величиной с детскую голову.

А. Ю. Трудно представить, что могут быть такие мускулы. Хотя Вам нельзя не верить — Вы сами занимались штангой, а этот рассказ Вам консультировал доктор Антон Павлович Чехов. Извините, что перебил Вас. Так что там еще говорил врач?

Куприн. Да, батенька, уж подлинно наделил вас господь, — продолжал доктор. — Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двухглавыми. А это... Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так, так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это — слышите, я нащупываю на плече? Это дельтовидные мышцы. Они у вас точно полковничьи эполеты. Ах, и сильный же вы человечина!

А. Ю. Арбузов — лицо не вымышленное?

Куприн. В Одессе я знавал русского атлета Арбузова, которого пото́м изобразил...

А. Ю. При создании рассказа Вы советовались со многими знакомыми — с А. П. Чеховым, Л. И. Елпатьевской... Очевидно, тема казалась Вам сложной?

Куприн. Профессиональный атлет, борец, русский, даже полуинтеллигент, должен состязаться вечером в цирке с американцем Джоном Робером. Отказаться нельзя, он уже внес 100 рублей на пари, и афиши выпущены. Но чувствует с утра озноб и лень во всем теле. Видит на репетиции утром своего противника (тот тренируется) и чувствует страх. Вечером он борется, побежден и умирает у себя в уборной, не успев снять трико, от разрыва сердца... Какой простор для меня... описание борьбы, напряженных мускулов...

А. Ю. Ваш рассказ о трагической судьбе борца Арбузова — русского богатыря — вызвал восторженные оценки Чехова и Толстого. Антон Павлович писал Вам: «Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему очень понравилась». А один из первых биографов Толстого П. Сергеенко вспоминает: «Заговорили почему-то о Куприне. Лев Николаевич очень хвалил его рассказ «В цирке», велел найти «Мир божий»

и начал читать... И не раз делал одобрительные замечания». Лев Николаевич просил передать Вам: «Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтоб он, ради бога, не слушался критиков. У него настоящий, прекрасный талант. Удержался бы только на должном месте». Так был встречен в начале века лучшими писателями России спортивный рассказ...

Куприн. Я попал в тот раз в... ладную, главную полосу послушного творчества.

А. Ю. В своих произведениях Вы всегда восхищались героями, в которых все прекрасно: и душа, и тело. Кстати, Вы ведь были сами себе наставником и тренером? В 1895 году в Киеве поступили в кружок любителей тяжелой атлетики. По свидетельству Ф. Батюшкова, именно в Киеве Куприн «близко сживается с деятелями цирковой арены и черпает отсюда материал для целого ряда очерков».

На страницах девятого номера журнала «Геркулес» за 1913 год напечатана статья «Атлетика в Киеве»: «В манеже Крутикова проводились занятия местного кружка спортсменов, в котором участвовал и Куприн, считавшийся одним из лучших в Киеве тяжелоатлетов и борцов». Кружок этот описан Вами в очерке «Собрание атлетов-любителей». А в рассказе «Мясо» есть сочная картина занятий тяжелоатлетов конца XIX века. Это, наверное, воспоминание о кружке, созданном Вами в манеже Крутикова?

Куприн. Зала, когда в нее вошел Борис, была полна. Посередине пять или шесть пар гимнастов в проволочных сетках, в замшелых нагрудниках, с уродливыми перчатками на руках, фехтовали, громко топая ногами при выпадах. Несколько человек в трико работали на трапеции и турниках. Пахло здоровым потом и деревом пола, только что сбрызнутого водой.

Борис прямо прошел в тот конец залы, где около пирамиды с тяжестями собралась густая кучка зрителей, тесно обступивших трех молодых людей в трико с голыми руками и шеями...

Борис подошел ближе и поздоровался со знакомыми. Состязались князь Белый, известный местный силач, податной инспектор Шахтин и профессиональный геркулес из цирка — француз Ризенкампф. Ризенкампф внушал кружку серьезное опасение своими чугунными мышцами, вокруг которых чуть не лопалась обтягивавшая их кожа.

А. Ю. Двое из состязающихся Вами описаны — Шахтин и француз. А кто такой князь Белый? Создатель кружка?

Куприн. Да, это был кружок князя Белого-Погорельского... Князь изумительно хорошо владел рапирой, плавал как профессионал, греб как матрос, считал за собой два велосипедных рекорда, «выбрасывал» двумя руками пятипудовую железную штангу и... ходил пешком без устали, несмотря на то, что отец недавно подарил ему пару отличных вороных рысаков.

А. Ю. Спасибо. А теперь, если можно, вернемся к состязанию.

Куприн. Состязание началось с пяти пудов, каждый из трех брал ладонями внутрь длинную железную штангу с большими шарами на концах, взбрасывал ее на грудь, а с груди толчком всего тела выкидывал кверху. После каждого тура в шары всыпали горсть или две картечи. Князь отстал на пяти с половиной пудах. Ризенкампф, весь мокрый от усилий, еле справлялся со своей тяжестью, пыхтя и багровея. Шахтин работал удивительно чисто и только более и более бледнел... Видно было, что победа останется за Шахтиным.

А. Ю. Интересная была в то время штанга: ведь в шары насыпали картечь... Последнее: вы много занимались спортом, ходили на охоту, пешком бродили по Франции, с Чеховым катались на лошадях...

Куприн. Был я тогда еще молод, достаточно силен и вынослив, мог грести без устали... знал прелесть и сладость заслуженного отдыха! Прогулка в горы, рыбная ловля, катание на... лодке под туго натянутым латинским парусом...

А. Ю. Это все о спорте. А работа? Творчество?

Куприн. Работа становилась для меня не тяжкой обузой, для исполнения которой я ежедневно должен был тащить самого себя за волосы к письменному столу, но лучшими счастливыми часами дня. Я вошел в ту ладную, гладкую полосу послушного творчества, когда мысль без всякого затруднения переходит в слова, а слова свободно ложатся четкими строками на бумагу без единой заминки, без единой поправки...

А. Ю. Что бы вы хотели пожелать сейчас читателям этого «интервью»?

Куприн. Снега, русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощным озоном... А в лесу! Синие тени от деревьев и следы, следы...

Беседы этой — скажу еще раз — не было и не могло быть. Хотя бы потому, что я родился именно в тот день, когда Александра Ивановича Куприна не стало...



"ЭТИ СТРАСТИ НЕ МЕШАЛИ"

«ЭТИ СТРАСТИ НЕ МЕШАЛИ»



«Для меня все было ново...»

Одна из реликвий Ясной Поляны — родник, сохраняемый для потомства так же, как усадьба и парк.

Родник, каких множество на Среднерусской возвышенности. Однако... «Без своей Ясной Поляны, — писал Лев Толстой, — я трудно могу себе представить Россию...» А значит, и без родничка. Идут и идут к нему люди со всей земли, чтобы попробовать его воды.

Родник бьет на горе среди березок. В деревянном срубе чистейшая, точно слеза, вода. Тонюсенькая струйка стекает по трубе. Но через пять секунд — кружка полна. Чуть ниже серебристая струйка полнеет в изумрудной зелени, а дальше вливается в любимую речку Толстого — Воронку. Речку? Ее ведь в березнячке и перешагнуть можно, эту Воронку... А в Туле Воронка сольется с Упой, а Упа впадет в Оку, а Ока плавно несет свои желтоватые воды в Волгу...

Вот с этого родничка и начиналась для Толстого родная Россия. Здесь он впервые ощутил таинство природы, которая станет в его жизни и творчестве не только словарем, образцом, «госпожой и служанкой», но и корнем, из которого произрастают все человеческие чувства. «Счастье — это

быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — считал Лев Николаевич. С простой и в то же время неповторимой природы Ясной Поляны для Толстого начиналось открытие мира. Здесь он впервые убежал от гувернера босиком по мокрой траве, здесь впервые прыгнул через лужу, здесь впервые искупался в нетеплой Воронке. Все первое в его жизни — отсюда, из Ясной Поляны...

Позвольте отступление: летом 1975 года в небольшой московский особняк с колоннами на Кропоткинской улице, 21, в Государственный музей Л. Н. Толстого вошла высокая, стройная (даже не верилось, что ей 70 лет!), седовласая женщина с букетом алых роз. Она посмотрела кругом, и первое, что мы услышали: «Словно и не пронеслось полвека».

— Пройдемте в кабинет директора музея, — сказали гостье.

— Знаю, знаю, — ответила Татьяна Михайловна Альбертини-Сухотина, — все прекрасно помню. И этот дом, и этот кабинет я видела во сне... В Риме... Ведь это мамин кабинет, — она не спрашивала. Утверждала.

Ветер врывался в кабинет, играл в тяжелых гардинах. «Нет, деревья за окном другие, — Татьяна Михайловна всматривалась в буйную зелень. — Они подросли, они состарились за полвека», — и замолчала.

Мы тоже молчали и вспоминали... Татьяна Михайловна — дочь Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, старшей дочери Л. Н. Толстого, прожившей в родительском доме 35 лет, подвижнически помогавшей своему великому отцу переписывать его сочинения. Татьяна Львовна была любимой дочерью Льва Николаевича. «Правда, дедушка умел внушать каждой дочери, что она-то и есть самая любимая, — говорила мне в тот

день Т. М. Альбертини. — И тетя Маша, и тетя Саша, и мама — все считали себя самыми-самыми любимыми... Дедушка и мне говорил, что я самая любимая его внучка... Он ведь и имя мне придумал... Нет, не Татьяна — другое: «Революция». Я вполне могла быть Революцией Михайловной. Вы прочитайте в книге Д. Маковицкого «У Толстого».

Смотрю запись от 17 октября 1905 года:

«Татьяна Львовна сказала, что в такое страшное время, как теперь, не радость рожать. Л. Н., смеясь, сказал ей:

— Если родится мальчик, назвать Бунт, если девочка — Революцией Михайловной. Революция — это как у человека болезненное сердцебиение, высокий пульс: надо держаться осторожно. Революция — испытание человеку».

Прелюбопытно, что на следующий день после предложения назвать меня «Революцией» дедушка писал критику В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую».

«Но мы отвлеклись, — улыбнулась Татьяна Михайловна. — Когда мама и папа, не послушавшись дедушку, назвали меня в честь любимой тетушки Льва Николаевича Татьяны Александровны Ергольской, много лет посвятившей воспитанию пятерых сирот — братьев и сестры Толстых, так вот дедушка стал звать меня Татьяной Татьяновной... Я его очень хорошо помню, хотя он умер 65 лет назад...»

Татьяна Михайловна Альбертини пятьдесят лет не была на Родине, она приехала в Москву,

чтобы выполнить завещание своей матери, которая передала Советскому Союзу свой драгоценнейший архив, взяв слово с дочери: «Опубликовать только в России». Мне посчастливилось: я был в толстовском музее в момент приезда Татьяны Михайловны, разговаривал с ней в Москве, чтобы на следующий день напечатать в «Правде» репортаж «Опубликовать только в России...»:

«Мне рассказывали, что я увидела свет на том самом кожаном диване, на котором родился мой дед, моя мама, впрочем, все дети Льва Николаевича, кроме, разумеется, тех, что родились в Москве. Из внуков этой чести удостоилась, насколько я знаю, только я. Этот диван стоит в кабинете Льва Николаевича в Ясной Поляне»...

Прерывая затянувшееся отступление, вспомним слова самого Толстого: «Я родился в Ясной Поляне на кожаном диване... в 28-ом году, 28-го числа, и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом. И вот, только недавно (1891 г.) мне пришлось узнать, что и в математике 28 есть особенное «совершенное» число». А в другой раз Лев Николаевич признался:

«Мне приятно играть с цепочкой часов или навертывать ее 28 раз... Я рожден 28-го года, 28-го числа».

В книгоиздательстве «Златоцвет» в начале XX века вышла книга воспоминаний о Толстом, в которой приведен рассказ одного из посетителей Ясной Поляны И. Пархоменко:

«Мне захотелось спросить, в которой из комнат этого дома Лев Николаевич родился.

— Ни в которой, — ответил он.

— Как... А Софья Андреевна говорила, что вы родились на том кожаном диване, который стоит у вас в кабинете...

— Да, на том диване. Но он тогда стоял

вон там, — Лев Николаевич поднял палку вверх и указал на вершины старых высоких лип. — Вон там я родился...

Но, увидев мое изумление, Лев Николаевич, смеясь, пояснил:

— Здесь, на этом месте, стоял когда-то большой дом, он еще цел, но далеко отсюда. И та комната в нем, в которой я родился, находилась как раз в том месте, куда я вам показывал».

Мария Николаевна Толстая — младшая сестра писателя — вспоминала раннее детство брата: «Лев Николаевич в детстве отличался особенной жизнерадостностью; он был какой-то лучезарный. Когда, бывало, прибежит в комнату, то с такой радостной улыбкой, как будто сделал открытие, о котором хочет сообщить всем».

Эти лучезарность и жизнелюбие сохранятся в нем на всю жизнь. Гостивший в Ясной Поляне редактор журнала «Жизнь» В. Поссе был поражен, увидев не старика, удрученного бременем прожитых лет, а крепкого сильного человека:

«...Хорош, весел и бодр был Лев Николаевич.

Во время прогулки он ловко перепрыгивал через канавы, перелезал через изгороди, и я с трудом за ним поспевал.

...После обеда Лев Николаевич изящно и неутомимо играл с Александрой Львовной в волан.

Весело было на него смотреть.

Такими, вероятно, будут старцы (а не старики) будущего идеального строя.

Как лучи от солнца, шли от него во все стороны лучи любви и привета. Они грели и добрых и злых, и правых и виноватых, и близких и далеких».

Как же удалось Льву Николаевичу сохранять такую «блестящую спортивную форму» в течение долгой своей жизни? Как смог этот человек

производить необыкновенное воздействие на всех, с кем он встречался? Как добился он, воспользуемся выражением Стефана Цвейга, «сверхъестественной естественности», не проповедуя ничего необычного, а утверждая самые элементарные истины и моральные правила? Своей задачей в этих очерках мы будем считать изучение «кодекса здоровья» Льва Николаевича Толстого, то есть своеобразно прочитаем его биографию, так сказать, под спортивным углом зрения. Четверть века потребовало от меня это неторопливое прочтение: я словно попал в «Гималаи» и заблудился в них, собирая материал для спортивного портрета Льва Николаевича. Делая выписки из дневников Толстого, я перечитывал десятки тысяч страниц нелегкого текста ради единого факта.

Называю это чтение не только благодарным, но и нелегким, потому что каждая толстовская фраза останавливает внимание. Ты беспрестанно отвлекаешься от текста, задумываешься, проверяешь, конспектируешь, ищешь ассоциации... Девяносто девять процентов работы, которую пришлось проделать, не пригодилось, но, я убежден, без этого чернового труда не получилось бы рассказа, каким мне хотелось сделать его. Мне нужен был весь Толстой — от 28 августа 1828 года до 7 ноября 1910 года, от кожаного дивана Ясной Поляны до высокой металлической кровати семейства Озолиных в Астапове...

Вспоминаю, как в 1978 году я случайно обнаружил, что в последнем тексте, написанном рукой Льва Николаевича, не поставлена точка. Подумал, что это ошибка художника, который готовил экспозицию для музея в Астапове, теперешней станции Лев Толстой, но посмотрел Полное собрание сочинений в 90 томах, затем факсимиле рукописи — и... обрадовался. 68 лет

никто не обращал внимания, не замечал, что Толстой точки не поставил... Я — первый... Эта находка украсила, как мне говорили, статью «Такая станция...», опубликованную в «Правде»...

Четверть века блуждая в «Гималаях» — текстах самого Толстого и книгах, написанных о нем, я многократно давал себе слово поставить точку, потому что уже давно набрал материал. Но как было остановиться в полете, удовлетвориться тем, что и половина пройденного — уже достаточно большая дистанция? И шел «до упора», пока однажды не сказал: «Можно и передохнуть».

В этой работе я постараюсь оперировать теми «спортивными» страницами, которые есть в произведениях самого Льва Николаевича, его дневниках и письмах, в воспоминаниях и дневниках жены и детей, а также теми мемуарными материалами, которые появились при жизни Толстого или были прочитаны и завизированы, не вызвав возражений, его родными... Себя я не раз ловил вот на чем: цитата так и просится в очерк, но... опасно пользоваться цитатами Толстого, найденными не в его вещах, а в книгах других литераторов: закавыченный текст часто не является текстом Толстого, а лишь содержит мысль, высказанную им и вплетенную в канву чьих-то воспоминаний. Причем многие факты трактуются разными современниками Толстого по-своему...

Для разбега оттолкнусь от уже цитированной фразы:

«Такими, вероятно, будут старцы (а не старики) будущего идеального строя...»

Конечно, жизнь Толстого — это жизнь гения, но хотелось бы, чтобы, ознакомившись с портретом Толстого, ценившего физическую культуру и пользовавшегося ее благами, взяли с него пример и те, кому попадет в руки эта книга.

Итак, мы начинаем знакомство с лучезарным и шаловливым ребенком Лёвушкой — таким же, как все дети, которые рождались и рождаются. В 1884 году Толстой записал в дневнике: «После завтрака пошел с Андрюшей за грибами. Он очень мил. Какие бы вышли люди, если бы их не портили».

Так вот, Толстой был тем человеком, которого нельзя было изменить, даже если бы все силы зла, существующие в мире, ополчились против него. (А они ополчались. И не раз...) Жил он жизнью непростой, биография его напоминает ленту, небрежно брошенную вверх: она переливается вправо и влево. И еще уместно было бы сравнение с рекой, которая извивается по лугу, петляет, ищет себе дорогу. «Вспомнил свою изломанность, испорченность... Если бы всего этого не было, я бы теперь, в 65 лет, был свеж и молод», — досадует Толстой 6 июля 1893 года.

В планах незаконченной автобиографии «Моя жизнь» у Толстого есть строчка: «Уроки (радость и шалость)». В позднем возрасте Лев Николаевич считал невинные детские шалости проявлением живости, жизнедеятельности, не находящей себе лучшего применения. Он не считал озорство опасным, а на вопрос одной молодой женщины в 1908 году: «Что делать, если дети очень активны?» — улыбнулся: «Пусть больше шалят».

Он прекрасно помнил свои детские годы в Ясной Поляне: веселые игры с братьями и крестьянскими мальчишками на свежем воздухе, катания на салазках с гор, купание в пруду, плавание на плоту и на лодках...

Помнил Толстой и другие свои детские «подвиги» — прыжок, к примеру, со второго этажа... Мария Николаевна Толстая рассказывала об этом «чудачестве» биографу Л. Н. Толстого:

«Левочка, неизвестно по какой причине, задумал выпрыгнуть в окошко со второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать. Влез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул во двор. В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и все ограничилось только легким сотрясением мозга, бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровый».

Когда Лев Николаевич прочитал этот эпизод, записанный П. Бирюковым, он подтвердил его истинность.

— А для чего вы прыгнули? Летать пробовали? — спросили окружающие.

— Удивить всех захотел, — сказала Мария Николаевна, и Лев Николаевич не произнес ни слова, видимо, согласившись с сестрой. Лишь оставшись наедине с биографом, Толстой высказал «версию», отполированную семьюдесятью годами пересказа этого поступка: наверное, он устроил это «только для того, чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других».

Своему секретарю Н. Гусеву он признался уже в восьмидесятилетнем возрасте, чем был вызван его поступок:

«Мне хотелось посмотреть, что из этого выйдет, и я даже помню, что постарался еще подпрыгнуть повыше».

Понять характер ребенка, пытавшегося «удивить других», помогает и другой неординарный

поступок, о котором вспоминала Мария Николаевна:

«Во время езды кучер остановился, чтобы поправить постромки; Левочка сказал: «Вы поезжайте, а я вперед пойду». И бросился во весь дух вперед. Его потеряли из вида и долго не могли догнать. Когда, наконец, догнали и он сел в экипаж, он еле дышал, глаза были налиты кровью. Мария Николаевна позднее пояснила: он пробежал пять верст, и сделал это для того же, для чего в Москве прыгал из окна: «чтоб всех удивить».

Очевидно, этот «кросс» — бег впереди телеги — был не единственным в жизни Толстого. Сохранился рассказ и о другом соревновании с лошадьми. Он тоже запал в душу Льву Николаевичу. К нему писатель не раз возвращался в разговорах. Вот как передал в воспоминаниях один из этих устных рассказов Толстого его ученик по яснополянской школе В. Морозов. В конце пятидесятых годов Толстой поехал с Морозовым и кучером Игнатом в имение Исленьевых (дедушки его будущей жены Софьи Андреевны, о женитьбе на которой Лев Николаевич тогда даже не помышлял). По дороге Морозов соскочил с телеги, и ему пришлось догонять бегом...

«Они, как на зло, тронули рысцой. Я еще раз закричал и стал отставать, — вспоминал Морозов. — Лев Николаевич оборотился, остановил лошадь, махнул мне рукой, я прибавил рыси. Только подхожу к телеге, Лев Николаевич, который уже сам правил, дернул вожжами. Лошадь сразу побежала крупной рысью. Я начал натуживаться. Вот, вот, только бы схватиться за грядку. Лев Николаевич подернул вожжами, лошадь еще прибавила ходу. Лев Николаевич, смеясь, протягивает мне руку.

— Ну, догоняй же, догоняй, берись за руку.

Я лечу, как мне кажется, на крыльях, но догнать не могу. Сердце у меня зашлось. Я крикнул:

— Будет вам, Лев Николаевич, баловаться. Какого вы чорта умничаете!

Лев Николаевич... остановил лошадь, и я, наконец, сел в телегу, еле мог отдышаться.

— А плохо ты бегаешь, — подтрунил Лев Николаевич и рассказал нам тут, как он один раз бег за тройкой семь верст, не отставая. Лошади шли во всю прыть. Он поспорил со своим знакомым. Мы не поверили его рассказу. Игнат сказал:

— Нет, Лев Николаевич, кишки лопнут семь верст бежать. Поздравляю вас соврамши. Хороша брехонька, да маленька.

— Нет, я правду говорю, — сказал Лев Николаевич и сам закатился смехом на Игнатовы слова».

Склонность к озорству была у Толстого и в отроческом возрасте. Отдыхая летом на даче Пелагеи Ильиничны Юшковой под Казанью, он, чтобы удивить приехавших гостей, одетый бросился в пруд, пытаясь доплыть до острова. Но костюм, намокнув, сделался тяжелым, и плыть было трудно. Толстой стал «оступаться», пробовать дно. Одна из таких попыток кончилась тем, что он захлебнулся и стал тонуть. На крики «барышень» подоспели крестьянки, убиравшие сено на лугу. Они опустили в воду грабли и вытянули неумелого пловца на берег...

Это было в те годы, когда Лев Николаевич еще не постиг одной мудрой истины, которая со временем станет его любимым утверждением: «Человек — это дробь, у которой числитель — его действительные достоинства, а знаменатель — его мнение о себе. Отсюда происходит, что люди с небольшими заслугами, но с большой скром-

ностью очень приятны, а люди даже с заслугами, но с огромным самомнением крайне неприятны».

Он еще по малости лет и недостаточности житейского опыта не знал той зависимости, не нашел еще формулу «дроби», но он уже стоял на ее пороге, начиная записи в дневнике, который сыграл неоценимую роль в формировании его личности и таланта и стал подлинной школой воспитания характера. Уже с первых записей он ставил человеческие обязанности гораздо выше, чем честолюбивые устремления и деяния. И первую борьбу на страницах «исповедального» журнала повел с собой, исполненным тщеславия, честолюбия и желания «выказаться перед другими».

Дневник он завел 7 апреля 1847 года. Уже в 8 часов утра появилась запись:

«Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния. Через неделю ровно я еду в деревню. Что же делать эту неделю? Заниматься английским и латинским языком, римским правом и правилами... и отыграть потерянное ламе в шахматы».

В первых же дневниковых записях мы встречаем слово из спортивного лексикона — «шахматы»... Толстой в казанском госпитале познакомился с бурятским ламой и играл с ним в шахматы.

Дневник Толстого — первая попытка самоанализа:

«Я совершенно доволен собою за вчерашний день. Я начинаю приобретать волю телесную, но

умственная еще очень слаба. Терпение и прилежание, и я уверен, что я достигну всего, что я хочу».

Тогда же, в 19 лет, он сам составляет правила поведения:

«Первое правило, которое я назначаю, есть следующее № 1.
Исполняй все то, что ты определил быть исполнену».

«Помни, что час, потерянный для работы, никогда не возвратится» — это изречение он потом захочет повесить у себя в яснополянском кабинете, прибавив к нему три других житейских совета:

«...Одно маленькое усилие над собой так легко сделать, что тебе кажется, можно и не сделать его. Не сделай — и ступишь первый шаг по крутому спуску апатии и лени».

«...То, что сердит тебя теперь, будет смешить тебя через час — день — год».

«...Не упрекай его, прежде чем не попытаешься стать на его место».

Но к этим истинам он пришел, заплатив немалую цену, познав кавказскую и крымскую войны.

Весной 1851 года Толстой решительно сменил образ жизни, характеризовавшийся, по его признанию, праздным времяпрепровождением и самокопанием. Вместе с братом Николенькой он отправился в горы — в действующую армию.

«Граф Николай Николаевич служил в артиллерии на Кавказе во время войны с горцами и сманил туда младшего брата по выходе его из университета. И Лев Николаевич с братом поехал юнкером на Кавказ, — читаем мы в воспоминаниях Степана Берса. — В тарантасе, в сопро-

вождении прислуги, они выехали из Казани вдоль Волги. Езда на лошадях скоро наскучила. Они приобрели огромную лодку, уставили на нее тарантас, сели и предоставили себя течению реки, занимаясь чтением и любуясь природой. Путешествие длилось около трех недель, пока они приехали в Астрахань. На нижнем течении Волги, приставая к берегу, они встречались с полудикими калмыками».

«Путешествие в небольшой лодке до Астрахани было очень поэтично и очаровательно; для меня все было ново — и местность, и самый способ путешествия», — писал Лев Николаевич тетушке Т. Ергольской.

А уже на склоне лет, беседуя с доктором Д. Маковицким, он умиленно признавался: «Об этом можно было бы написать целую книгу...» Впрочем, он пытался еще на Кавказе сделать это и даже набросал начало, назвав его «Еще день...»

«...Воображал я себя поэтом, припоминал людей и героев, которые мне нравились, и ставил себя на их место, — одним словом, думал, как я всегда думаю, когда затеваю что-нибудь новое: вот теперь только начнется настоящая жизнь, а до сих пор это так, предисловьице, которым не стоило заниматься. Я знаю, что это вздор. Сколько раз я замечал, что всегда я остаюсь тот же и не больше поэт на Волге, чем на Воронке, а все верю, все ищу, все дожидаюсь чего-то. Все кажется, когда я в раздумье, делать ли что-либо или нет: вот ты не сделаешь этого, не поедешь туда-то, а там-то и ждало счастье; теперь упустил навеки. Все кажется: вот начнется без меня. Хотя это смешно, но это заставило меня ехать по Волге в Астрахань...»

В путешествии по Волге Толстой кроме охоты к перемене мест видел и другое: плавание «воз-

буждало мысли». На всю жизнь сохранил он впечатление о плавании на лодке и не раз писал о нем, как «об одном из лучших дней... жизни: поездке по России на Кавказ».

Плывя на тихой лодке и наслаждаясь видами Нижнего Поволжья, Толстой приближался к войне. «Я желал, чтобы судьба ставила меня в положения трудные, для которых нужны сила души и добродетель».

И война предоставила ему этих «положений» больше чем достаточно.

«Самый большой страх я испытал только однажды в 1853 году на Кавказе. В этот день у нас была горячая схватка с горцами. Мы получили приказ выступать рано. Надо было обойти гористую площадь и подойти к неприятельской крепости. Но туман в этот день был так густ, что в нескольких шагах уже все сливалось, и мы только по звукам орудий догадывались, где наши действуют, а где неприятель. Я был фейерверкером, вынул клин и навел орудие по слуху. Трескотня в этот день была ужасная. А это сильно возбуждает нервы, так что о смерти даже и не думаешь. Вдруг одно из неприятельских ядер ударило о колесо пушки, раздробило обод и ослабевшей силой помяло шину второго колеса, около которого я стоял. Не попади ядро в обод первого колеса, мне, вероятно, было бы плохо, — этот рассказ Л. Толстого записал П. Сергеенко. — Сейчас же другое ядро убило лошадь. Тогда мы решили отступать... Все отступая и отступая, мы начали уже думать, что находимся с другой стороны и вдали от неприятеля. Вдруг невдалеке от нас раздались неприятельские выстрелы. Тут я почувствовал такой страх, какого никогда не испытывал. С напряженным усилием мы опять начали отступать и только к вечеру, обессиленные и голод-

ные, добрались, наконец, до казачьей стоянки».

«Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на 1/1000 линии было отклонено в ту или другую сторону, я был бы убит, и меня бы не было», — ровно через 54 года вспомнил Лев Николаевич.

А до этого эпизода были еще десятки неприятных моментов, когда только личное мужество и храбрость Толстого спасали жизнь ему и солдатам, которыми он командовал. Так, за сражение у речки Мичик 17 февраля 1852 года Толстому был обещан солдатский Георгиевский крест. В этот день Лев Николаевич дал себе редкую оценку: «вел себя хорошо», командуя батарейным взводом, подбил орудие неприятеля.

Но Георгиевского креста Толстой не получил, потому что накануне вручения награды увлекся шахматной игрой и не явился в назначенный час на службу.

«Дивизионный начальник Олифер, — рассказывает Софья Андреевна со слов Толстого, — не найдя его на карауле, страшно рассердился, сделал ему выговор и посадил под арест».

На другой день, когда с музыкой и барабанным боем вручали Георгиевские кресты, Толстой «вместо торжества сидел одинокий под арестом и предавался крайнему отчаянию».

Выйдя из-под ареста, он 10 марта отмечал в дневнике, предназначенном только для самого себя:

«То, что я не получил креста, очень огорчило меня. Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня...»

Обида засела занозой, и он не раз еще возвращается к истории с «Георгием»:

«Креста не получил, а на пикете сидел по милости Олифера. Следовательно, кавказская служ-

ба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности... Надо скорей кончить».

«Я имел случай быть представлен два раза Георгиевскому кресту, и я не мог его получить из-за опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги».

«Второй случай был, когда после движения 18 февраля в нашу батарею были присланы два креста, — это уже в конце XIX века писал Л. Н. Толстой, — и я с удовольствием вспоминаю, что я... согласился уступить крест ящичному рядовому Андрееву, старому добродушному солдату».

Кроме «Георгия», волновала Толстого и задержка с присвоением первого офицерского чина: бумаги почему-то терялись в воинских инстанциях. Все это угнетало Льва Николаевича, и он не стыдился признаться как в своих честолюбивых мечтах о военной карьере, так и в смелых планах, связанных с литературным творчеством:

«С нынешнего дня нужно снова считать время своего изгнания. Бумаги мои возвратили: стало быть, раньше половины, то есть июля месяца 1854 года, я не могу надеяться ехать в Россию, а выйти в отставку раньше 1855 года. Мне будет 27 лет. Ох, много! Еще три года службы. Надо употребить их с пользой. Приучить себя к труду. Написать что-нибудь хорошее и приготовиться, то есть составить правила для жизни в деревне. Боже, помоги мне. Писал очень мало, ездил на охоту и болтал у Николеньки...»

И почти везде, среди беспокойства о делах литературных, упоминаний о круге чтения, обязательная констатация: «был на охоте», «был в бане», «ездил с Епишкой, ничего не замордовал», «был на охоте, отослал собак», «ездил с офицерами на рыбальство», «ездил на дурацкую станичную

охоту, стрелял три раза по оленю», «ходил на охоту. Снег...»

«Ездил верхом, и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно и для образования слога. Я не могу не работать», — этими словами он часто прощается с днем уходящим, давая себе массу заданий на день грядущий.

Пишет он много, но, недовольный то ли слогом, то ли идеей, то ли способом выражения мысли, без конца исправляет написанное. Иногда он читает черновики товарищам по службе, но приходит к выводу, что зря это делает:

«Никому не нужно показывать, до напечатания, своих сочинений. Больше услышишь суждений вредных, чем дельных советов».

И еще в одном предостерегает себя Толстой:

«Вот факт, который надо вспоминать почаще. Теккерей 30 лет собирался написать свой первый роман, а Александр Дюма пишет по два в неделю».

Лев Николаевич продолжает писать и исправлять, писать и зачеркивать. Недовольство созданным отличает его во время работы уже над первой повестью:

«Встал рано, писал «Детство», оно мне опротивело до крайности, но буду продолжать...»

В Пятигорске, куда он приехал на лечение, Толстой просыпался рано — в четверть пятого, купался и затем писал, писал. Когда перечитывал отдельные главы, то даже плакал. Обычно суровый, он иногда давал себе послабления:

«Действительно, есть места прекрасные; но есть и очень плохие. Я становлюсь чрезвычайно небрежен во всем. Надо себя принудить...»

Наконец наступает радостный день, который сам Толстой почему-то называет «обыкновен-

ным», — окончен первый литературный труд: «Обыкновенный образ жизни, утром окончил «Детство» и целый день ничего не мог делать».

«Хотя я знаю, что вредно для обычных занятий заноситься, не могу отвыкнуть, — укоряет он себя. — Мы ценим время только тогда, когда его мало осталось. И главное, рассчитываем на него тем больше, чем меньше его впереди».

Распорядок дня фейерверкера, а затем и прапорщика Толстого подгоняется под схему, обеспечивающую плодотворность литературной работы: утром — гимнастика, прогулки, верховая езда или охота, днем — «умственная работа», которая может и не выливаться в написанные строчки, но она хороша уже тем, что в голове писателя «перерабатывается и приготовляется много хорошего (дельного, полезного)».

Принуждая себя к постоянной работе, Толстой не забывает о том, что «разнообразие труда есть удовольствие», вырабатывает очередные правила:

«1) Испытываемое иногда непреодолимое желание заменить умственные занятия физическим трудом не есть признак непостоянства или лености, необходимая потребность отдыха.

2) На охоте отдыхает ум и трудится тело; совершенно наоборот тому, что бывает в кабинетных занятиях, и поэтому-то она так и приятна столько же увлечением, сколько и этим совершенным отсутствием чувств и мыслей».

В декабре 1853 года он записал скорректированные «Правила и предложения», где значится:

«9) Блюди порядок в физических и умственных занятиях.

10) В удовлетворении каждого чувства физического и морального будь воздержан».

В те же дни он создает и «Правила исправления»:

«Преодолевай тоску трудом, а не развлечением».

И снова Толстой предостерегает себя:

«...стараться делать движение как можно регулярнее.

...дурно ли, хорошо — всегда работать.

...совесть рано или поздно упрекает во всякой минуте, употребленной без пользы (хотя бы и без вреда)...»

Чередуя умственные и физические занятия, он много гуляет по лесам, охотится на дупелей и бекасов, совершенствует мастерство наездника, много играет в шахматы. Обращает внимание одна из дневниковых записей:

«Проиграл Яновичу две партии в шахматы — без царицы». Царицей Толстой, очевидно, называл королеву, то есть ферзя...

Проведя на Кавказе два года и семь с половиной месяцев, написав и отослав в некрасовский «Современник» повесть «Детство», создав лет на десять вперед задел из впечатлений («Отрочество», «Юность», «Записки фейерверкера», темы для «Казаков», «Кавказского пленника» и даже «Хаджи-Мурата»), Толстой перевелся в действующую армию — сначала в Дунайскую, затем в Крымскую. Время пребывания на Кавказе Толстой считал хорошей школой для себя, хотя и не забывал, что оно было временем изгнания. Он сам «изгнал себя на Кавказ», чтобы обрести в себе человека. Своему брату Сергею Николаевичу Толстому он писал в декабре 1852 года:

«Пускай мне придется еще несколько лет прожить в этой школе, зато, ежели после нее мне останется хоть год прожить на свободе, я сумею его прожить хорошо».

В Крыму Лев Николаевич увидел войну во всей ее кровавой чудовищности. Сам человек смелый и бесстрашный, Толстой был поражен стойкостью русских солдат, защищавших каждую пядь родной земли:

«Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили свое обещание...

Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами».

Сначала Толстой служил в самом Севастополе, затем получил приказ сформировать горный взвод в районе реки Бельбек. Со своим подразделением он принимает участие в сражении у Черной речки 4 августа 1855 года. Со свойственной ему скромностью он преуменьшал личные боевые заслуги, когда в тот же день под огнем врага писал на французском языке коротенькую весточку тетушке:

«Я там был, но мало участвовал. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было проиграно. Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты. Отсылаю это письмо с курьером...»

Храбрость Толстого была замечена, и на этот раз он получил офицерский чин — звание поручика.

О Крымской войне Толстой помнил всю жизнь, а спустя 30 лет — 13 марта 1885 года он побы-

вал в Севастополе и приехал на то место, где стояло его горное орудие. А далее случилось невероятное... Вот что рассказывал об этом со слов писателя его секретарь Н. Гусев:

Толстой «увидел старое ядро горного орудия. В севастопольскую войну горное орудие было только одно, и выстрел из него сделан Толстым только раз. Значит, он увидел то самое ядро, которым он тридцать лет тому назад выстрелил по неприятелю...»

Вернувшись в Петербург и Москву, Толстой занялся литературной работой. Впечатлений было накоплено много, и они требовали художественного воплощения. Не чуждался он и светской жизни: бывал в театрах, на балах, в салонах, кляня и осуждая себя, не прочь был взять карты в руки и просидеть за винтом всю ночь... Когда-то Лев Николаевич предлагал эпиграфом к учебнику истории поставить: «Ничего не утаю». Он считал, что просто не лгать — этого мало, «надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая». Это его требование и нам забывать негоже. Поэтому скажем: в карты он играл отчаянно и проигрывал много... Но это была та черта характера — азартность, которую он ненавидел в себе и тщательно подавлял. Не всегда с успехом, к сожалению...

Толстой был в Петербурге одним из самых заметных молодых людей. Уже признанный в то время мастер русской литературы И. Тургенев писал своему другу П. Анненкову, что в Толстом «нет, с одной стороны, спокойствия, а с другой — нет кипения молодости, и выходит, что ты не знаешь, как к нему подойти. Но из него выйдет человек замечательный».

Позднее Иван Сергеевич полушутя скажет, что до женитьбы в голове Толстого гончие собаки бега-

ли, одна другую перегоняла. Он постоянно чем-то увлекался и всякий раз отдавался своей страсти целиком. В чем-то Тургенев прав. Нелегко было Толстому менять свой характер, становиться спокойнее, уравновешеннее... Постепенно отказывался он от слабостей: от высшего московского и петербургского света, от вина — он его и вообще-то мало пил, помня, что от него (не в последнюю очередь) погибли его братья Митенька и Николенька, злоупотреблявшие алкоголем. В карты он играл последний раз перед женитьбой, как всегда, проиграл. Слишком много проиграл — тысячу рублей. Взял в долг в «Русском вестнике», обещая кавказский роман, на корню продавая будущих «Казаков»... Потом он выкурил последнюю папироску... Потом...

Да, после боевой жизни на двух войнах Толстому трудно было приспособиться к жизни размеренной и тихой. Он искал для себя различные занятия, кроме литературы. То вдруг увлекся лесоводством и написал проект перестройки всей системы лесонасаждений в России, даже вошел с предложениями в правительство, где, естественно, не был поддержан... Когда он чем-то увлекался, то все остальное переставало для него существовать. Ему казалось, что он занимается самым важным делом на данный момент. В конце 50-х годов самым главным ему представлялась педагогика. Яснополянская школа завладела им — и ни одной, как он сам признавался, литературной строки не написал за всю зиму.

Школу для крестьянских ребят в Ясной Поляне он создал как раз в это время.

«Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, — от которого нельзя оторваться, — это школа», — делился он радостью с Александрин Толстой, великосветской своей теткой.

В школе он нашел отдых от трудов литературных и огорчений жизненных. Полтора десятка лет спустя он опишет чувства и мысли педагога, который занимается с живыми, а не «воображаемыми» ребятишками: «Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить. И тонет тут самое дорогое — именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе».

Воспитание детей волновало Толстого всю жизнь. Еще в 1849 году он попытался создать школу в Ясной Поляне. Сведения о занятиях той поры скудны и обрывочны, разве что воспоминания школьника Ермила Базыкина до некоторой степени восполняют пробел: «Любил он с нами в переменку возиться. Был у нас через пруд плот на веревке. Вот, бывало, с ним сядем и потащим. На середку выедем, он скажет: «Ну, кто грязи достанет?» — «Попробовали бы вы сперва, васиятельство?» Он и пробует. Нырнет в воду, потом вынырнет и держит в руке грязь. «Ну, я достал, теперь вы!» Были дворовые ребята Илья и Митрофан. Они тоже, бывало, нырнут и достанут грязь. Ну, а которые не могут. Да мало ли он чудил».

Тогда, в возрасте 21 года, Толстой только нащупывал педагогический путь. Не имея жизненного опыта, сам еще не устоявшийся, он, уйдя от детства не слишком далеко, помнил: игры —

это та область (наверное, единственная), где ребенок чувствует себя независимым, где он может проявить инициативу. Поэтому-то Ермилу Базыкину и его сверстникам он предлагал веселые игры и, как выражались дети, «чудачества».

«Лишь любовью к детям и истинным общением с детской душой возможно создать счастливое человечество, — утверждал Толстой. — Вот почему из всех вопросов, волнующих людей, самый важный, мировой вопрос — воспитание детей...»

В своей практической педагогической работе Лев Николаевич придавал большое значение физическому развитию детей. Сотни школьников он научил гимнастическим упражнениям, показав им элементы на турнике, брусьях, канате. Он не стеснялся бороться с учениками, поощрял их интерес к гиревому спорту, любил плавать с ребятишками в Воронке...

С особой полнотой педагогический талант Льва Николаевича проявился в воспитании своих детей. О его приемах и методах, о такте, с которым преподносились самые сложные знания, можно прочитать в книгах Сергея, Татьяны, Ильи, Александры Толстых. В многотомной переписке Льва Николаевича выделяются 400 писем отца к детям. Высказывалось даже пожелание издать эти письма и фрагменты из посланий к другим корреспондентам, затрагивающие проблему воспитания. Книгу, которую Толстой написал, сам того не подозревая, можно назвать: «Отец». Это книга воспитателя — мудрого, тонкого, любящего, строгого, объективного, нетерпимого к фальши и недостаткам, готового прийти на помощь, разделить невзгоды, сомнения, умеющего дать верный совет... В этой книге значительное место заняли бы материалы, посвященные физическому воспитанию. Толстой был не только теоретиком пе-

дагогики, но и замечательным практиком. У него всегда хватало времени для игры с детьми. Он уезжал с ними в самарские степи, где они скакали на лошадях и боролись на палках с башкирскими мальчишками, плавали и бегали наперегонки с отцом, катались на лодках, ходили на охоту и рыбную ловлю, играли в «казаки-разбойники», «салочки», «вышибалы». Эти игры в семье Толстого знали прекрасно, недаром в яснополянской библиотеке стояла книга доктора Е. А. Покровского «Детские игры», в которой были собраны и описаны две тысячи забав. Это издание было настолько «ходовым» и настольным, что в переписке отца и матери не раз встречается вопрос: «Где книга доктора Покровского; я ее искала, искала и нигде не нашла, а могла бы пригодиться...» Пришлось «разоряться» на второй экземпляр, чтобы «Детские игры» всегда были под рукой. До сих пор оба экземпляра хранятся в яснополянской библиотеке...

Педагогический талант Толстого заключался в том, что он умел заражать детей своим примером. Не позволяя себе ничего делать спустя рукава, он и от детей требовал внимания, сосредоточенности, что не исключало озорства. И сам, играя с ними, становился ребенком. В книге «Мои воспоминания» Илья Львович Толстой с благодарностью пишет о том, что отец научил всех детей плавать: «И когда мы начали «выплывать» из купальни, мы хвалились этим всем, и нам казалось, что это большая храбрость».

Илья Львович с воодушевлением описывает летние досуги: «Лето! Рано утром вскакиваем, одеваемся и бежим на конюшню. Там пахнет лошадьми и сеном. Кучер Филипп Родионович уже седлает. Для меня белый с розовыми глазками Колпик уже подседлан потником, Сереже — ма-

ленький, горячий киргизенок «Шарик», для папа́ — огромная английская кровная кобыла «Фру-Фру». Мы садимся на лошадей и едем к дому.

Папа уже ждет на крыльце. Едем купаться на Воронку. Едем не дорогой, а лесной тропинкой. Мокрые от утренней росы ветки поминутно хлещут по лицу. Придерживаешь рукой шляпу и нагибаешься к челке лошади. У купальни привязываем лошадей к березкам, рысью бежим по мосткам и скорей, скорей раздеваемся. В купальне два отделения — один ящик маленький и мелкий для детей и большая купальня для взрослых. Прыгаешь прежде в ящик и окунаешься. Вода пахнет тем особенным речным запахом, которым пахнут только реки в России. Говорят, вода пахнет рыбой. Как это неверно! Рыба, может быть, иногда пахнет водой, но только гораздо хуже, а у воды свой запах, чистый и свежий.

Папа уже плывет снаружи, — в реке. Сережа тоже.

— Илюша, плыви сюда!

Собираешься с духом и выплываешь — скорей к берегу. Глаза выпучены от напряжения, вода лезет в рот и нос, а все-таки доплыл, и теперь уже не так страшно плыть назад.

Одеваемся, папа́ подсаживает меня на лошадь, и галопом подымаемся по горе.

Я помню отца до того, как он начал писать «Анну Каренину». ...В то время у него была недлинная борода, темные, немного вьющиеся к концам волосы и быстрые, очень уверенные движения. Он был очень силен и довольно ловок. С детства он приучал нас к гимнастике, учил плавать, кататься на коньках и ездить верхом. И здесь часто проявлялась та же его суровость. «Не могу» или «устал» для него не существовало.

— Плыви, — и он отталкивал меня в глубокое

место реки, конечно, следил, чтобы я не утонул, но не помогал мне и подбадривающе хвалил, если я, половину захлебнувшись, с вытаращенными от страха глазами, доплывал до берега.

Или, бывало, едем верхом. Отец переводит лошадь на крупную рысь. Я стараюсь за ним поспеть. Чувствую, что теряю равновесие. С каждым толчком рыси сбиваюсь все больше и больше. Чувствую, что пропал. Надо лететь. Еще несколько бесполезных судорожных движений — и я на земле.

Отец останавливается.

— Не ушибся?

— Нет, — стараюсь отвечать твердым голосом.

— Садись опять.

И опять той же крупной рысью он едет дальше, как будто ничего и не произошло».

Плавать в семье Толстых любили все. Открывали купальный сезон рано — чуть ли не в мае, а закрывали даже в последних числах сентября. В переписке мужа и жены, в весточках детей сотни упоминаний о купании на Воронке.

Доктор филологических наук писатель Владимир Яковлевич Лакшин, узнав о моем интересе к «спортивному» Толстому, подсказал любопытную деталь: оказывается, Толстой и Чехов впервые разговаривали друг с другом, стоя... «по горло в воде».

А дело было так. Имя Чехова появилось на страницах толстовского дневника 11 января 1889 года. В начале девяностых годов Толстой уже следит за произведениями Чехова, читает «Невинные рассказы», «Степь», «Палату № 6», «Черного монаха». Лев Николаевич рассыпает, по мнению Лакшина, не по-толстовски щедрые похвалы... И все же Толстой иногда ставит Чехова в ряд с Потапенко, когда упрекает Антона Павловича в отсутствии религиозного взгляда на мир. В 1894 году он пишет Софье

Андреевне: «Я давно не читал ничего такого возмутительного, — о повести И. Потапенко «Семейная история». — Ужасно то, что все эти пишущие — и Потапенки, и Чеховы, и Золя, и Мопассаны даже не знают, что хорошо, что дурно; большей частью, что дурно, то считают хорошим, и этим, под видом искусства, угощают публику, развращая ее». Этот отзыв не одинок.

А Чехов Толстого-художника боготворил. Антон Павлович любил повторять: «Номером первым считается Лев Толстой, а я № 877».

Номер один и номер восемьсот семьдесят семь... 1 и 877...

Они не виделись до 1895 года. Что-то, наверное, мешало?

Как получилось, что два писателя — один облеченный титулом «гениальный», а второй, которого кое-кто звал «певцом сумерек», — страстно желали встретиться и не могли? Очень долго что-то стояло между ними... Конечно, первым узнал о существовании гения Толстого юный Чехов, который был на 32 года моложе Льва Николаевича. Но и Толстой сразу же заметил Чехова и отличил его голос в ряду тысяч литераторов уже по одной книге «В сумерках». 4 января 1893 года Толстой вместе с художником И. Е. Репиным отправляется на свидание с Чеховым. Но Антон Павлович как раз в этот день уехал в Петербург. Затем они не могли найти возможность встретиться в течение всего 1894 года. Как показывают документы, виновата во всем была застенчивость и робость Чехова перед великим Львом Толстым — Большим Львом. Почему-то так получалось, что всегда находился некто, кто являлся инициатором знакомства, набивался в провожатые, желал стать «маклером». Это слово не я написал, а сам Чехов в письме к Марии Павловне: «К Толстому я пойду без провожатых

и без маклеров. Не понимаю, что за охота у людей посредничать!»

(Чехов — это имя есть среди тысяч имен моей спортивной картотеки. Он — один из основателей Русского гимнастического общества, он — ярый противник слова «чемпион» и душа олимпийских игр в Мелихове... Чехов — это мое больное место, я не могу простить себе, как, будучи два раза в Норвегии, не побывал в музее на «Фраме», хотя в 1971 году был от него в 10 шагах — в ресторане «Русалка», а там, на «Фраме», есть документы, говорящие о стремлении Чехова написать о Фритьофе Нансене — человеке, который на лыжах преодолел Гренландию и шел на этих деревяшках к Полюсу... Чехов для меня, наверное, как и для любого человека, недостижимый идеал скромности, нетерпимости ко всему, что отдает модой и дешевой сенсацией.)

Итак, Чехов знал себе цену и понимал: с Толстым они должны увидеться с глазу на глаз.

Такой случай представился только в августе 1895 года (а жили они недалеко друг от друга — Мелихово и Ясная Поляна по одной железной дороге. Сто километров между ними.). В Ясной Поляне на «Прешпекте» Антон Павлович увидел старика с полотенцем через плечо... Белая блуза — теперь ее называют «толстовка». Раннее утро... Вглядевшись в незнакомца, Чехов поприветствовал Большого Льва. Представился. Лев Николаевич обрадовался и пригласил гостя не в дом, а на... речку. Шли «купальной дорогой», о чем говорили? Ни тот, ни другой — не записали. Додумывать за гениев не следует... Итак, они купаются... плавают. Рядом лес «Чепыж». Толстовская река Воронка и чеховская река Лопасня — две живительные ниточки, питающие своими водами главную реку России. Они словно двоюродные племянницы—

родственницы семи тысяч рек, составляющих волжский бассейн.

Толстой и Чехов — одни в купальне. Небо над ними. И вечность. И сам факт — они встретились. И плавают. И единственное свидетельство Чехова — ироничного, избегавшего саморекламы: первый серьезный разговор с Толстым происходит у него «по горло в воде». Сама обстановка располагала к откровенности, и острые моменты смягчались холодными струями августовской Воронки...

Кстати, Толстой любил разговоры «по горло в воде». 11 августа 1897 года в Ясной Поляне побывал криминалист и психиатр Чезаре Ломброзо. Итальянец был поражен спортивным распорядком дня, господствовавшим в доме писателя:

«В самый день моего приезда он в продолжение двух часов играл со своей дочерью в лаун-теннис, после чего, сев на им же самим взнузданную и оседланную лошадь, пригласил меня ехать вместе с ним купаться. Ему доставило особенное удовольствие видеть, что я через четверть часа не мог уже плыть за ним, и, когда я выразил удивление его силе и выносливости, жалуясь на свою немощность, он протянул руку и приподнял меня довольно высоко от земли, легко, как маленькую собачонку. Конечно, только благодаря этой телесной силе и своему вышеописанному образу жизни он был в состоянии преодолеть тяжкую болезнь, которою страдал в последнее время».

Интересный разговор «в воде» припомнил и японский писатель Токутоми Рока, гостивший в Ясной Поляне через девять лет после итальянского психиатра:

«Мы бросились в воду. В тени деревьев вода была прохладной; нырнув, я встал на дно — оно было каменистое. Хотя я давно не плавал, но поплыл саженками. Лев Николаевич посмотрел, как я плы-

ву, и спокойно поплыл точно так же. Когда уже пора было выходить, он шутливо сказал:

— Японцы и русские даже плавают одинаково, а вот европейцы не плавают саженками, плавают вот так, — и он поплыл на манер черепахи.

Я слыхал, что река Воронка впадает в реку Упу, которая в свою очередь впадает в Оку — приток Волги. О Воронке упоминается в романе «Анна Каренина». Я думаю, что это название взято отсюда...»

«Поплыл на манер черепахи» — русские люди называют этот способ плавания — по-лягушачьи. Вообще-то Толстой плавал, чередуя различные стили. По свидетельству А. Гольденвейзера, прожившего «вблизи Толстого» несколько лет, писатель «купался, как мужики, оставаясь недолго в воде, и, как они, купался серьезно, не торопясь, как будто дело делал».

Толстой любил водные и воздушные процедуры. Именно при участии Льва Николаевича был издан сборник «Первые понятия о том, как живет наше тело, что для него полезно и что вредно». Еще в период увлечения яснополянской школой он, гуляя с учениками, предлагал им: «Освежимся зорькой!»

Учитель и ребятишки снимали с себя рубашки и, потирая ладонью грудь и плечи, приговаривали:

— Хорошо! Ах, как хорошо! Свежо, свободно! Какой простор!

Художник И. Гинцбург, автор скульптурных изображений «Толстой на прогулке», «Толстой за чтением», «Толстой на пашне», был одним из немногих людей, кто был допущен в творческую лабораторию Толстого: Лев Николаевич разрешил ему лепить с натуры в те неприкосновенные часы, когда он работал в комнате под сводами»... Художник не только сделал оригинальные статуэтки, но

и написал эссе «Радость жизни», в котором есть и такие фрагменты:

«...Гуляя в лесу, я встретился там с Львом Николаевичем, который был верхом на лошади. «Что вы один гуляете? Поедемте купаться!» И, подав мне руку, он усадил меня на свою лошадь, одной рукой поддерживая меня, а другой держа повода. Нельзя сказать, чтобы мне очень удобно было сидеть на гриве лошади. В купальне мы застали Репина. Толстой обрадовался ему, потом, быстро раздевшись, прыгнул в воду и исчез. «Как он плавает, точно двадцатилетний юноша!» — восхищался Репин, уже вышедший из воды и принявшийся обтираться полотенцем. «Что вы делаете! — испуганно воскликнул Толстой, появившийся в купальне с другой стороны. — Вы портите купанье. Надо обсушиваться на солнце, на воздухе. А вы тряпкой обтираете все то, что дала прелестная вода. Посмотрите, как купаются звери и птицы: они всегда обсушиваются на солнце». На Репина подействовали его аргументы, и он бросил полотенце».

Глядя на загорающих художников, Толстой рассказал им следующую смешную байку: «Два важных сановника, купаясь в реке, поссорились. Один из них выскочил на берег, напялил на голое тело мундир и, приняв важную позу, стал возражать своему противнику. Тогда и другой, в свою очередь, поспешил к берегу и на голую шею повесил свой орден. В таком виде они продолжали перебранку».

Рассказывал также Лев Николаевич, как он утратил веру в генеральский чин. В детстве он думал, что генеральство отмечается исключительно мундиром. Но вот раз, когда он еще был мальчиком, был с отцом в бане, он слышал, как один голый величал другого голого «превосходительством». «Откуда он знает, что это генерал?» — поду-

мал маленький Толстой, и с тех пор разуверился в генеральском мундире...»

Вообще Толстой преображался на спортивной площадке, в купальне, на охоте. Переключаясь с умственной работы на физическую, он любое упражнение старался делать с шуткой. Степан Берс утверждает: «Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне. Источником его всегда был Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях — его суждение было самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренне интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Лев Николаевич не умел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих.

Вспоминаю игру в крокет. В ней участвовали все, и взрослые, и дети. Она начиналась обыкновенно после обеда и кончалась со свечами. Игру эту я и теперь готов считать азартною, потому что я играл в нее с Львом Николаевичем. Удачно сыграет противник или кто-нибудь из его партии, одобрение и замечание его вызывали удовольствие сыгравшего и энергию противников. Ошибется кто-нибудь, — его веселая и добрая насмешка вознаградит промах. Простое слово, всегда вовремя сказанное им и его тоном, поселяло во всех тот entrain (задор), с которым можно весело делать не только интересное, но и то, что без него было бы скучно.

Дети одинаково дорожили его обществом, наперерыв желали играть с ним в одной партии; радовались, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Подчиняясь его влиянию и настроению, они без затруднения совершали с ним длин-

ные прогулки, например, пешком в г. Тулу, что составляло около 15 верст. Мальчики с восторгом ездили с ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы с ним делать шведскую гимнастику, бегать, прыгать, что сам он делал опять же искренно и весело, а потому и все делали так же».

Известный славист, почти полвека руководивший кафедрой русского языка в парижской Школе восточных языков, основатель «Славянского журнала» и Французского института в Петербурге Поль Буайе очень любил Толстого. Буайе даже позволил себе издать учебник русского языка, в котором все тексты были взяты из произведений Толстого. И все же, как ни хорошо знал француз русского писателя по его произведениям, их личное знакомство произвело на Буайе потрясающее впечатление:

«Старость, несмотря на три серьезные болезни, которые Толстой перенес одну за другой, не оставила следов на этом теле атлета, — писал Буайе в день 75-летия Толстого, — хотя он немного сгорбился, но цвет лица — хороший, взгляд — живой, выражение лица — веселое, можно сказать — молодое, походка осталась легкой, быстрой, уверенной, это походка человека, который с самого детства упражнял свои мускулы, занимаясь различными видами спорта».

Наверное, не было в XIX веке человека столь гармонично развитого в умственном и физическом отношении. Спорт помогал неутомимому труженику противостоять ощутимому давлению прожитых лет.

О надвигающейся старости Толстой старался думать как можно реже, а вот некоторые стали поговаривать о том, что он стареет, еще в девяностые годы. Среди них даже близкие друзья. В 1895

году его уже называли «стариком». Против этого определения резко возразил критик В. Стасов, специально посетивший Толстого в 1896 году:

«Во-первых, в телесном отношении, это неправда, что Катиш Ге писала после прошлого лета (1895), будто Лев Толстой страшно опустился и совсем делается «старичком». Это неправда, сто раз неправда, и ничего у него нет из проклятого «старичковства» (мне столь ненавистного и ужасного) — нет, нет и нет. Я его видел совершенно бодрым и храбрым еще в нынешнем апреле, в Москве, а теперь он, кажется, еще храбрее и бодрее, — я думаю, ни от чего другого, как только оттого, что много и чудесно делает... Ходит он прямо и ничуть не горбясь, движения быстрые, походка иной раз просто беспокойная и порывистая, улыбка не сходит с лица, даром что брови насуплены, словно у злодея какого-нибудь самого заматерелого и беспардонного, глаза вечно смеются, словно фонарики.

...Спит отлично, ходит, бегает, иной раз с дочерьми поплясывает вечером.., говорят, иной раз с азартом играет в lawn-tennis со своей молодежью, ходит верст по 10, по 15 пешком, ездит верст по 15, по 20, по 24 верхом (это и при мне раза два было) — чего еще надо в 67 лет? Какого еще, к черту, здоровья ждать?»

Стасов, наверное, наиболее выразительно рассказал о распорядке дня, которого Толстой придерживался в Москве. Режим свой Лев Николаевич не нарушал никогда.

«...Зная, что он по утрам все пишет и ни для кого на свете незрим, а после завтрака спит до 3 часов, я как раз подкатил к его дому, в Хамовническом захолустье, — как раз к 3 часам, — писал Владимир Васильевич Стасов своему брату Дмитрию Васильевичу (отцу Елены Дмитриевны Стасовой —

революционерки, будущему секретарю ЦК ВКП(б)). — Что за переулок, что за дом, что за заборы несчастные, что за мостовые ужасные и что за тротуары — ужас! Точно у нас на Петербургской стороне, на какой-нибудь Звериной улице!!!»

Стасов точными и лаконичными штрихами создает портрет Толстого, признаваясь, что «видел в нем все прежнего, сильного, коренастого, упрямого, упорного Льва, никому не подчиняющегося и не способного терпеть никакого хомута и узды над собою. Но он... посмотрел на меня и говорит: «Нет, а я все-таки не останусь дома, хоть вот вы и приехали. Пойду в свою прогулку. Мне нужно». «Что вы, что вы, — заговорил я, — неужто я приехал, чтобы мешать вам в чем-то...» «Да, да, — он сказал, — и я вас оставлю на попечение Тани. Она так вас любит, так вас ждала...» И он крикнул вдоль комнат из передней: «Таня, Та-а-ання, смотри-ка, какой гость приехал. Ступай скорей...» И мы пробыли вдвоем с Таней до 6-го часа. Отец, уходя, сказал мне очень строго: «А я вас не отпускаю. Вы должны у нас быть всякий день, покуда вы в Москве, и начиная с 5 часов, раньше меня нет».

В Хамовниках существовал «железный распорядок»: утром — после гимнастики или прогулки — пять часов литературной работы. Стасов заметил следы этой напряженной умственной работы на лице Толстого, когда тот вышел из кабинета, еще не отрешившись от написанного:

«Утром уйдет он к себе в комнаты, проведет там один, словно на острове Патмосе, уединенные 4—5 часов, до 2 часов дня, и потом кипучие следы остаются от этих следов уединения с самим собою... Выходит Лев Великий тихий, кроткий, но сияющий — к обеду, словно он ничего особенного не делал эти часы, вот сейчас, сию минуту, вот

всего несколько секунд тому назад, всего в немногих аршинах или саженях от нас, и принимается свою овсянку или «геркулес» хлебать, — но потом, после обеда, вдруг и окажется, что что-то опять крупное растоплено, как гора железа в горне, и пролита раскаленная в глиняные формы, и теперь вот лежит и стынет».

Через семь лет — 12 сентября 1903 года — В. Стасов посетил Толстого уже в Ясной Поляне. Лев Николаевич сердечно обрадовался приезду своего гостя, почти ровесника. Он три раза поцеловал Владимира Васильевича и... ушел в кабинет — работать, думать над «Хаджи-Муратом». Через некоторое время вернулся, чтобы извиниться за «негостеприимство», но потом раздумал, не хотел быть неискренним. Лев Николаевич надеялся, что мудрый товарищ все понимает и без слов. Он обнял Стасова за могучие плечи и признался, словно набедокуривший ребенок: «Ах, как жалко!» А потом сменил интонацию, голос его сделался жестче: «Ах, как мне жалко уходить от Вас! А надо!!»

«Конечно, — писал Стасов своей родственнице, спеша поделиться свежими впечатлениями о Льве Великом, — конечно, я поскорее стал уговаривать его уходить, — и он, обнявши меня снова, сказал, что ужо... даст мне свое «Царство божие внутри вас!»...»

Зато в тот же день Толстой вознаградил ожидание Стасова, прочитав Владимиру Васильевичу рассказ «После бала», небольшой, как отмечал критик, всего-то на 20 минут чтения, но изумительный! «И этакие-то картины, молодые и увлекательные, пишет человек в 75 лет!!! Да чему тут и удивляться, когда он теперь, весь день, во всех движениях, во всех разговорах, во всех взглядах, во всех глазах своих и улыбках, — огонь, пламя, поминутно загорающийся пожар! О прошлогодней

болезни, о недавнем поранении лошадью, которая при переходе вброд наступила ему копытом на ногу, и помина никакого нет! Словно никогда и ничего не бывало!!!»

Лишь у одного из современников Толстого я встретил несогласие с установившимся мнением о «железном режиме» дня в Хамовниках и Ясной Поляне.

«...Принято почему-то думать, что рабочий день у Л. Н. Толстого распределен с такой же методичностью, как у Золя: от такого-то до такого-то часа он пишет, затем завтракает, затем работает в поле с косою или плугом, катается на велосипеде и т. д., и т. п. Ничего подобного у гр. Л. Н. Толстого нет. Правда, он ведет весьма правильный образ жизни, но уверяю вас, что всякие полевые работы и вообще физические упражнения носят у него характер отдыха от умственного труда, и занимается он ими только для того, чтобы «размять кости»; никакой тут определенности не существует», — утверждал в 1901 году в интервью «Одесским новостям» известный художник Леонид Пастернак, не раз бывавший у Толстого во время работы над иллюстрациями к «Воскресению».

Возможно, Л. Пастернак именно так понял «режим дня» Льва Николаевича только потому, что Толстой, заинтересованный в иллюстрациях именно этого художника, отступил в чем-то от своих правил. Но отступил только на время, потому что пунктуальнейший летописец жизни Льва Николаевича Н. Гусев в своей работе «День Льва Толстого» настаивает на четкости и «расписанности» каждого часа суток: «В 1907—1909 годах, когда я жил в Ясной Поляне, Лев Николаевич вставал обычно около 8 часов и, умывшись, шел на прогулку. Эта утренняя его прогулка длилась обыкновенно недолго, от получаса до часа. Гулял он

почти всегда один, и эти утренние часы уединенного общения с природой служили для него вместе с тем временем, когда он усиленно сосредоточивался в самом себе для того, чтобы в течение всего последующего дня держаться на уровне духовной высоты...

Придя к себе в кабинет, Лев Николаевич садился за кофе и тут же начинал читать... Во время работы он нуждался в абсолютной тишине: затворял двое дверей, которые вели из его кабинета в столовую, и чрезвычайно редко выходил из своего кабинета по какому-нибудь делу. За два года жизни моей в Ясной Поляне я почти не помню таких случаев. Никто не входил к нему во время его занятий, за исключением Софьи Андреевны, которая поздно ложилась и поздно вставала и около двенадцати часов, выходя в столовую к кофе, обыкновенно, шурша платьями, заходила к мужу поздороваться.

Часу во втором или в третьем Лев Николаевич, окончив работу, выходил в столовую завтракать. Не раз приходилось мне в это время замечать на его лице следы еще не закончившейся творческой деятельности.

Быстро позавтракав и поговорив с посетителями, если таковые были, Лев Николаевич отправлялся пешком или верхом на прогулку. Беспокоясь о его здоровье, Софья Андреевна часто спрашивала, куда он поедет. Вопрос этот сначала вызывал в нем недовольство, так как он сам не мог определить вперед, куда именно он поедет, что зависело от погоды, направления ветра и просто от его желания; но потом, преодолевая себя и всегда стараясь сделать приятное другому человеку, он стал вперед говорить, куда именно он поедет. Кончилось же тем, что Льва Николаевича в его прогулках стал сопровождать кто-либо из домашних, ехавших за

ним в некотором отдалении... Когда мне приходилось сопровождать его, он принимал это очень охотно, так как видел, что я нисколько не тягощусь этой ролью. Я ехал сзади него шагах в сорока-пятидесяти и, зная, как дорожит он этими часами уединенной прогулки, чтобы обдумать свои произведения, никогда не заговаривал с ним. Очень редко и он заговаривал со мною...

В молодые годы Лев Николаевич часто по целым дням блуждал по «засеке» с ружьем и собакой, и во время этого блуждания рои самых разнообразных замыслов и художественных образов кружились в его голове. В последний период жизни, уже без собаки и ружья, а на своем любимом Делире или просто пешком исхаживал Лев Николаевич по всем направлениям «засеку», так же, как и раньше, в общении с природой обдумывая свои художественные произведения, статьи, письма, отдельные мысли и пр. ...

Вернувшись домой около пяти часов (прогулка продолжалась обыкновенно часа три или более), Лев Николаевич.., очень усталый, возвращался в свою комнату и ложился спать. Обед подавался часов в шесть... За столом обыкновенно велся общий разговор...

В «железном режиме» дня кое-кто видел странность Толстого, присущую гению. Даже Софья Андреевна считала мужа «деревянным» и «больным». «Тебе полечиться надо, — нередко вырывалось у нее. — Такие умственные силы пропадают в пиленье дров, в становлении самоваров и в шитье сапог». Лев Николаевич понимал: она, мать восьми детей, устает в заботах по дому, а кроме того, занимается выпуском его сочинений. Он предостерегал ее от перегрузок: «Пожалуйста, пожалуйста, не увлекайся ты работой, т. е. не засиживайся ночами. Это ужасно нехорошо тебе. А езди загород,

ходи по саду. И не говори, что нужно принести 8 листов. Нельзя подчинять свое здоровье и потому жизнь типографии. Она может подождать».

Толстой видел, что его жена не умеет отдыхать, она все время ищет себе работу, работу, работу. Она не хочет понять, что возможности духовного выражения связаны с физическими силами, здоровьем, с тем, что сам Толстой метко называл жизнью тела. Софья Андреевна не спорила с Толстым, зная, что это бесполезное занятие. Она молча его осуждала, иногда, правда, писала свое мнение в дневник, надеясь, что Толстой ненароком прочитает и примет ее точку зрения. А он чужих записей не читал и до конца дней своих придерживался своего режима труда и отдыха, своей системы гигиенических мер, утверждая, что в сохранении здоровья «весь вопрос в том, как разделить время труда, как питаться, чем, в каком виде, как лучше одеваться, противодействовать сырости, холоду...» А на непонимание близких он отвечал шутками, вроде той, которую анонимно бросил в яснополянский «почтовый» ящик. Сергей Львович рассказывает, что отец дал себе такую характеристику: «№ 1 (Лев Николаевич). Сангвинистического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Страсть исправить мир». Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости к ненатуральной, слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами: чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п.».

«Автор — сам Лев Николаевич, но он писал здесь не то, что думал о себе, а то, что, по его мнению, думали о нем другие», — считает старший сын.

Автохарактеристика — шутливая. Но интересно «лечение», которое предлагал Толстой: нужно, мол, найти «занятия такого рода, которые поглощали силы больного». И такими занятиями, в часы, свободные от «страсти исправить мир», были, по его убеждению, и колка дров, и косьба, и верховая езда, и теннис, и крокет, и рюхи-городки, и игра в волан, и шашки с шахматами, и быстрые коньки, и двухсоткилометровые пешие путешествия, и азартная езда на велосипеде по виражам тульского трека... Все эти «побочные» занятия помогали чувствовать радость жизни и необыкновенную красоту природы, которая, по выражению Толстого, «разбудит мертвого». Лев Николаевич всю жизнь не переставал удивляться новизне и приветствовал ее искренне, как в свои три года, так и в восемьдесят два:

«Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух — и все это вдруг, не во время, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и все — главное, маханье берез прешпекта такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту. Очень хорошо и не грустно, потому что ничего позади этого не воображаю, а хорошо, как должно быть хорошо в душе и бывает хоть изредка.

...проехался верхом на Горелую поляну и кругом на пчельник, пообедал в 2 и пишу...»

«Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Надо было прожить очень долго — 82 года и 59 дней, — чтобы открыть вот это: «Человек познает что-либо вполне только своей жизнью».

«У меня была гимнастика...»

В одной из книг, адресованных детям, я вычитал о Толстом следующее: «И был среди защитников Севастополя на четвертом бастионе один человек, который занимался поднятием штанги под пушечными ядрами. А, как известно любому школьнику, на четвертый бастион в отдельные дни падало до двух тысяч бомб. И в эти трудные дни и ночи, чтобы воодушевить солдат и вдохнуть в них мужество, поручик брал тяжелую штангу и, презирая опасность, занимался «железной игрой».

Был ли наш Лев Николаевич таким незаурядным силачом, которому и вражеские ядра не мешали тренироваться?

Признаюсь, что, прочитав семь строчек о «штанге» 1854 года, я решительно засомневался: было ли это на самом деле? Во-первых, в дни Крымской войны слово «штанга» еще не применялось в спортивном лексиконе. В «Толковом словаре» В. Даля мы можем узнать значение этого немецкого слова: «Штанга —шест, жердина, полоса или брус железа». И все... Неточность, замена действительного желаемым? А может быть, красивая выдумка,

фантазия? Позвонил самому авторитетному историку спорта — редактору журнала «К спорту!», издававшемуся до революции, Борису Михайловичу Чеснокову: «Как проверить этот факт? В описании жизни Толстого, занимающем четыре тома, об этом поступке офицера Толстого нет ни одного слова. Как быть?»

Чесноков попросил дня два для наведения справок... В повторной беседе «патриарх истории русского спорта» вынужден был признать:

— В моей картотеке нет никакой ниточки. Я уверен, что Толстой тяжелой атлетикой не занимался в те годы, потому что история гиревого спорта ведет свое начало от 1885 года, когда доктор Владислав Францевич Краевский создал Кружок любителей тяжелой атлетики. Впрочем, поезжайте в Ленинград к мировому рекордсмену Алеше Петрову, у него картотека на богатырей побогаче моей, да и память получше. Может быть, он прольет свет на сие недоразумение...

На столе у Петрова лежали антоновские яблоки. Они пахли неповторимо-загадочно, их аромат пьянил. Алексей Михайлович Петров копался в журналах, старых альбомах и успокаивал меня:

— Если подобный случай был в биографии Льва Николаевича, то он должен быть и у меня зафиксирован. Иначе, какой же я специалист по истории тяжелой атлетики, если пропустил такую выигрышную деталь?

Где-то к полуночи он наконец сказал радостно:

— Записывайте: отец выдающегося математика и кораблестроителя академика А. Н. Крылова Николай Александрович Крылов служил, оказывается, в 14-й артиллерийской бригаде, той самой, где воевал и Толстой. Правда, Крылов приехал в Севастополь, когда Лев Николаевич уже отбыл в Петербург с пакетом в качестве курьера. Но вот

что любопытно: Крылов сразу же записал рассказы сослуживцев Толстого. Воспоминания эти опубликованы в журнале «Вестник Европы» в 1900 году. В «Очерках из далекого прошлого» утверждается, что Толстой «оставил по себе память как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на руки ему ставился пудов в пять мужчина, а он, вытягивая руки, подымал его вверх; на палке никто не мог его перетянуть».

Петров отложил бумаги:

— Я ведь был когда-то мировым рекордсменом и знаю, что такое поднять одной рукой восемьдесят килограммов. Для этого нужно обладать силой незаурядной.

— Но ведь это нельзя назвать тяжелой атлетикой, — уточнил я.

— В классическом смысле, конечно, нет, — согласился Петров, — но эта богатырская забава заслуживает внимания и, безусловно, характеризует молодого кавалера ордена Анны четвертой степени как человека колоссальной силы. Кстати, вы помните, что ни один из молодых людей, гостивших в Ясной Поляне, не мог одолеть 80-летнего Толстого, когда они состязались в элементарном упражнении: кто чью руку положит на стол?

Ну что ж, начало поиску положено. Углубился я в чтение мемуаров, собрал очередной «Монблан» вырезок на интересующую меня тему. Причем в который уже раз просмотрел дневники Льва Николаевича — а их в полном собрании сочинений ни много ни мало — тринадцать томов... Понятно, что на сбор материала ушел не один год. Доходило до курьезов: глаз видел «гимна...», и я сразу же начинал записывать на соответствующую карточку: «гимнастика», а потом чуть не смеялся над собой, когда до конца дочитывал это слово: «гимназия». Или другая история: увидел в одном из альбомов

фотографию «комнаты под сводами» в Ясной Поляне, на костыле заметил отчетливый крюк. И подумал: «А на этом крюке Толстой, очевидно, укреплял канат для гимнастических упражнений». Почему так решил? Один высокообразованный человек, зная об интересе к «кодексу здоровья» Толстого, убедил меня: «Рядом с комнатой Льва Николаевича был спортзал — об этом мало кто знает! — в потолке он привинтил крюки, на которые подвесил гимнастические снаряды. Когда он занимался спортом, никто не имел права входить к нему...»

Версия соблазнительная — и я клюнул на голый крючок... Теперь-то, обманувшись, знаю: никаких снарядов гимнастических в «комнате под сводами» не было. Побывав в Ясной Поляне, узнал, что комната эта была в детские годы Толстого кладовой. В ее сводчатых «полутороаршинных» потолках были вделаны массивные железные кольца для... подвешивания окороков. Какая проза, а я-то вознесся: крюки для каната, по которому Толстой подтягивался на руках...

Но все было гораздо интереснее и значительнее: в комнату не проникали никакие звуки. Здесь Лев Николаевич любил работать, здесь созрел план и написано начало «Войны и мира», здесь писались «Отец Сергий», «Живой труп», «Что такое искусство?», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», главы «Воскресения»... Кстати, великий И. Репин даже картину создал «Толстой в «комнате под сводами»... В эту комнату, где в 1910 году жила младшая дочь Александра Львовна, Толстой последний раз постучался ночью 28 октября, уходя из Ясной...

Теперь, когда годы поисков остались позади, кажется, получено моральное право рассказать о том, чем же в жизни Льва Николаевича была гим-

настика — спортивная, как мы теперь ее называем, и силовая — упражнения с отягощениями. Думается, можно ответить и на вопрос, почему молодой Лев Николаевич подчеркнул в дневнике 21 марта 1851 года: «Необходима гимнастика для развития всех способностей».

Из памяти не идут бунинские слова, характеризующие физический облик Толстого: «Он умер на восемьдесят третьем году жизни. Значит, должен быть причислен к высшему в смысле телесной «крепости» сорту людей («лет наших всего до семидесяти лет, а при большой крепости до восьмидесяти», по слову Библии). Кроме того, смерть его была случайностью: не проживи он жизнь в таком страшном телесном и духовном напряжении, в такой «ненормальной» восприимчивости, в таком непрестанном труде и не уйди из дому, он прожил бы, вероятно, лет сто. А сто лет есть знак уже редкой породы людей. И вот о нем утвердилось мнение, как о человеке могучего здоровья. Но справедливо говорил он про себя: «Я всегда был слабого здоровья, только крепкого сложенья». С ранней молодости он был подвержен многим болезням, еще юношей писал: «Здоровье мое нехорошо, расположение духа самое черное, чрезвычайно слаб и при малейшей усталости чувствую лихорадочные припадки...»

Вот с этой своей природной, как считал Толстой, слабостью он стал бороться. Когда Льва Николаевича, уже всеми признанного мудреца, спрашивали, как жить и с чего начинать воспитание, он отвечал:

«Начинайте с себя. Нет в жизни никого и ничего сильнее человека, когда он захочет быть свободным и сильным. Ему надо только понять, что никого и ничего нет сильнее его. И раз он это понял, ничто и никто ему ни в чем не помеха, не указ...

Быть собой, по-своему верить и думать — разве это так трудно, разве это невозможно при каких бы то ни было обстоятельствах и условиях».

«Ничего нет сильнее человека!» — всей своей биографией и системой самовоспитания Лев Николаевич отстаивал священную правду этих слов. Впрочем, перейдем к фактам... Уже в четвертом абзаце повести «Юность» Толстой пишет:

«Мне был в то время шестнадцатый год в исходе... Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире».

Лирический герой Толстого живет той же физической и духовной жизнью, которой когда-то жил сам Лев Николаевич. Еще раньше — в одной из редакций повести «Отрочество» — его Николенька, решив, что «единственное средство быть счастливым состоит в том, чтобы приучить себя спокойно переносить все неприятности жизни», «подходил к топившейся печке, разогревал руки и потом высовывал их на мороз в форточку для того, чтобы приучать себя переносить тепло и холод»; «брал в руки лексиконы и держал их, вытянув руку, так долго, что жилы, казалось, готовы были оторваться, для того, чтобы приучать себя к труду».

По-отрочески наивный, держит Николенька Иртеньев в вытянутой руке тяжелые словари и воображает «себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным». Так, наверное, было и с самим Толстым, когда он, живя в Москве и Казани, серьезно увлекался гимнастикой, видя в ней средство к обретению невероятной силы. Юноша не только составил для себя правила гимнастических занятий, но и в течение целого месяца ежедневно вел точную запись всех упражнений, проделанных им за день. Эти правила гимнастики, как и ре-

гистрация ежедневных нагрузок, напечатаны в 46-м томе полного собрания сочинений писателя. Список Толстого состоял из двадцати обязательных физических упражнений, выполнять которые нужно было по следующим правилам:

«1. Останавливайся, как только почувствуешь легкую усталость;

2. Сделав какое-нибудь упражнение, не начинать нового, пока дыхание не вернется к своему нормальному состоянию;

3. Стараться сделать на следующий день то же количество движений, как и накануне, если не больше».

В пятидесятые годы Толстой завел так называемый «франклиновский журнал», в котором анализировал свое поведение. Для чего потребовался этот журнал, если молодой человек уже вел дневник? Сам Лев Николаевич объяснял это так:

«В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно. В журнале у меня по графам расписаны слабости — лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие... Все вот такие мелкие страстишки. В этот журнал я из дневника и выношу свои преступления крестиками по графам».

Словом, «франклиновский журнал» был дневник над дневником. В нем юноша безжалостно «казнил» себя, не оставляя без внимания ни малейшего отклонения от норм поведения. Особенно достается в журнале Толстому от Толстого за «самохвальство», когда он себя «на Тверском бульваре хотел выказать», или когда он, занимаясь гимнастикой в специальном заведении Пуаре, решил, тщеславия ради, побороться с признанным силачом Билье. «Мало гордости» — тем же вечером вынес он себе за это оценку...

Пугает его и другая черта характера, открытая в себе, — торопливость. О ней он пишет 2 марта 1851 года:

«Завтра... в 2 в гимнастику... Помнить при всяком деле, что первое и единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение и что более всего мешает всякому делу и что особенно мне много повредило — есть торопливость».

Пять дней спустя он не только констатирует в дневнике происходящее, но и дает ему оценку: «Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело... Гимнастику делал торопясь... Все ошибки нынешнего дня можно отнести к следующим наклонностям:

1) Нерешительность, недостаток энергии. 2) Обман самого себя... 3) Торопливость».

На следующий день он снова недоволен собой:

«Опять долго не очнулся, однако преодолел... Гимнастику делал неосновательно, т. е. слишком мало соображаясь со своими силами, эту слабость я вообще назову: заносчивость, отступление от действительности».

«Смотрелся часто в зеркало... На гимнастике хвалился (самохвальство). Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение (мелочное тщеславие)».

И далее он регулярно отмечает: «10 до 11 — гимнастика... 11 до 1 — фехтование. 1 — до $2^1/_2$ — Аникеевы и гулять, гимнастика...»

Воспитывая самого себя, молодой Толстой предельно строг: чуть что неладное — обязательно фиксирует во «франклине» или в дневнике:

«В гимнастике тщеславие. У Львова — самонадеянность и аффектация. Выписок не делал, лень. Журнал пишу торопливо и неотчетливо».

Толстой недоволен собой, когда чувствует свою нетребовательность:

«Утром занимался писанием и чтением, писал мало, был не в духе и боялся поправить».

По этому поводу в дневнике тут же рождается правило: «Лучше попробовать и испортить (вещь, которую можно переделать), чем ничего не делать».

В любом деле надо проявить максимум старательности и прилежности, а иначе зачем за это дело приниматься? Нужна ли гимнастика, если заниматься ею только для того, чтобы хвалиться своим мастерством? Полезны ли физические упражнения, если их выполняешь через силу, ленясь или торопясь? Толстой не дает себе спуску, и журнал навсегда сохраняет его недовольство собой:

«До Колымажского двора не дошел пешком — нежничество».

«Встал немного поздно... Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость)... На гимнастике не прошел по переплету (трусость) и не сделал одной штуки оттого, что больно (нежничество)».

Наряду с физической гимнастикой Толстой придумал себе зарядку умственную: «Гимнастика памяти. Каждый день учить что-нибудь наизусть».

Но и здесь — в сфере духовной — Толстой придирчив к себе:

«...без внимания читал «Вертера» — торопливость»...

Предельно открыт Толстой в своих чувствах, поступках и их осмыслении:

«...Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю такой досады на себя за слабости; мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет. Приятно».

И наконец, мы подошли к той записи, которая может стать ключиком к спортивной биографии Толстого.

Лев Николаевич упрекал себя за то, что он солгал без причин, отказавшись от обеда, сказав, что у него урок... «Какой?» — «Английского языка», — когда у меня была гимнастика. Причины: 1. Мало ума, что вдруг не заметил, что глупо солгал, 2. Мало твердости, что не сказал, почему, 3. Гордость глупая, полагал, что английский язык скорее может быть предлогом, чем гимнастика».

Вот — изюминка. Спорт во времена Толстого был занятием мало уважаемым. «Гимнастикой заниматься? Графу?» — одна мысль об этом шокировала людей окружения Толстого. Но он-то был интуитивно гениален, он словно знал, что ему жить 82 года, и не просто переползать изо дня в день, а творить, с накалом неослабевающим.

Начинающий писатель, наверное, одним из первых в истории России стал сознательно заниматься физической культурой, всю свою долгую жизнь умело чередуя напряженную умственную работу со здоровым и активным отдыхом.

Изучая дневники Льва Толстого, чтобы понять и глубже оценить те титанические свершения, которыми он украсил свою жизнь, мы убедимся: свободного времени у него за 82 года практически не было, но... он никогда бы не смог достичь цели, если бы был хил телом, если бы каждый его день не начинался с зарядки и гирь.

Толстой четко определил для себя основное условие жизни и творчества: «Позволять себе физический труд (охоту, гимнастику), с целью дать отдых уму, только тогда, когда ум действительно много работал. А то апатию, леность ума, которые уничтожить лучшее средство состоит в том, чтобы работать, часто принимаешь за усталость. Усталость может быть только после труда; а трудом можно назвать только то, что выразилось внешне».

В дневнике он как бы советуется сам с собой:

«Порядок занятий, которые я принял, то есть утром перевод, после обеда корректура и вечером повесть, — очень хорош. Не знаю только, когда гимнастику; а это непременно нужно — какое-нибудь упражнение каждый день...»

Итак, дневник писателя красноречив: в нем отражено все, чем жил молодой Толстой: гимнастика по утрам, езда верхом в полдень или перед обедом, литературная работа...

Даже во время службы в армии на Кавказе Лев Николаевич не изменяет своим правилам. 11 июня 1851 года в лагере Старый Юрт он записывает себе задание на следующий день:

«С 5 по 8 писать. С 8 по 10 купаться и рисовать... Продолжать делать гимнастику...»

На Кавказе и в Дунайской армии Толстой по-прежнему жестко относится к себе, считает проявлением лени даже кратковременный отдых в работе. Так, 19 августа 1854 года характерен анализ: «Всем днем доволен, исключая немного лени во время занятия. Я мог бы заниматься еще меньше и быть довольным; но я недоволен тем, что во время работы позволял себе отдыхать».

А ведь он не дрова колол и отдыхал, а позволил себе расслабление, заканчивая «Рубку леса» — рассказ, в котором открыл для русского читателя неведомый ему пласт общества — русского солдата: «Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особый такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей... В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера».

И вот, живя среди таких людей, наблюдая их не со стороны, а изнутри, Толстой и предъявлял себе суровый счет: «Я недоволен тем, что во время работы позволял себе отдыхать». Едва закончив «Рубку леса», он сразу принимается за «Севастополь в декабре месяце».

Толстой служил на самом опасном бастионе города — четвертом, в 30—40 саженях от французских позиций. Его командир — капитан Реймерс писал о тех днях:

«От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца его четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжение всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий».

Но русские люди держались, показывая чудеса храбрости. Их подвиги запечатлел Толстой.

«Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «я иду на четвертый бастион», непременно заметно в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают, откуда, — большей частью отвечают: «с четвертого бастиона».

«То, что они делают, — говорил Толстой о защитниках Севастополя, — делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они ве могут сделать».

Опасность на четвертом бастионе была предельно велика. «Не хочется и неприятно писать там, где не знаешь нынче, будешь ли жив завтра», — признавался он брату Сергею в конце апреля — начале мая, а 3 июля 1855 года писал ему же: «Хотя на 4-м находился в опасности серьезной, но весна и погода отличная, впечатлений и народа пропасть... и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний».

Толстой и в поздний период жизни охотно возвращался к крымским воспоминаниям. «Хотелось риску, кружилась голова» — такими словами определял он в 1909 году свое настроение под Севастополем.

И даже в эти трудные дни Толстой умудрялся заниматься физическими упражнениями. Об этом рассказал позднее его сослуживец Н. А. Крылов. Из этих воспоминаний и родился, вероятно, тот несколько преувеличенный эпизод, с которого начался наш рассказ.

В жизни же все было гораздо сложнее и драматичнее: Толстой участвовал в отражении штурма французов 27 августа. Ему не нужно было «поднимать штангу», чтобы приободрить русских воинов. Он прекрасно знал лучшие качества солдат: непоколебимую стойкость, верность долгу.

В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» есть такое место:

«Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть, — сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося в сухую дорогу на той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы».

Толстой и сам, как Козельцов, не раз ходил по опасным улицам Севастополя, ходил бодро, не пригибаясь, поборов в себе чувство страха. И это было не признаком столь ненавидимого Львом Николаевичем хвастовства и незрелой дерзости. Это можно назвать нормальным поведением боевого офицера...

Но вернемся к 27 августа. В этот день полковник конной батареи Порфирий Глебов поручил Толстому командование пятью орудиями. «Я плакал, когда увидел город, объятый пламенем, и французские знамена на наших бастионах», — писал Лев Николаевич своей любимой тетушке Т. Ергольской.

28 августа русские войска оставили Севастополь.

28 августа Толстому исполнилось 27 лет.

И не было в его жизни дня более горького...

А полковник П. Глебов, видевший Толстого в последнем бою, не сумел разобраться в характере Льва Николаевича. Он писал 13 сентября своим друзьям:

«Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войной. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удается воевать таким образом».

В книге «Лев Толстой. Пятидесятые годы» Б. Эйхенбаум так прокомментировал эти строки:

«Сколько здесь профессиональной ненависти к «налетчику» Толстому! Эта запись драгоценна тем, что она сделана тогда же — когда этот «турист»

не написал еще «Войны и мира» и никому не было известно, что он окажется «гением».

И в самом деле, полковнику Глебову даже невдомек озадачить себя вопросом: а почему это Толстой появляется в самой горячей точке и спешит на каждый «выстрел», а не прячется где-нибудь, как некоторые?.. Орден Анны четвертой степени «за отличие, оказанное при бомбардировке Севастополя» с надписью «За храбрость», и медали «В память Восточной войны 1853—1856 гг.» и «За защиту Севастополя» достойно венчали ратный путь боевого офицера, который, кроме этого, оставил по себе память как «силач»...

Прибыв в качестве курьера с важнейшим донесением из Севастополя в Петербург, Лев Николаевич был встречен в столице со всеми почестями, которых заслуживает герой войны.

В Петербурге и Москве Лев Николаевич наладил распорядок дня, который способствовал напряженной литературной работе. В нем, естественно, одно из первых мест уделялось гимнастике: «Гимнастика весело», «Писал. Гимнастика», «Гимнастика, хорошо, но не болит», «Пошел на гимнастику, очень был в духе. Упал».

А своей тетушке он сообщает из Петербурга:

«Здоровье мое хорошо, чему я обязан, как мне кажется.., гимнастике, которую я делаю каждый день».

Интересное наблюдение: стоит Толстому занести в дневник 6 декабря: «Гимнастика плохо», — как весь день складывается кувырком: «Писал немного. Театр, пьеса мерзость...»

Гимнастика определяет настрой на весь трудовой день.

В 1857—1858 годах Толстой жил в основном в Москве, на Пятницкой, в доме купца В. Варгина. Распорядок жизни оставался прежним: гимнасти-

ка, чтение, музыка, литературная работа. Гимнастикой он занимался в специальном зале в центре города. Поэт Афанасий Фет, много общавшийся в тот период с Толстым, советовал: «Если нужно было застать Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке...

В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задев кожаного, набитого шерстью, конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергичная натура двадцатидевятилетнего Льва Толстого требовала такого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнаженными животами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своем розовом трико, каждый раз с разбегу упирался грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая дорогу следующему».

А когда в апреле 1858 года Лев Николаевич переехал в Ясную Поляну, то и там устроил себе различные гимнастические снаряды и приспособления, наподобие тех, какие видел в Москве. Его брат Николай Николаевич с юмором рассказывал А. Фету:

«Лёвочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар*. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает;

* Бар — приспособление для гимнастических снарядов.

но староста смотрит на дело несколько иначе. «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться».

Когда Мария Николаевна — младшая сестра хозяина Ясной Поляны — посылала горничную Агафью Михайловну к Льву Николаевичу, то та махала руками: «Я не пойду, идите сами, он там голый кувыркается».

«Гимнастикой занимался часами. И позднее вспоминал об этом часто. Любил особенно прыгать через «кобылу» — то есть через «коня», — с улыбкой говорил старший брат.

Но вся эта непривычная для сельских жителей гимнастика проходила в часы, свободные от литературных и хозяйственных забот. Именно в те годы Лев Николаевич стал усиленно заниматься хозяйством. «Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве», — записал он в один из дней. А заниматься делами имения его вынуждали обстоятельства, нерасторопность, небережливость, если не сказать воровство, управляющего. В грустную минуту Лев Николаевич с легкой завистью написал о своем приятеле Сергее Колошине, который сотрудничал в иллюстрированном журнале «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» (было, оказывается, такое издание еще 130 лет назад!) и жил литературным трудом: «Он честно зарабатывает свой кусок хлеба, и зарабатывает его больше, чем приносят триста душ крепостных. Он зависит от себя, а не от нечестного управляющего...»

Хозяйственные заботы требовали постоянных административных вмешательств. Разъезжая по полям и засекам, чтобы вникнуть в суть экономи-

ческих проблем, Лев Николаевич и сам не заметил, как увлекся физическим трудом, трудом тяжелым.

«Целое лето я с утра до вечера пахал, сеял, косил и т. д.» — с гордостью корреспондирует он своей двоюродной тетке Александрин Толстой.

А вот литературная работа не вызывает в нем такого же доброго чувства:

«Работаю лениво. И в физическом и умственном труде нужно зубы стиснуть».

Здесь необходимо пояснить дневниковую запись: Толстой по-прежнему спрашивал с себя строго, ибо в этот день, который он посчитал «ленивым», Лев Николаевич с утра переделывал «Альберта», набросал мысли о «Наказаниях», читал журнал «Атеней», затем наслаждался изданной на французском «Исповедью ипохондрика» Монтегю, потом на английском языке читал шекспировскую пьесу «Сон в летнюю ночь», а «на десерт» перечитывал Шекспира на русском... И все же самооценка дня нелицеприятная: «лениво»?!

...Увлечение гимнастикой позднее найдет отражение в художественном творчестве писателя. В черновых набросках «Анны Карениной» при описании Левина упоминается его увлечение гимнастикой. В одном из отброшенных вариантов Кедров (Левин), приехавший из деревни, останавливается у офицера Гагина (будущего Вронского). Гагин утром приходит будить Кедрова. «И стройный, широкий атлет с лохматой русой головой и рыжеватой редкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотревшими из широкого толстоносого лица, выскочил из-за перегородки и начал плясать, прыгать через стулья и кресла и, опираясь на плечи Гагина, подпрыгивать так, что, казалось, вот-вот он вспрыгнет на его эполеты».

Живя в Ясной Поляне, Толстой загорелся желанием открыть школу для крестьянских детей.

К марту 1860 года у него было уже 50 учеников — мальчиков, девочек и даже взрослых. С самого начала педагогической деятельности Лев Николаевич поставил себя так, что вне класса установил между учителем и учениками дружеские, простецкие отношения. Толстой шутил, боролся, играл, гулял с ними, устраивал катания с гор, а вечерами по окончании занятий разводил по домам. И еще, как отмечал в газете «Наше время» от 1 мая 1860 года А. Головачев — будущий сотрудник «Современника», в яснополянской школе появилось новшество: «Если время гулевое, являются уроки гимнастики».

«Стоит только раз побывать в яснополянской школе, чтобы убедиться в самом успешном ходе ее, — писал журнал «Русский Вестник», поддерживая инициативу начинающего педагога Л. Толстого. — Яснополянская школа помещена в каменном двухэтажном флигеле, в сенях которого устроены бар и рек* для гимнастики... Дети.., обучаемые самим графом Толстым, вечером... крутятся и прыгают вместе с ним на гимнастике, ходят с ним на охоту, на качели, купаться в пруд.

Главная причина успешного хода яснополянской школы в том, что она семья, а не школа, и что глава этой семьи — человек с очень редкими условиями. Граф Толстой полюбил детей душою артиста, поняв в них многое, непонятное прозаическим натурам; дети поняли его любовь, полюбили его в свою очередь...»

Один из первых яснополянских учеников В. Морозов рассказывал, как проводил урок гимнастики Толстой:

«Лев Николаевич был удивительно легок и спо-

---

* Бар и рек — приспособления для гимнастических снарядов.

собен для гимнастики. Руки у него были страшно сильные... Он берет ремень, опоясывается, вешает гирю на пояс и начинает подниматься на перекладину так же, как без гири... Лев Николаевич влезает на перекладину, огибает ее правой ногой, заправляет ее под колено и начинает вертеться колесом, так быстро, что не разберешь его лица, только волосы, как пух, раздымаются... Козлы были устроены в саду, сверху были обиты мягким, для того, чтобы в случае промаха не убить колена. Лев Николаевич с разбега, прямо как птица, перелетал. С виду казался он тяжел, а прыгать был легок».

Лев Николаевич был убежден, что школьникам надо давать полную волю для движения, беготни, борьбы, чтобы они «выпустили пары», сумели перезарядиться, отключиться от урока, передохнуть. В педагогическом сочинении «Ясная Поляна» Толстой рисовал картину обычного урока в своей школе, урока, который вел его единомышленник Петр Михайлович Морозов:

«Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «Мала куча!», или «Задавили, ребята!», или «Будет, брось»... «Петр Михайлович! — кричит снизу кучи голос входящему учителю: — Вели им бросить». «Здравствуй, Петр Михайлович», — кричат другие, продолжая возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкапу; из кучи на полу — верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается... Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книжками кричат на них: «Что вы тут замешались? — ничего не слышно. Будет». Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только в первое время, сидя за книгой, поматывают ногой от не-

улегшегося волнения. Дух войны улетел, и дух чтения воцаряется в комнате».

Лев Николаевич всячески поощрял эту «кучу малу» и нередко сам становился инициатором потасовки. Однофамилец учителя Морозова — Василий — запомнил и записал такую типичную сценку:

«Появляется... Лев Николаевич. Опять новые затеи, шум, крики, беготня, друг друга валим в снег, перекидываясь комками снега.

— Ну, все на меня валяйте! Свалите или нет?

И мы окружаем Льва Николаевича, цепляемся за него сзади и спереди, подставляя ему ноги, кидаемся в него снежками, набрасываемся на него и вскарабкиваемся ему на спину, усердно стараясь его повалить. Но он еще усердней нас и, как сильный вол, возит нас на себе. Через некоторое время от усталости, но чаще в шутку, он валится в снег... Мы сейчас же начинаем его засыпать снегом и кучей наваливаемся на него, крича: «Мала куча, мала куча»...

Часто, бывало, когда мы его схватываем, стараемся валить, он скажет: «Погодите!» — и сам ляжет ниц. «Ну, бейте меня по спине кулаками». Мы в несколько кулаков начинаем его бить, и он только вскрикивает: «Вот хорошо! Вот хорошо!..» Потом он встает и говорит: «Довольно. Вот хорошо! Вот так хорошо!»

Крестьянские дети были влюблены в школу и своих учителей, первым из которых по праву считался Толстой. Мальчишки не могли дождаться, когда же кончится ночь, чтобы побыстрее прибежать в класс. Педагог П. Морозов передает дух этой необычной школы:

«Встаешь утром часов в 6 или 7, никак не позднее, а ребята уже тут-как-тут. Некоторые на дворе играют в снежки или в коридоре упражняются

в гимнастике, другие в школе занимаются. Приходилось идти в школу, иногда не напившись чаю».

На всю жизнь полюбил Лев Николаевич веселую возню с малышами, при каждом удобном случае обучал их гимнастике, советовал, как развить силу. Редактор «Южно-русского альманаха» Сергей Плаксин в детстве жил во французском городе Гиере, где познакомился с Львом Николаевичем, остановившимся там после смерти брата Николая. Плаксин называл Толстого «профессором гимнастических упражнений», который напирал «главным образом на развитие мускулов». Толстой много занимался с Сережей и своими племянниками — детьми Марии Николаевны. Вот что писал об этом С. Плаксин:

«Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами...»

По собственному признанию Толстого, он себя «гимнастикой замучивал». Но так приятна была разрядка после физических нагрузок и с такой легкостью потом писалось, что Лев Николаевич снова и снова заставлял себя «мучиться». Кстати, когда его настигли физические мучения уже без кавычек, он добрым словом вспомнил волшебницу гимнастику. В 1864 году, упав с лошади, Толстой сломал правую руку. Тульские врачи не сумели вправить сустав и предотвратить неправильное сращение костей. Пришлось Льву Николаевичу ехать в Москву. В телеграмме жене он писал: «Решил поступить по совету Рудинского, он отсоветовал ломать, говоря почти справлена и улучшится много гимнастикой».

На эту телеграмму София Андреевна ответила большим письмом:

«...Приятно мне, что ты избегаешь больших страданий и опасности даже, но грустно также, что уж кончено; ни прежней силы, ни мускулов, ни свободных движений, ничего не будет. Еще грустно, что, так как ты будешь лечиться гимнастикой, то тебе долго нельзя будет вернуться домой, надо лечиться с выдержкой, последовательно и долго. Ну да что, это пустяки, только бы не даром прошло все это, а была бы польза».

Но травма оказалась слишком запущенной, и врачи посоветовали Льву Николаевичу «выломать» неправильно сросшуюся кость. Операция предстояла настолько мучительная, что пришлось воспользоваться хлороформом. Сам Толстой так описал эту историю:

«Когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике сказал, что(б) я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре (на представлении «Зора» в Большом театре), когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Michel Bode (сын президента Московской дворцовой конторы) владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий, в рукаве пусто и ноет...»

Лев Николаевич мужественно перенес операцию, а в письмах жене долгое время не упоминал о подробностях «выламывания кости»...

Пройдет совсем немного времени — и в дневниках снова появится его любимое слово «гимнастика»: «Я стал делать гимнастику. Мне очень хорошо...»

Именно гимнастика помогла вернуть руке чувствительность и силу. Наверное, зная по своему опыту целительную силу гимнастики, Лев Николаевич старался «заразить» ею окружающих. Брат Софьи Андреевны Степан Берс с благодарностью писал о Толстом:

«Я живо припоминаю мое любимое упражнение, которое Лев Николаевич делал со мною, когда мне было менее двенадцати лет. Я становился ему на плечи, а он держал меня за ноги. С плеч его я падал вниз головою, не сгибая корпуса и ног, а он в это время слегка приподнимал меня за ноги, и я качался, как маятник, вниз головой».

А когда у Льва Николаевича стали подрастать старшие дети — Сережа, Танечка и Илья, он постарался привить им вкус к физическим упражнениям, воспитать в них потребность к движению. В «Очерках былого» Сергей Львович признавался:

«В детстве наше первое удовольствие: чтобы отец взял нас на прогулку, по хозяйству, на охоту или в поездку, делал с нами гимнастику.

...Он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдется по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделывал их с одним из нас, например со мной, то сейчас же сестра Татьяна или брат Илья закричат: «И меня, и меня!»

Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.

Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д.

Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим наперегонки. И все мы бежим за ним».

Глубоко благодарна была своему отцу за первые уроки физкультуры и Татьяна Львовна, которая отмечала:

«Я редко в своей жизни встречала женщину, которая могла бы равняться со мной силой, да и многие мужчины, я думаю, мне уступили бы в силе. Мне это давало много удовольствия в жизни: работая, правя лошадью верхом или в экипаже, катаясь на коньках, — я всегда с наслаждением чувствовала тот избыток сил, который делал, что всякое физическое усилие мне бывало не трудно, а, напротив, легко и приятно».

А приучил ее к физическим нагрузкам отец: «С папá бывало веселое занятие — это по утрам, когда он одевается, приходить к нему в кабинет и делать гимнастику. У него была комната, теперь не существующая, с двумя колоннами, между которыми была вделана железная рейка. Каждое утро он и мы упражнялись на ней.

Делали мы и шведскую гимнастику, причем папá командовал:

— Раз, два, три, четыре, пять. — И мы, напрягая наши маленькие мускулы, выкидывали за ним руки: вперед, вбок, кверху, книзу, кзаду.

Папá был замечательно силен и ловок и всем нам, детям, передал физическую силу».

Гимнастические занятия с ребятишками помогали и самому Толстому: попробуй повозись с тремя сильными, жаждущими тебя одолеть сорванцами. Вольно-невольно мускулы затвердеют. Вот так незаметно, в играх и забавах, и найдешь опро-

вержение рекомендациям прославленного профессора Г. А. Захарьина, который не советовал Льву Николаевичу увлекаться физическими упражнениями. Много лет спустя Толстой улыбнется, вспомнив советы уважаемого терапевта: «Вот уже двадцать лет, как Захарьин запретил мне всякие физические упражнения, предупреждал, что это плохо кончится, и для меня было бы давно плохо, если бы я послушал совета Захарьина и перестал давать своим мышцам работу, которая меня укрепляет, дает мне крепкий сон, бодрое настроение».

Толстой из скромности не добавил: «и колоссальную физическую силу». А ее отмечали все, кто знал писателя. Илья Львович в своей книге приводит убедительный пример, характеризующий физическую силу Льва Николаевича, который в 1875 году, живя в заволжских степях, принимал участие в необычных состязаниях:

«По вечерам, когда зной спадал, все мужчины в своеобразных пестрых халатах и шитых тюбетейках собирались вместе, и устраивалась борьба.

Папá был сильнее всех и на палке перетягивал всех башкирцев.

Только русского старшину, в котором было около восьми пудов веса, он перетянуть не мог. Бывало, натянется, приподымет его от земли до половины, кажется, вот-вот старшина встанет на ноги, все ждут с замиранием сердца, вдруг, смотришь, старшина всем своим весом плюхается на землю, и папá поднят и стоит перед ним, улыбаясь и пожимая плечами».

Домашний учитель детей Толстого Василий Алексеев тоже отмечал редкую силу и ловкость пятидесятилетнего Льва Николаевича: «Иногда... он проделывал несколько прыжков на параллельных брусьях, которые стояли в передней. Проде-

лывал он эти прыжки с замечательной ловкостью: он был физически очень хорошо развит».

Свою спортивную форму он поддерживал постоянно, не давая мускулам киснуть. Каково было удивление Софьи Андреевны, когда он, семидесятилетний, принес в Хамовники две гири, которые купил, чтобы ежедневно тренироваться.

В 1898 году в дневнике жены появляется запись:

«Он очень занят развитием мускулов, делает гимнастику с гирями, ходил в пруд купаться...»

В эти же годы он поразил физической свежестью молодого пианиста и композитора А. Гольденвейзера, который наблюдал, как Михаил Львович делал на турнике какое-то очень трудное гимнастическое упражнение. Оно ему плохо удавалось.

Лев Николаевич смотрел, смотрел, не вытерпел и сказал двадцатилетнему юноше:

— Дай я попробую, — и, к общему удивлению, сразу сделал лучше сына.

Удивляться приходилось лишь тому, что разница в пятьдесят лет между двумя гимнастами — седобородым и молодым — была явно в пользу ветерана гимнастики. Впрочем, этому не стоило бы дивиться: ежедневные упражнения с легкими и тяжелыми гирями давали свои результаты. Домашний врач Толстых Душан Маковицкий в «Яснополянских записках» зафиксировал вес этих гирь: пара по пуду с лишним и пара по 10—12 фунтов. Эти гири и сегодня можно увидеть в музее...

Толстой старался не замечать своего возраста, не чувствовать его бремени. Как-то в ответ на слова Софьи Андреевны: «Скучно жить в старости», — он воскликнул страстно и убежденно: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!»

Но возраст все же давал знать о себе, особенно

когда подступило восьмидесятилетие. Секретарь писателя Н. Гусев в отрывочных заметках припомнил такой поучительный эпизод.

«Летом 1907 года Лев Николаевич, подойдя ко мне, пощупал мои мускулы и сказал:

— Плохие мускулы!..

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалось и сострадание, и упрек мне, жалкому горожанину-интеллигенту, и молчаливое наставление о том, чтобы я не пренебрегал развитием телесной силы».

Сам же Лев Николаевич не позволял себе пребывать в телесной, как он выражался, праздности. Алексей Сергеенко расшифровывает одну из последних дневниковых записей Толстого, относящуюся к 22 октября 1910 года, то есть к тому дню, когда до ухода из Ясной Поляны оставалось шесть суток.

«Начал делать не свойственную годам гимнастику и повалил на себя шкап. То-то дурень», — ругал себя Толстой.

Рассказывая же об этом случае родным, Лев Николаевич не жалел юмористических красок:

— Вот какой я дурень. Я вам расскажу про себя большой секрет. Я по утрам делаю гимнастику. Вздумал я привешиваться к шкапу и притягиваться, и весь этот громадный шкап с бельем упал на меня. Я думаю, что я испытал чувство, которое испытал Мациевич, когда летел с аэроплана. Но, к счастью, ящики выдвинулись, и я выбрался из-под шкапа.

Видимо, это происшествие всерьез взволновало Льва Николаевича, потому что он и в дневнике для самого себя — маленькой, потайной записной книжечке, которую носил в сапоге и никому не показывал, тоже отреагировал на гимнастические «взбрыкивания» шкафа:

«Совестно даже в дневнике признаться в своей

глупости. Со вчерашнего дня начал делать гимнастику — помолодеть, дурак, хочет — и повалил на себя шкап и напрасно измучился, то-то дурак 82-летний».

Нас в этой записи интересует взаимосвязь слов «гимнастика» и «молодость»:

«...Начал делать гимнастику — помолодеть, дурак, хочет...»

Вот, кажется, и вся «гимнастическая» история человека, который не хотел стареть в свои восемьдесят два года...

«Путешествие очень удалось»

По утонувшим в снегах засекам и оврагам метет и метет поземка. Осторожно, протаптывая стежку в сугробах, иногда соскальзывая с тропки и проваливаясь чуть ли не по пояс, бродит вокруг своей Ясной Поляны немолодой уже, 77-летний человек. Вечером он запишет: «Сильная метель, но я все-таки сделал свои обычные две прогулки вблизи дома». А через год он, все еще по-детски жадный до наблюдений за природой, сообщит дочери Марии Львовне: «О тебе думал вчера, ходя по насту (Наст удивительный! Иди, куда хочешь, по мраморному полу, нынче начал портиться.)» Лев Николаевич считал безвозвратно потерянными те сутки, когда ему не удавалось вырваться на прогулку. Таких дней в его жизни было очень и очень мало. Секретарь Толстого Николай Николаевич Гусев в «Отрывочных воспоминаниях» запечатлел один из таких «беспрогулочных дней»:

«Льву Николаевичу нездоровилось, и днем он не гулял, как обычно. К вечеру ему стало лучше, и, чтобы наверстать упущенную прогулку, он быстрыми шагами начал ходить по всему верху: из своей спальни и кабинета в гостиную, в залу, далее на площадку лестницы, через ремингтонную и мою комнату обратно в спальню и опять тем же путем. Походив так довольно долго, он, обратившись ко мне, с улыбкой произнес:

— Пять верст прошел».

Ходьбу Толстой полюбил еще с молодости, поставив себе за правило идти в Казанский университет пешком. Для Льва Николаевича не составляло труда сходить из дому в Тулу: подумаешь, мол, какие-то тридцать-сорок верст туда и обратно. В Москве он иногда выполнял роль почтальона и носил письма из Хамовников в Петровско-Разумовское и на Николаевский вокзал — те же пятнадцать-двадцать километров. Шоссе, проходящее неподалеку от Ясной Поляны, Толстой в шутку называл «Невским проспектом». По этому «проспекту» он любил гулять, знакомясь со странниками, мастеровыми, крестьянами, рабочими. Сын друга и единомышленника Толстого — Петра Сергеенко — Алексей Петрович Сергеенко, которого Лев Николаевич любил и называл «младшим братом», утверждает:

«В Ясной Поляне, где он прожил десятки лет, он в своих бесчисленных прогулках изучил на многие десятки верст кругом все поля, луга, леса, овраги, речки, ручейки, все дороги, тропы, стежки, и никто не знал яснополянской местности лучше, чем он».

Современники писателя сходятся во мнении, что Лев Николаевич был самым непоседливым человеком и в Москве. Его бороду в один и тот же день московские прохожие видели то на Арбате,

то на Пятницкой, то на Воробьевых горах, то в районе Смоленского рынка. Один из известных литераторов, иронизируя над пристрастием Толстого к ходьбе, говорил начинающему писателю Ивану Бунину: «Восемьдесят тысяч верст вокруг себя». Восемьдесят тысяч верст — это два кругосветных путешествия по экватору. Много или мало? Даже самый предварительный подсчет километража, пройденного Львом Николаевичем на своих прогулках, показывает: восемьдесят тысяч верст — это для Толстого маловато, он прошел гораздо больше, не ставя себе, конечно, цель — установить рекорд, а интуитивно понимая: «Ходок ездока долговечнее».

Толстой всей своей жизнью доказал прелесть ходьбы, которая будоражит мысль, улучшает дыхание, успокаивает нервы, дает необходимую нагрузку сердцу. И еще одно очень важное для работников умственного труда преимущество ходьбы подмечено Львом Николаевичем: «При усидчивой умственной работе, без движения сущее горе. Не походи я, не поработай руками и ногами в течение хотя бы одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других, голова кружится, а в глазах звезды какие-то, и ночь проводится без сна».

Ходьба — идеальное средство против малоподвижного образа жизни, которым страдают, к сожалению, представители творческих профессий. Толстой, как редко кто из людей умевший работать усидчиво и напряженно, поставил для себя законом: отдыхать столь же интенсивно, сколь и трудиться. Он воспитывал в себе непоседливость так же настойчиво, как в детях воспитывают усидчивость.

Если в его жизни была хоть малейшая возможность воспользоваться «преимуществом двух

ног», он отвергал кареты, пароходы, паровозы — и шел пешком... Еще в молодости, совершая путешествие по Швейцарии, он предложил одиннадцатилетнему мальчику Саше Поливанову пройти по горам от Женевского озера до Фрибурга, сделав большой круг: Кларан, Шато д'Э, Интерлакен, Шейдег, Тун, Берн... Маршрут 29-летний писатель и его юный друг рассчитали на две недели, а завершили за одиннадцать дней, проходя в сутки по 33—35 километров.

27 мая 1857 года Толстой накинул свой ранец, взял в руки альпеншток, подарок прусского 95-летнего генерала, и тронулся в путь. Лев Николаевич тщательно описал лишь первые дни путешествия. Его «Отрывок дневника» остался, к сожалению, неоконченным. Исследователи творчества Толстого дают высокую оценку этому «Отрывку», отмечая, что все написанное «облито ярким светом молодости, полного физического и душевного здоровья, всегдашнего веселого, жизнерадостного настроения, веры в жизнь, людей, несокрушимой энергии».

В том, что такая оценка не преувеличена, нетрудно убедиться, ознакомившись с «Отрывком дневника»:

«От Монтрё мы стали подниматься по лесенке, выложенной в виноградниках, прямо вверх в гору. Ранец мой так тянул мне плечи и было так жарко, что я только храбрился перед своим товарищем, а думал, что вовсе не в состоянии буду ходить с этой ношей. Но вид озера, который все уже и уже и вместе с тем блестящее и картиннее открывался перед нами, и заботы о том, чтобы Саша (мой спутник) не мучился бы напрасно, подпрыгивая по ступенькам и не оборвался бы под 10 и кое-где 20-ти аршинную стену виноградника, развлекали меня, и, пройдя с полчаса, я уже начинал забы-

вать об усталости. Уж мальчик мне был чрезвычайно полезен одним тем, что избавлял меня от мысли о себе и тем самым придавал мне силы, веселости и моральной гармоничности, ежели можно так выразиться.

Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество».

С первого же дня путешествия по горам Швейцарии Толстой пытается дать себе большую физическую нагрузку, но его сдерживает присутствие ребенка. А относительно небыстрая ходьба, правда с тяжелым ранцем за спиной, дает возможность писателю жадно приглядываться к окружающему и фиксировать в дневнике: «...Лес становился гуще и чернее, дорога становилась грязнее, глинистее и колеистее. Может быть, это оттого, что я русский, но я люблю, просто люблю, глинистые, чуть засыхающие, еще мягкие желтые колеи дороги, особенно, когда они в тени и на них есть следы копыт. Мы присели в тени на камне около желобка воды, из которого чуть слышно лилась струйка... Мы выпили с наслажденьем, над нами заливались лесные птицы, которых не слышишь над озером, пахло сыростью, лесом и рубленной елью. Было так хорошо идти, что нам жалко было проходить скоро».

Только путешествуя пешком, он мог видеть истинную красоту природы:

«Чем выше идешь в горы, тем легче идти; мы шли уже с час, и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще не видели солнца, но оно через нас, задевая несколько уте-

сов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышенье напротив; потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озера и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его, верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере».

Толстовские записи сохранили непосредственность и искренность впечатлений неопытного путешественника: «Чем выше мы поднимались, становилось грязнее и грязнее от таявшего снега, ноги скользили, и мешок страшно тянул мне спину, и я уже думал, что вовсе не так приятно ходить пешком по Швейцарии, как все говорят, когда вдруг все переменилось. Выше меня послышались бубенчики, (и) сильный, свежий мужской голос, который пел эту вечную швейцарскую песню с гортанными переливами; пройдя маленький зигзаг, мы очутились на маленькой сырой полянке, с которой открылся еще шире... вид на озеро; солнце большей половиной выкатилось из-за скалы и ослепительно заблестело по голым красным стволам сосен и по сырой траве поляны».

«Я сомневался, не сбился ли я, и, признаюсь, серьезно беспокоился, — отмечает Толстой, когда они оказались в лесу, захламленном поваленными деревьями, — но Саша, которому я сообщил свои опасения, помирал со смеху от мысли, что мы заблудились».

Толстой не боится отмечать в дневнике свои сомнения, подчас наивные, но вполне объяснимые тем, что он путешествовал с ребенком, за здоровье и безопасность которого нес ответственность.

Лев Николаевич пишет в дневнике о женщине, которая повстречалась им в горах: «Она шла ровным охотничьим шагом, мы шли скорее, и, признаюсь, не без гордости подумал, как я легко обгонял горную женщину, и что она, глядя на нас, подумает, может быть: молодцы, хорошо идут. Услыхав за спиной наши шаги, она посторонилась... Слово за слово, мы разговорились, кто, куда и откуда? И, признаюсь, мне стыдно стало, когда я узнал, что она, которую я хотел удивить, нынче вышла из Монтрё и, пройдя в одно утро то же самое, что мы в два дня, была впереди нас. Мало этого, она прибавила так, к слову, что вот сейчас здесь наложит 36 фунтов холстины в корзину и вернется нынче в Монтрё».

Путешествие по Савойским горам еще раз убедило Льва Николаевича, как много литератор может увидеть и узнать в пути, познакомиться с интересными людьми, открыть для себя (и в себе!) новое. Забегу вперед и скажу, что именно встречи на дорогах, во время прогулок и путешествий, подарили Толстому десятки сюжетов для рассказов и статей, проникнутых болью за обездоленных людей, увиденных им в пути. Толстой искренне удивился, встретившись с выносливой швейцарской труженицей. А в более зрелые годы страницы его дневника и записных книжек, писем к родным и единомышленникам расскажут о тех чувствах, которые испытывал он, наблюдая за жизнью многострадального русского народа:

«Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим, и Халявка, и муж и жена умирали, и дети их. А мы Бетховена разбираем... кричу от

боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».

Привычке — ходить пешком, интересоваться всем окружающим, не стесняться вступать в разговоры с неизвестными людьми — он не изменял даже во время своих длительных поездок к детям и друзьям. Так, 29 марта 1889 года, гостя в Спасском у своего фронтового товарища С. Урусова, он записывает:

«Встаю в 8 утра, пишу да пишу (кажется, очень плохо, но все-таки пишу) до 12. Обедаем; потом я иду гулять. Вчера ходил за 10 верст на огромный, бывший Лепешкинский завод... Там 3000 женщин уродуются и гибнут для того, чтобы дешевые ситцы и барыши Кнопу...» (фабриканту. — *А. Ю.).*

Это было в те годы, когда Толстой мучительно переживал, видя имущественное неравенство людей, стыдился собственного богатства, когда углублялась пропасть между ним и семьей, когда у него было уже восемь детей и он серьезно беспокоился об их нравственном воспитании. Илья Львович рассказывает о том, как отец говорил ему: «У Константина дети с малых лет приучаются к труду и помогают родителям, а мы сами сидим на шее у мужика и воспитываем таких же, как мы, тунеядцев. Нынче утром я вижу — идет к дому по пришпекту наш портной.

— Куда ходил? — спрашиваю.

— Крючков на шубу не хватило, в Тулу бегал.

Он сбегал с утра в Тулу, пятнадцать верст и обратно, и будет весь день до ночи сидеть над работой, а наши дети не могут дойти до Воронки (река, где мы купались) и требуют, чтобы им запрягали лошадей. И Филипп запрягает, и полдня сидит на козлах, пока господа прохлаждаются.

Такие разговоры между отцом и матерью происходили постоянно и по всякому поводу, и острота их возрастала.

Продолжалось то же катанье верхом, тот же крокет, то же пение по вечерам, зимой те же коньки, но папа́ с нами уже не было. Если он даже и молчал и не осуждал нас открыто, все же это осуждение в нем чувствовалось, и бывало неловко и нам, и ему самому».

Издатель журнала «Русское богатство» Л. Оболенский рассказывал такой эпизод из жизни Толстого:

«Есть у них в деревне лужок, где много фиалок, и вот он со своей семьей собирал эти фиалки. В это время прошел нищий мальчик-крестьянин с пустым мешком на плече.

— Прошло не знаю сколько времени, — вспоминал Толстой, — но, должно быть, немало. И вот мы увидели опять того же мальчика. Он возвращался обратно, маленький, истощенный, усталый. Мешок его был наполнен ломтями хлеба, собранными по деревням. Он изгибался под его тяжестью и едва передвигал ноги! А мы в это время фиалки собирали!

Крупные слезы покатились по его лицу... Какая огромная яркость и живость впечатлений должна быть у этого человека! И какая сила чувства, какая нервность!..»

Толстой полагал, что путешествие потому так привлекательно, что движение есть эмблема всей жизни. Он всегда придумывал интересные маршруты, стараясь разнообразить установленный моцион. После своего путешествия по Савойям в 1857 году он вернулся освеженный физически, с большим запасом разнообразных впечатлений и от людей, и от природы (он, между прочим, спускался на один из самых могучих альпийских

глетчеров близ Гриндельвальда). Лев Николаевич испытывал такой невероятный прилив творческой энергии, что сел работать одновременно над пятью произведениями — «Поврежденный», «Беглый казак», «Отъезжее поле», второй частью «Детства» и «Дневником путешествия»...

Но ему не сиделось на одном месте, и он задумывает и осуществляет новый поход — из Женевы в Турин. Пешком преодолев Сен-Бернарский перевал, он попал в опасную ситуацию, когда два часа пришлось спускаться по снегу в непроглядном тумане...

Но если в молодости пешее путешествие по Швейцарии и Италии было единственным эпизодом многодневных походов, то в более зрелые годы Толстой неоднократно предпринимал прогулки за сто-двести километров. В 53-летнем возрасте он вместе со своим слугой С. Арбузовым пошел пешком из Ясной Поляны в Оптину пустынь. Арбузов оставил воспоминания об этом походе:

«В кабинет пришла графиня с сумкой, сшитой из простого холста; граф при моем содействии обулся в лапти по всем правилам крестьянского искусства, с онучами, и завязал их на ногах бечевкой...»

«Приятно утром идти, как легко дышится», — сказал Лев Николаевич.

«Прошли Головеньки, то есть сделали верст пятнадцать, в ногах начали чувствовать усталость, потому что мы все время шли без отдыха, — продолжает Арбузов. — Впереди мы увидели молодой тонкий березняк, и граф сказал, что в том березняке мы сядем отдыхать. Граф уселся у опушки, а я в тени и переобул лапти. Граф сказал мне:

— Как ты хорошо теперь надел лапти, что положил под подъем ноги пучки соломы...»

Из Крапивны Лев Николаевич отправил жене письмо:

«Дошел хуже, чем я ожидал. Натер мозоли, но спал, и чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче. Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал бог нам свидеться здоровым всей семьей, и чтоб не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир... большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света».

Вернувшись из Оптиной пустыни, он спешит сообщить И. С. Тургеневу о своих впечатлениях:

«Паломничество мое удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней», — вот чем были для Льва Николаевича эти путешествия, вот как он понимал их, вот за что ценил странствования, хотя они и приносили ему массу неудобств. Но все это с лихвой искупалось богатством впечатлений, полученных в дороге.

«Бог бродягу не старит», — где-то в пути он услышал эту народную мудрость и отметил про себя: а ведь и впрямь, непоседливый выглядит моложе, человек шагающий живет интереснее.

Весной 1886 года Толстой организует поход из Москвы в Ясную Поляну, выбрав в спутники Николая Ге-сына и Михаила Стаховича. 4 апреля Татьяна Львовна записала в дневнике:

«Только что проводили в коляске за Серпуховскую заставу папа́, Колечку и Стаховича, — они пошли пешком в Ясную. Чудная погода. Чуть-чуть дождик накрапывает, но почти жарко, они пошли в легких пальто...»

Жена Льва Николаевича, не любившая длительных разлук и беспокоившаяся за мужа, смотрела на это увлечение иронично:

«А этот великий писатель, Лев Николаевич Толстой, о котором кричал весь мир, шел в то время по большой дороге в лаптях из Москвы в Ясную Поляну. 4 апреля 1886 года, вечером, после обеда, запрягли большую коляску, наняли извозчика и выехали за заставу, на Киевское шоссе, одетые по-дорожному и в лаптях, Лев Николаевич и его спутники: Николай Николаевич Ге (сын) и Михаил Александрович Стахович. Я поехала провожать их, и с грустью ссадила их; проехав заставу, за городом. Долго провожала я их глазами, и чувство грусти, и особенно беспокойства, мучило меня...»

Да, в семье писателя тревожились: как он и его юные товарищи выдержат дорогу в двести верст? Софья Андреевна писала вдогонку:

«Какой вид и дух у Миши Стаховича? Для него этот поход пешком — экзамен. Выдержит ли он и физически, и морально. В какой будет находиться крайности — веселья или мрачности? Спокоен и ровен он бывает реже всего, а Колечка Ге — напротив.

Пожалуйста, не мучай себя и не пересиль усталость».

«Сердце не очень спокойно, а это хуже всего. Было бы тепло, я бы радовалась вашему путешествию, а без теплого платья на холодном северном ветру — это очень опасно. Ты с богом шутишь, испытываешь его; у тебя хорошее здоровье, но ты погибнешь от своих фантазий. Когда узнаю, что все здоровы и благополучны, тогда успокоюсь».

Лев Николаевич, зная, что его любящая беспокойная жена не находит себе места, сообщал:

«Ночевали и идем здорово и весело. Стахович разбился ногами и подъезжает. Жду письма в Серпухов».

Когда Стахович набил мозоли и «сошел с дистанции» Москва — Тула, к путникам присоединился шестидесятилетний мужик Макей, о котором Лев Николаевич писал, что он «моложе нас всех, — шел с нами верст 50, обувал и вообще был мужиком трех генералов».

Софья Андреевна, предчувствуя, что не все у путешественников так гладко, как утверждает муж, писала ему:

«Какой холод и ветер... Несколько слов из Подольска меня совсем не удовлетворили: промокли ли, устали ли, сыты ли, где ночевали — ничего не известно».

Придя в Ясную Поляну, Лев Николаевич получил сразу все письма жены и тотчас же принялся за ответ:

«Очень жалко, что ты беспокоишься, и все напрасно. Мы шли прекрасно. Осталось, как я и ожидал, — одно из лучших воспоминаний в жизни. Здоровье с начала и до конца было лучше, чем в Москве, и превосходно. Трудностей никаких нет. Это точно, как человек, который на суше вообразил, что он на острове, а кругом море. Так мы, сидя в городах, в наших условиях. А только пойдешь по этому морю — то это суша, и прекрасная. Мы с Колечкой — он был первый ходок, я второй, близкий к нему, Стахович — ослабел. С Колечкой говорили, что это одно из поучительнейших и радостнейших времен...

Благодарю m-me Seuron за книжечку и карандаш, я воспользовался ими немножко по случаю рассказов старого, 95-летнего солдата, у которого мы ночевали. Мне пришли разные мысли, которые я записал».

Сын фельдшера Бутырской тюрьмы, народный писатель Николай Никитич Иванов, который часто бывал у Толстого в том году, вспоминал свое знакомство с Львом Николаевичем и их первую беседу:

«Лев Николаевич стал нам рассказывать о своем путешествии пешком... Он находился под свежим впечатлением и с веселой жизнерадостностью несколькими штрихами описал свое «пешее хождение», коснувшись ночлегов с блохами и тараканами. Но вдруг среди рассказа лицо его стало серьезным, и он с резкой строгостью скорбного негодования к человеческой злобе и низости рассказал нам об ужасах, слышанных им на одном из ночлегов от отставного николаевского солдата, касавшихся царствования Николая I и послуживших темой для его статьи «Николай Палкин».

Сам неутомимый ходок, Толстой уважительно относился к подобным «подвигам», совершенным другими. Так, А. К. Черткова, жена самого его близкого друга В. Г. Черткова, рассказывает о впечатлении, которое произвело на Льва Николаевича появление в Ясной Поляне молодой студентки, которая в знак уважения к лучшему писателю земли Русской пришла в его дом пешком из Одессы.

— Представьте, пешком из Одессы до Ясной! — восклицал Толстой. — Ведь это не шутка!.. Ну как было не принять?

Наверное, так же непосредственно удивился бы Лев Николаевич, узнав, что накануне его 150-летия замечательный советский писатель Виктор Астафьев тоже пешком придет из Тулы в его Ясную, чтобы острее прочувствовать Толстого и написать: «...Я шел пешком, еще и еще раз переживая ощущения того строгого покоя, коим наполнены были леса, перелески и рощи усадьбы, — той раз-

думчивой осенней тишины, какая осенями была здесь и при Льве Николаевиче, и вот продолжилась во времени, коснулась моей души. И мне тоже сделалось спокойнее. Суета как бы отхлынула от меня и, казалось, уж не закрутит, не завертит более, и чувство, печальное чувство зрелого возраста вселилось в меня тогда, и думалось мне, что я способен и буду делать добро, только добро...

Больше я не бывал в Ясной Поляне и боюсь туда поехать. Очень боюсь не выдержать сурового суда мыслителя, творца, величайшего из людей, рожденных на земле за много тысяч лет, с которым дано мне было счастье родиться в одной стране — России. И живет во мне это вечное сознание любви и страха: я занимаюсь той же работой, которой занимался ОН! Так какая же должна быть огромная ответственность во мне и во всех нас, ныне живущих, за землю, которую ОН пахал, за работу, которую ОН так свято, мудро, мученически выполнял?!»

«Пешее хождение» из Москвы в Ясную Поляну настолько понравилось Льву Николаевичу, что накануне своего 60-летия он вознамерился повторить его. На этот раз в поход с ним отправился лишь Николай Ге-младший, а в Серпухове к путешественникам присоединился Александр Дунаев — будущий директор Московского торгового банка (принимал участие на отдельных отрезках и Сергей Сытин — младший брат известного издателя Ивана Сытина).

Конечно же в хамовническом доме накануне похода было много волнений, уговоров, сомнений, доказательств «мальчишества» подобных предприятий, но ничто не смогло помешать Льву Николаевичу и его молодому, проверенному предыдущим походом товарищу отправиться в дорогу ранним утром 17 апреля 1888 года.

На следующий же день Софья Андреевна послала мужу письмо:

«Говорили мне, что ты вчера пошел такой веселый, милый Лёвочка. Радуюсь, что погода такая хорошая и что вы не вышли накануне. Воображаю, как тебе весело стало, когда после мостовой и камней, и города ты ступил на мягкое, как выражается сестра Таня, и пошел по травке, а перед тобой простор, и простор бесконечный. Мне из моей клетки это показалось так весело, хотя, когда подумаю о ночлеге, еде и народе, — то не пошла бы.

Надеюсь, что этот поход тебя немного разбудит, и что результат его будет не Палкин, а нечто более поэтическое, мягкое и художественное».

Как и обещал, Лев Николаевич посылал весточки с каждой ночевки:

«Пишу из Подольска, куда мы дошли в 8 часов. Очень было хорошо идти и питаться чаем и парным молоком, что мы делали 2 раза. Немножко было лишних 3 или 4 версты, на которых я почувствовал усталость; но зато мы в номере с постелью, которую обсыпаем ромашкой».

А 19 апреля он записал на половине пути:

«В Серпухове в 6 вечера, идем дальше. Несмотря на дождь, не промокли. После первой, не совсем хорошей ночи в Подольске, вчера спал прекрасно. Очень весело и бодро шли».

21 апреля бросил письмо уже из Тулы:

«Дошли мы превосходно, и дошли бы нынче, в четверг, до Ясной, но с нами случилась досада... Путешествие мне удалось. Как я ни стар и как ни знаю нашу жизнь, всякий раз узнаешь во всех отношениях: и нравственном и умственном...»

Как тут не вспомнить пушкинские строки: «Путешествие нужно мне нравственно и физически» — слова, рожденные тоже во время путешествия — по дороге в Арзрум...

«Путешествие очень удалось», — считает Лев Николаевич, прибыв в любимую свою Ясную.

А вот домашние не согласны с ним. Софья Андреевна настроена воинственно против подобных путешествий, она убеждена, что эти «хождения», как и работа 60-летнего мужа на пашне и сенокосе, мучают и убивают писателя.

«Это совершенно несправедливо, — возражает Толстой в письме к жене 23 апреля, — потому что я всегда настаиваю на том, что человек должен делать все только для своего блага. Дело только в том, что уставать, и даже очень сильно на воздухе весной, в путешествии или на пахоте, есть положительное благо во всех отношениях, и обратное, т. е. отсутствие усталости труда, есть зло. Я себя чувствую прекрасно... и сотоварищи мои, т. е. Дунаев, приятнее, деликатнее, чем я ожидал... завтра придется сесть за стол и писать, что весьма возможно и приятно».

«Путешествие... есть положительное благо во всех отношениях» — то были не только слова, вырвавшиеся в полемическом задоре. Похоже, что Лев Николаевич решил сделать переходы из Москвы в Ясную Поляну ранней весной традиционными. В 1889 году он твердо сказал, что снова пойдет пешком вдоль Серпуховского тракта. Но и этого показалось ему мало — Толстой надумал «для репетиции» сходить пешком к своему севастопольскому другу С. Урусову, жившему в Спасском, в 60 с лишним верстах от Москвы, в районе сегодняшнего Хотькова. В порядке «разминки» Лев Николаевич в марте несколько раз ходил пешком из Хамовников к Крестьянской заставе. Своей «спортивной» формой Толстой остался доволен, но весенняя распутица не позволила ему пойти пешком по Ярославскому шоссе. Он выехал к князю Урусову по железной дороге. В Спасском

писатель каждый день совершал далекие прогулки. 29 марта он записывает:

«...Ходил за 3 версты в деревню Владимирской губернии. Дорога старым бором. Очень хорошо. Жаворонки прилетели, но снегу еще очень много. Скворцы перед самой моей форточкой в скворешнице показывают все свое искусство: и по-иволгиному, и по-перепелиному, и коростелиному, и даже по-лягушачьему, а по своему не могут...»

Просто ходить и созерцать природу — Толстому маловато. 1 апреля он с удовлетворением отмечает в дневнике:

«...Сделал слишком большое усилие вчера же, рубя и пиля, и таская лес... и в лесу рубил и пилил с мужиками... Очень приятно было валить большие ели и пилить пахучие, смолистые бревна».

И так — каждый день. 5 апреля он встал рано — в семь часов. «Очень много и не дурно писал «Крейцерову сонату»,—читаем мы в его дневнике. — Пошел в Владимирскую губ. через лес, через овраги по кладкам, и жутко было, но не так, как прежде... Потом Швейцария... заробел идти по кладкам. Потом славная семья в Охотине и мальчик милый. Потом снег и поход в Еремино и оттуда опять с мальчиком через огромный лес в Ратово и усталый пришел домой в восемь».

Толстой был ходоком быстрым — это единодушно отмечают все, кому посчастливилось бывать с ним на прогулках. Говорю «посчастливилось», потому что Лев Николаевич предпочитал бродить в одиночестве. (Когда Софья Андреевна просила мужа взять ее с собою на прогулку, он отвечал: «Нет, ты мне будешь мешать. Я обдумываю, что работать».) Единомышленник Толстого Л. Никифоров, который был моложе его на двадцать лет, удивлялся поразительной физической энергии Льва Николаевича:

«Иногда, если я рано уходил, он шел провожать меня, но так как он ходил скоро и я не поспевал, то он, чтоб замедлить свои шаги, оставлял меня идти дальше, а сам с половины, например, Смоленского бульвара возвращался к Зубовской площади и затем, догнав меня, уже мог идти медленным шагом. Провожал он меня нередко до Кудрина...»

Илья Ефимович Репин, который был моложе Толстого на полтора десятка лет, тоже удивлялся энергичности Льва Николаевича:

«По лесной тропинке мы часто ходили вместе купаться версты за две, в их купальню, в небольшой речке с очень холодной водой. Лев Николаевич, выйдя из усадьбы, сейчас же снимал старые, своей работы туфли, засовывал их за ременный пояс и шел босиком. Шел он уверенным, быстрым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засорена и сучками, и камешками. Я едва поспевал за ним и за эту быструю двухверстную ходьбу так разогревался, что считал необходимым посидеть четверть часа, чтобы остыть...

— Все это предрассудки, — говорил Лев Николаевич, быстро снимая с себя свое несложное одеяние, и, несмотря на обильные струи пота по спине, одним прыжком бросался в холодную воду. — Ничего от этого не бывает, — говорил он уже в воде».

Характеристика Толстого-ходока есть и в записках «На жизненном пути», оставленных замечательным русским юристом и литератором Анатолием Федоровичем Кони, который познакомился с Толстым в 1887 году, приехав к писателю в тульское имение. Как-то их обоих пригласили на семейное торжество в усадьбу, находившуюся в семи километрах от Ясной Поляны. Толстой пред-

ложил своему более молодому гостю — у них была разница в 16 лет — пойти пешком. Кони, не предполагая, как скор на ногу этот 60-летний человек, согласился. И потом жалел об этом:

«Лев Николаевич всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем». Мы так и сделали, удалившись по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти пешком, ибо в тот день мы утром сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки, быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец мы заслышали вдали шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: «Пойдемте, пожалуйста, пешком!» Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, причем исходивший из нее сильный зеленоватый, фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он теперь точно стоит передо мной под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души».

Эти три примера убедительно показывают, что

просто ходьбы — даже очень быстрой — для Толстого было недостаточно. Поэтому-то он и делает регулярными переходы из Москвы в Ясную Поляну. Три раза прошел он по этому маршруту. Менялись его спутники, а он по-прежнему был нацелен на длинную дорогу. С каждым годом Толстой все быстрее преодолевал двести километров. Впрочем, обратимся к «Моей жизни» Софьи Андреевны, которая запечатлела поход 1889 года:

«2-го мая Лев Николаевич ушел опять пешком в Ясную Поляну с Евгением Ивановичем Поповым, одним из тех, которые считались его последователями. Когда наступил страшный холод и я встревожилась, что на Льве Николаевиче даже пальто холодное, добрый друг Александр Никифорович Дунаев отправился немедленно по железной дороге догонять Льва Николаевича. Но, к счастью, никто не простудился, и 4-го мая я получила из Серпухова письмо о том, что Лев Николаевич здоров и что его подвезла, узнавшая его по портрету, до Серпухова сестра доктора Алексеева, нашего знакомого. Только 7-го мая они дошли до Тулы и отправились в Ясную Поляну, куда явился Дунаев, не найдя их дорогой.

В доме было холодно, но все понемногу устроилось, и Лев Николаевич начал усердно писать свою повесть «Крейцерова соната»; переписывал ему тогда Евгений Иванович Попов, который и жил с ним в Ясной, куда еще приезжал навестить его Михаил Васильевич Булыгин, тоже считавшийся последователем Льва Николаевича.

Путешествие утомило Льва Николаевича, и здоровье пошатнулось. Он жаловался на боль под ложечкой, и хотя и пытался то поправлять статью «Об искусстве», то писать дальше «Крейцерову сонату», — но дело не шло, и он был недоволен своей работой».

«Путешествие утомило Льва Николаевича», — так считала Софья Андреевна. И, наверное, она права. Но Толстой не мог отказаться от своего «хождения», он был убежден, что не зря отправился с 24-летним Евгением Поповым:

«Встал в 6, убрался в дорогу скоро и весело, но не добро. В 10 пришел Попов, и мы выехали за заставу. Шли до Сырова четыре версты не доходя до Подольска, где и ночевали, — записывает он 2 мая. — Дорогой пили чай. Муж пьет, женщина работает, восьмилетняя девочка моет полы и делает папиросы на один рубль в неделю. Двадцать копеек... отдали при мне».

Лев Николаевич не упоминает в этой записи о том, что, сойдя возле Лысых Гор с шоссе, они версты три шли по воде к деревне Алачково, на хутор знакомого Толстому М. Золотарева. Из Алачкова он послал весточку в Хамовники:

«Пишу нынче 3-го, середа, из деревни... 25 верст за Подольском, в стороне от дороги. Теперь 8-й час вечера и льет дождь, который несколько раз пугал нас, но ни разу не намочил.

Шли мы вчера очень хорошо и бодро и ночевали, не доходя Подольска (в деревне Сырове Добрятинской волости)... Я устаю, но чувствую себя совершенно здоровым.

Попов очень приятный товарищ — добрый и серьезный. Если погода будет хороша, то завтра после ночи, проведенной в чистых постелях, без клопов, пойдем дальше».

А через день, уже из Серпухова, уведомлял: «Я ни разу не намок. Иду прекрасно».

Как и все предыдущие «хождения», этот поход вновь открыл перед ним чашу людских горестей. 5 мая в селе Богучарово Толстой с болью отметил: «Везде бедствие... вино... Пришли ночевать... 34 версты от Тулы».

А Софья Андреевна в Москве тревожилась и писала ему в дорогу:

«Получила твое письмо из Серпухова, и, хотя ты хвалишься здоровьем, я страшно беспокоилась о твоем благосостоянии, так как холод почти что зимний, а одет ты по жаркому лету. Я провела сегодня тяжелое утро, глядя на снег и дрожа от холода, когда шла на конку и думала о тебе. Но это бессильное беспокойство с неизвестностью, где ты и что ты, — не может долго продолжаться, слишком мучительно... Найдет ли тебя Дунаев? Узнав, что ты ушел и что у тебя нет пальто и что о тебе заботиться некому, он решил ехать тебя догонять... Я думала сегодня, что, если у тебя осталось хоть крошечку доброты, ты бы не рисковал идти студиться в эту погоду, а поехал бы из Серпухова поездом, а мне послал бы телеграмму. Ну, да у всякого свои принципы».

Лев Николаевич не мог — не таков у него характер! — уйти с половины пути и сесть в паровик, идущий от Серпухова до Тулы. Он шел и шел, регулярно записывая в дневнике:

«6 мая... Шли бодро без останову 16 верст. Обедали в трактире Сербковки, где я очень уговаривал о пьянстве... Дошли до Тулы...»

В пути он послал телеграмму жене:

«Совершенно здоров. Дома беспокойство напрасно».

Но Софья Андреевна не верила этому.

«Как ты дошел и перенес холод. До сих пор ужасно холодно, северный ветер...

Мне все хочется тебе сказать: «Не искушай господа бога твоего». Если, как ты мне писал, бог послал тебе опять здоровье, то не на то, чтоб ты его разрушил своими фантазиями, а чтоб ты употребил свои силы на что-нибудь высшее, духовное. Ты не в праве не беречься».

В тот день, когда это предостережение еще только писалось, Толстой переступил порог дома в Ясной:

«Пришел в Тулу 5-го, в субботу, очень легко, именно благодаря холоду... Я еще не опомнился с дороги и потому не решил еще, как к Маше: пешком или по железной дороге. Видно будет...»

В этом письме весь характер Льва Николаевича: он только что преодолел 200 километров, не опомнился, а уже хочет идти пешком к дочери Маше на Александровский хутор — а это не один десяток километров...

Софью же Андреевну он пытается успокоить:

«Ты спрашиваешь, как я переносил холод дорогой? Очень хорошо: надел фланель, жилет, фуфайку и даже шалью накрыл голову и шел гораздо легче и приятнее, чем в жар».

На следующее же утро после прихода в Ясную Поляну Толстой стал опять строго придерживаться раз и навсегда заведенного режима:

«Начал писать об искусстве, и не пошло. Пошел в леса с записной книжкой. Пробовал выразить тезисами — не мог ясно формулировать...»

Конечно же он очень устал в дороге, но не признается в этом даже себе, хотя отмечает с явным осуждением: «Проснулся поздно, тоже слабость...»

«Прелестная погода; я ходил пешком по Тульской дороге», — подобными выражениями пестрят его дневники и письма. Гуляя, он думает, спорит сам с собой, мучительно ищет ответа на сложные вопросы века. Он ловит себя на мысли: а не скрывается ли за его пристрастьем к прогулкам нечто «неземное»?

«Обычное явление, что старики любят путешествовать, уезжать далеко и переменять место, — записывает он. — Не предвиденье ли это и готовность к последнему путешествию?»

Бродя по окрестностям Ясной Поляны, он неутомимо наблюдает за природой, за буйством весны и «пышным увяданием» осени. Он думает о конце жизни, примеривается к «последнему путешествию»:

«Мы находимся в положении пассажиров парохода, приставшего к какому-то острову, — говорил он пианисту А. Гольденвейзеру. — Мы сошли на берег, гуляем, собираем ракушки, но должны всегда помнить, что, когда раздастся свисток, все ракушки надо будет побросать и бежать поскорее на пароход».

Но эти космически грустные мысли во время прогулок постоянно вытесняются другими, полярно противоположными:

«Раз вышел на Заказ и заплакал от радости благодарной — за жизнь».

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно».

«Далеко ходил, думал, глядел, нюхал, собирал цветы. Очень хорошо на душе», — записал Толстой в дневнике за полгода до смерти.

«Далеко ходил...» — нет сомнений, что ходьба, позволяющая чередовать умственный труд с физическим, дала возможность писателю до конца дней своих быть бодрым, сильным и работоспособным. Толстой пользовался ходьбой как целительным средством, несмотря на то, что врачи нередко запрещали ему быстрое движение. «Гулять не много, — советовали они, — соображаясь с силами, не задаваясь целью укрепить свои силы моционом». А Толстой поступал по-своему: «Я встаю, провожу целый день на воздухе, — сообщал он В. Г. Черткову из Гаспры после тяжелой болез-

ни — воспаления легких, — и, хотя и согнувшись по-стариковски, могу пройти шагов двадцать и тридцать». Он начинал с небольшого. Но двадцать шагов — самостоятельных! — были для него победой над собой, над своими болезнями! С этих двадцати шагов в 1902 году начались его прогулки на десять-двадцать верст, прогулки, которым он не изменял никогда. Писатель Владимир Галактионович Короленко, побывавший в Ясной Поляне у 82-летнего Толстого, с восхищением писал о нем:

«...После завтрака он пошел пешком вперед по дороге в Тулу. Булгаков поехал ранее верхом с другой лошадью в поводу; я нагнал Льва Николаевича в коляске, и мы проехали версты три вместе, пока не нагнали Булгакова с лошадьми. Пошел густой дождь. Толстой живо сел в седло, надел на себя нечто вроде азяма*, и две верховые фигуры скоро скрылись на шоссе, среди густого дождя. А я поднял верх, и коляска быстро покатила меня в Тулу. Впечатление, которое я увожу на этот раз, — огромное и прекрасное...»

О самой последней в жизни Толстого пешеходной прогулке можно прочитать, ознакомившись с «Делом Калужской консистории о неразрешении совершения поминовения и панихид по Толстому». Сообщая 2 ноября 1910 года о пребывании Льва Николаевича в Козельской Введенской Оптиной пустыни в первый день «бегства» из Ясной Поляны, архимандрит Ксенофонт доносил епископу Калужскому и Боровскому Вениамину:

«29 октября... часу в 8 утра... Толстой отправился на прогулку около монастыря и, возвратившись часов в 9, пил кофе, а затем, часов в 10, опять от-

---

* Азям — сермяга, верхний крестьянский кафтан халатного покроя.

правился на прогулку; оба раза ходил один. Во второй раз его видели проходившим около пустого корпуса, находящегося вне монастырской ограды, называемого «Консульский», в котором он бывал еще при жизни старца Амвросия..; затем проходил около скита, но ни у старцев, ни у меня, настоятеля, не был; внутрь монастыря и скита не входил. С этой прогулки он вернулся часу в первом дня, пообедал и часа в три того же числа уехал со своими спутниками в Шамордино» — вот как пристально следили за ним. А он ведь, наверное, думал, что был наедине с собой, когда шел по-над извилистой Жиздрой, под соснами векового бора, шел и думал, думал, думал...



«...И покатился без усилия»

«— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе...» — кто не помнит этих строк из «Анны Карениной»? Одним из первых в литературе Лев Николаевич дал лирическое, воздушное, проникновенное описание катания на катке Зоологического сада. Оценивая «Анну Каренину» на закате своей жизни, Толстой говорил: «Мне кажется, что там нет ничего лишнего». А еще он признавался Софье Андреевне, заканчивая работу над романом: «...в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную»...

Итак, герои романа встречаются на катке. «Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее». На Кити Щербацкую, свою будущую жену... Материал для романа, как вспоминал старший сын писателя Сергей Львович, «отец брал из окружающей нас жизни. Я знал многих лиц и многие эпизоды, там описанные... Константина Левина отец, очевидно, списал с себя, но он взял только часть своего «я»... Софья Андреевна не раз, улыбаясь, напоминала мужу: «Левочка, ты — Левин, но плюс талант...» Говорят, что и фамилия Левин образована от имени Толстого — «Лев». В Левине угадывается сам Толстой, каким он был в возрасте тридцати лет.

Я так подробно говорю об этом, потому что описание катания в Зоологическом саду представляется единственным художественным свидетельством спортивного увлечения самого Толстого, запечатленного им через образ любимого героя. Во время работы над «Анной Карениной» Толстой ничего не заносил в дневники. «Я все написал в «Анне Карениной», — разводил он руками, — и ничего не осталось...»

Все перешло в роман. Семейный. Глубоко личный.

Писатель и врач С. Я. Елпатьевский в литературных мемуарах рассказывает, что Толстой как-то спросил его: «Сколько вам лет?» — и, услышав в ответ: «Сорок восемь», почему-то задумался. «К моему удивлению, — вспоминает Елпатьевский, — лицо его сразу сделалось серьезным, даже суровым, он взглянул на меня исподлобья пронизывающим и — я не могу найти другого выражения — завистливым взглядом и, отвернувшись, угрюмо выговорил: «Сорок восемь!.. Самое лучшее время моей работы... Никогда так не работал».

Он... долго молчал и потом тихо выговорил — должно быть, больше себе, чем мне:

— «Анну Каренину» писал...»

Но это признание вырвалось через несколько десятков лет, а тогда, в дни работы над «семейным» романом, Толстой не был настроен так лирически, в письме к Н. Страхову он говорит: «...если бы кто-нибудь за меня кончил «Анну Каренину»! Невыносимо противно». В другом письме тому же адресату он опять делился своими сомнениями:

«Переправляю и отделываю теперь этот роман, про который писал вам, и в самом легком, нестрогом стиле. Я хотел пошалить этим романом — и теперь не могу не окончить его... Я... как запертая мельница, набрал воды. Только бы бог дал в дело употребить набранные силы».

Толстой, мы уже упоминали, писал лишь о том, что хорошо знал лично, что пережил, перечувствовал. «Нынче так много писателей... всякий хочет быть писателем!.. Но как целомудрие нужно соблюдать, так и в литературе следует высказываться лишь тогда, когда это становится необходимым, — говорил он в беседе с корреспондентом «Русских ведомостей». — По моему мнению, писатель должен брать то, что не было до него описано или представлено. Как начинал писать я? Это было «Детство»... И вот когда я писал «Детство», то мне представлялось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства».

Занимаясь свыше четверти века историей спорта, в частности конькобежного, я хотел бы сказать, что никто в нашей литературе до Толстого (а может быть, и после него) не написал таких прекрасных сцен, как встреча влюбленного Константина Левина и еще не догадывающейся о его переживаниях Кити Щербацкой. Как невозможно пересказывать

своими словами стихи, так, думается, нельзя и эту сценку — трепетную, написанную на одном выдохе — передать скороговоркой, потому что в ней удивительно много деталей, характеризующих быт Москвы семидесятых годов прошлого века, ее спортивные досуги... Прочитаем эти строки еще раз:

«На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей, все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

— А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

— У меня и коньков нет, — ответил Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядя на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибающийся к земле мальчик в русском платье обогнал ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе тол-

чок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину...

...— Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

— Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.

— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее.

— Сейчас надену, — сказал он.

И он пошел надевать коньки.

— Давно не бывали у нас, сударь, — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли будет? — говорил он, натягивая ремень.

— Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, — думал он, — вот это жизнь, вот это счастье! Вместе сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь?..»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

— С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему.

— И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел...

«Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги».

Действие романа начинается, мы помним, в конце зимы 1873 года. Именно в это время в России начинается увлечение бегом на коньках. Так, в 1874 году в Петербурге на льду пруда в Юсуповом парке, рядом с выходящим на Фонтанку домом министерства путей сообщения, были устроены первые в нашей стране конькобежные соревнования.

Коньки Россия признала и полюбила.

У Ивана Бунина в романе «Жизнь Арсеньева» есть об этом проникновенные строки. Действие происходит как раз сто лет назад в губернском городе Орле:

«...а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами с черными елками, оглушаемом полковой музыкой, залитом сиреневым газовым светом и усеянном летающими черными фигурками, — ей там весело... Вдруг раздался звонок, и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. «Ох, — сказала она, — устала я!» —

и прошла в свою комнату... бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках...»

Почти те же слова нашел я в воспоминаниях Татьяны Львовны Толстой: «Мне тогда только что минуло восемнадцать лет. Помню, как, вернувшись с катка, с коньками в руках я направилась в кабинет отца и по дороге от кого-то узнала из домашних, что у него сидит художник Ге». Каждый, кто бывал в доме в Хамовниках, помнит: в передней, справа от лестницы, в узком коридорчике Толстые оставляли калоши, валенки и коньки... Так зачем же Татьяне Толстой, уже взрослой, восемнадцатилетней девушке, нужно было идти с коньками в кабинет отца? Ответ видится таким: девушка была настолько переполнена радостью от быстрого бега, что ей хотелось поделиться с отцом нахлынувшими чувствами и... она забыла положить коньки в прихожей... Так эта мимолетная деталька характеризует быт в семье Льва Николаевича, фиксирует внимание на интересующем нас вопросе, становится отправной точкой для дальнейшего разговора о Толстом-скороходе и его «конькобежной семье».

Описание катка в Зоологическом саду — лучшая, на мой взгляд, художественная иллюстрация к истории становления русского спорта. Перечитывая сегодня сценку, мы конечно же обратим внимание, что «катальщик» — непривычное для наших ушей слово — говорит Левину: «Давно не были у нас... После вас никого из господ мастеров нету», а Николай Щербацкий называет Левина «первым русским конькобежцем», а Кити как бы поясняет эту реплику: «Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец»...

А так как многое из своей биографии Лев Николаевич отдал Левину, то мы смело можем предполагать, что все эти эпитеты были когда-то и кем-

то адресованы ему, молодому Льву Николаевичу Толстому. Катался он на коньках прекрасно. Об этом свидетельствует запись Софьи Андреевны, сделанная в Ясной Поляне 15 февраля 1870 года:

«Мы с ним сейчас катались на коньках, и он добивается уметь делать все штуки на одной и двух ногах, задом, круги и проч. Это его забавляет, как мальчика...»

Так было в жизни. А в литературе эти «штуки на одной и двух ногах, задом, круги и проч.» нашли отражение в картинке Зоологического сада:

«В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев... разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду.

— Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

— Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вышел на приступки, разбежался сверху, сколько мог, и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше.

«Славный, милый», — подумала Кити в это время...»

Когда Лев Николаевич с теплотой и знанием дела писал эти строки, он не предполагал, что его жена так же тепло воспринимает толстовские «штуки» на катке и снисходительно-влюбленно отмечает в дневнике: «Это его забавляет, как мальчика».

В романе Толстого рассказывается о модели коньков семидесятых годов XIX века. Нам трудно

представить, каким был этот «навинчивающийся» каблук? В ответе на этот вопрос помогает его дочь, которая в «Детстве Тани Толстой в Ясной Поляне» поясняет:

«Из Англии... она (гувернантка. — *А. Ю.*) выписала нам коньки, на которых выучила нас кататься. Коньки в то время были деревянные, и только самое лезвие и винт, который ввинчивается в каблук сапога, были стальные. Сквозь деревянный станок конька пропускались ремни, которые в двух местах стягивали ногу».

Такие коньки были в семье Толстого у каждого: у самого Льва Николаевича, у Софьи Андреевны, у всех детей. Зимой катание на коньках становилось праздником. Татьяна Львовна свидетельствует, что катанья на пруду сопровождались веселыми падениями, неловкими, смешными движениями и кувырканиями. Дети обычно старались поразить взрослых искусством катания на коньках.

«Все... праздники были у нас ужасно шумны. Народу полон дом, суета, шум, репетиции, сцена, катанье и с гор, и на коньках, и на лошадях, прогулки — ни минуты отдыха», — а это уже из письма Марии Львовны Толстой. Оно как бы дополняет картину яснополянского быта зимой.

Старший сын писателя — Сергей Львович в книге «Очерки былого» подробно рассказывает, как на пруду «отчасти нами самими, отчасти поденными» расчищались переплетающиеся между собой дорожки. Эти снежно-ледовые архитектурные сооружения создавали таинственность и позволяли разнообразить катанье на коньках, устраивать игры в «салочки» и «пряталки».

Илья Львович Толстой оставил более подробное описание ледовых забав:

«Кроме поездок верхом и охоты, мы страшно увлекались катанием на коньках и крокетом.

Как только замерзал пруд, мы надевали коньки и все свободное от уроков время проводили на льду.

За уроками не сидится, смотришь поминутно в заиндевевшие окна. На них мороз разрисовал какие-то папоротниковые ветки, какие-то кружева, полоски и звездочки...

Полушубки, валенки, шапки с наушниками, берем коньки в руки и... к пруду. ...Надеваем коньки, и начинается беготня. Дорожки на пруду расчищены большим кругом, но мы сами понаделали лабиринты, переулочки и тупички и по ним вертимся. Приходят папа и мама и тоже надевают коньки. Ноги зябнут, пальцы онемели, но я молчу, потому что боюсь, что пошлют домой греться. Увлекаются все. Давно пора идти домой, но мы выпрашиваем еще несколько минут, еще немножечко. С деревни прибежали ребятишки и дивуются на нашу ловкость. Щекочет самолюбие, и начинаешь выкидывать всякие фокусы, пока не упадешь и не расшибешь себе нос.

— Домой пора!

Дома оказывается, что несмотря на наушники, побелело ухо. Папа берет снег и безжалостно трет его. Ох, как больно! Но надо терпеть, реветь нельзя, а то завтра оставят меня дома.

В начале зимы, когда лед был еще не прочен, нам не позволяли кататься по «большому» пруду, и мы отправлялись на «нижний», который был меньше и, главное, мельче.

...Самый резвый наш бегун был брат Сережа».

На таких катаниях не обходилось и без происшествий. Однажды, 23 января 1877 года, вспоминает Сергей Львович, «я, Таня и Илья, катаясь по дорожкам, ловили друг друга; я на перекрестке столкнулся с Таней на быстром бегу. Она не ушиблась, а я головой об лед».

Были и другие неприятные эпизоды. Илья Львович припоминает:

«А в другой раз восьмилетний брат Лева увидал расчищенную большую прорубь, подернутую тонким свежим льдом, и покатился по ней на коньках. К счастью, лед проломился только на другом конце, где он мог ухватиться за край ручонками. Бабы, полоскавшие белье около другой проруби, увидали, что он тонет, и вынули его.

Сейчас понесли его в мокром полушубочке домой, растерли спиртом, и сколько же тут было аханий и оханий!.. Чуть-чуть не утонул!

Там ведь место глубокое».

Но даже эти случаи, которые волновали материнское сердце Софьи Андреевны, не влияли на семейное увлечение коньками. Все взрослые и дети с нетерпением ждали наступления холодов, когда мороз скует зеркало пруда, когда можно будет выбежать на лед. 34-летняя мать шестерых детей, Софья Андреевна 10 ноября — еще осенью! — отмечает в дневнике:

«Налаживаем коньки, небо серое, тучи ходят, морозно и похоже на снег, пора бы!»

В семье Толстого все без исключения умели кататься на коньках и любили бегать. Для детей самым страшным наказанием считалось, когда из-за плохого поведения им не разрешали выходить на лед. А особенно обидно было болеть в те дни, когда стояла красивая морозная погода, когда все веселились на льду. Дети даже иногда скрывали простуду, лишь бы только их не остановили перед вылазкой на каток.

Старших детей учил кататься лично Лев Николаевич, а с младшими занималась Софья Андреевна. Она регулярно заносила в дневник:

«Сырая скучная осень. Андрюша и Миша катались на коньках на Нижнем пруду».

«Праздник, рождение Андрюши — ему 13 лет. Ходили все на гору и на коньках кататься. Ребята, девки — все нарядные и веселые. Дети очень веселились. Я каталась на коньках вяло...»

«Ездили мы на коньки к Лазарику, и брали Дрюшу и Мишу. Катались дети не долго», — запись примечательная, потому что открывает окошечко в конькобежную историю: в 1882 году выражение «к Лазарику» в Москве означало: «кататься на льду Петровки» — лучшего тогдашнего катка.

В письмах к Льву Николаевичу из Москвы в Ясную Поляну Софья Андреевна частенько вспоминает про раздольные катания:

«Нынче был чудный, морозный день, такой, в какие мы, бывало, на коньках по всему пруду катаемся. И так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слез грустила о том, что прошло, чем, бывало, тяготилась, и что теперь стало мило и дорого».

«Милым и дорогим» считала она катание на пруду, бег, помогающий забывать о возрасте, возвращающий хорошее настроение, отбрасывающий грусть...

Особенно подчеркивает Софья Андреевна то обстоятельство, что ей, уже 40-летней, профессор медицины рекомендовал заниматься спортом:

«Коньки не вредно, но не студиться, не падать, а главное, нервы, нервы и нервы беречь. На это налегал больше всего».

Почти в каждой весточке из Москвы в Ясную Поляну Софья Андреевна обязательно упоминает о коньках: то Лева к Лазарику после уроков отправляется, то Маша с Андрюшей едут на Патриаршие пруды, то был страшный снег, который все катки засыпал, но все равно дети были на Патриарших. «Сегодня читаю дома... корректуры до двух часов; потом везу всех на коньки...»; «Зав-

тра, если не будет метели, поеду со всеми моими детьми на коньки...»; «все дети здоровы и бодры. 15 градусов мороза, полили каток перед домом, но я не выпускаю меньших, боюсь...»; «Андрюша с Borel'ем были на Патриарших прудах, на коньках катались, а Миша ходил и ездил со мной; с большой болью, но я его наказала за две единицы и на коньки не пустила...»; «Сегодня рождение Миши, он позвал мальчиков в гости... но кататься не пришлось...»; «Ужасно много работаю. Дети уже по-масляничному взволновались балаганами, коньками...».

«Мы нынче с утра ушли с Ванечкой и няней в сад и пытались каток расчистить, чтоб Сашу подучить на коньках. Но посреди дня опять стало теплеть и пошла крупа, которую вихрем крутило по улицам, так что света божьего не видно...»; «Ходила с детьми кататься на коньках, боялась упасть, лед плохой; разметала снег с садовником и крестьянскими девочками и своими 3 детьми, учила Сашу в первый раз кататься на коньках...»; «Сегодня Саша нас напугала. Каталась в саду на коньках, и вижу я в окно, что она со всего размаха падает, не имея времени упасть безопасно. У ней подогнулась рука, она долго плакала, но потом прошло, и вечером они с Ванечкой уже отплясывали...»; «Третьего дня мы все с Сергеем Ивановичем (композитором С. И. Танеевым. — *А. Ю.*) катались на коньках в нашем саду, и Андрюша на Мишиных коньках, пока Миша учился... зажигали огарки в прорытых в снежных сугробах отверстиях — очень веселились дети...».

Мы привели здесь целую подборку из писем разных лет, чтобы подчеркнуть постоянство «коньковых» увлечений в семье Толстого, который любил говорить жене и детям: «Я... вел бы гигиенически правильную жизнь. Много бы был на возду-

хе, много бы делал движения...» Дети любили коньки особенно сильно наверное еще и потому, что любовь к бегу им привил сам Лев Николаевич, который, как утверждает Степан Андреевич Берс, брат Софьи Андреевны, проявлял инициативу в расчистке снега и в заливке льда.

На коньках он катался до самого преклонного возраста и всегда находил себе товарищей, партнеров. Иногда это были сыновья и дочери, а нередко и озорная сельская детвора.

«Я совсем здоров, сейчас с Левой и деревенскими мальчиками катался на коньках. И хорошо! Весь большой пруд, как зеркало. Отчего ты не катаешься? Я уверен, что это тебе было бы очень хорошо», — советовал он жене из Ясной Поляны.

А когда через несколько дней приехал в Москву, то увлек своим примером и Софью Андреевну.

Вот строки из московских дневников С. А. Толстой, запечатлевшие Льва Николаевича в декабрьские дни 1897 года. Писателю почти семьдесят лет, но в распорядке дня не последнее место, как и в молодости, занимают коньки:

«**20 декабря.** Лев Николаевич вчера ездил верхом в типографию, где печатается в «Журнале философии и психологии» его статья «Об искусстве». Вчера же он катался на коньках, а вечером мы с ним ходили на телеграф послать телеграмму его переводчику в Англию.

Он все бодрится, а я ему привела лошадь верховую, чего ему очень хотелось.

21 декабря.

Л. Н. сегодня утром у нас в саду разметал каток и катался на коньках; потом ездил верхом на Воробьевы горы и дальше. Ему что-то не работается».

А не писалось вот почему:

«Вчера получил анонимное письмо с угрозой

убийства, если к 1898 году не исправлюсь. Дается срок только до 1898 года. И жутко и хорошо... Бегаю на коньках. Признак не деятельного состояния духа, что ничего не записано» — так он сам фиксирует свое состояние 21 декабря.

Наверное, перо и впрямь будет вываливаться из рук, если тебе из неведомого села Смелого советуют: «Приготовьтесь, мол, к загробной жизни...» Но Толстой не падает духом, хотя ему и ничего не пишется, хотя прицепилась простуда, когда он пешком ходил через всю Москву из Хамовников на Николаевский вокзал (нынешнюю Комсомольскую площадь), хотя температура была минус 40,2 градуса; мужественный человек не показывал родным своих переживаний. Он лечился движением: катался на коньках и ездил верхом. Мне хотелось бы привести краткие выписки из дневников Софьи Андреевны тех зимних дней 1898 года, строчек, которые при всей своей отрывочности, лаконичности, конспективности, разрозненности и субъективности рисуют в совокупности неповторимую личность Толстого, стоявшего на пороге семидесятилетия. Хотелось так подобрать цитаты, чтобы, как в кино, когда неподвижные снимки на ленте начинают крутиться со скоростью 24 кадра в секунду, возникало движение. Оно, это движение, уже воспринимается глазом, изображение как бы оживает. Пусть и здесь оживут и заговорят скупые строки.

1898 год. 6 января. «Ездила на Патриаршие пруды кататься на коньках и много каталась с Маклаковым и Наташей Колокольцевой. Оттепель и шел дождь. Очень весело и здорово это катанье на коньках.

...Л. Н. невесел, потому что ему все еще не работается. Он тоже катался на коньках в каком-то приюте малолетних бесприютных детей...

...Л. Н. все читает материалы кавказской жизни, природы, всего, что касается Кавказа». (13 января Толстой записал в «Дневнике»: «Все пытаюсь найти удовлетворяющую форму «Хаджи-Мурата» и все нет».)

8 января. «Обедал Репин, просил тему для картины. Самому Л. Н. «не работается». Погода ужасная: ветер страшнейший, везде вода, больше, чем весной бывает в Москве; 3 градуса тепла и темнота... Л. Н. сейчас хотел проехаться верхом, но лошадь хромает, и он ушел пешком».

18 января. «Лев Николаевич чистил снег и поливал каток в саду и написал много писем. Он очень молчалив, необщителен и, верно, обидев меня, в письмах жалуется друзьям на меня же».

20 января. «...разметала снег в саду на катке; Лев Николаевич присоединился ко мне, и мы вместе мели снег, а потом он стал кататься на коньках, а я села играть и упражнялась часа полтора».

22 января. «Л. Н. гулял с Таниным черным пуделем по саду: каток его растаял».

26 января. «Сейчас Л. Н. пришел и говорит: «Пришел посидеть с тобой». Он мне показал две семифунтовые гири, которыми хочет делать гимнастику и которые купил сегодня. Он очень вял и все повторяет: «Точно мне 70 лет». А ему и так в августе, т. е. через полгода, будет 70 лет. Днем он катался на коньках, разметал снег. Но ему умственно не работается, а это его больше всего огорчает».

27 января. «Л. Н. катался на коньках и поправлял корректуры «Искусства».

28 января. «Л. Н. слишком усиленно разметал снег на катке и катался на коньках. Упражнения гирями тоже начались».

29 января. «Лев Николаевич весь день поправ-

лял корректуру статьи «Что такое искусство?». Сейчас вечер, он ходил с черным пуделем гулять, а теперь ест овсянку на воде и пьет чай».

31 января. «Л. Н. поправлял все утро корректуры «Искусства», потом усиленно чистил навалившийся снег с катка и, надев коньки, катался. Вечером он теперь охотно сидит с гостями, иногда уходит к себе почитать и отдохнуть».

1 февраля. «Преодолела свою лень и поехала на каток, где каталась Саша моя и Андрюша с Мишей, на Патриаршие пруды. Застала там всех и много знакомых. Потом приехали и мои старшие: Сережа и Таня. С большим удовольствием каталась на коньках...

Дети мои сначала конфузились, что я на коньках, особенно мальчики; но видя, как я незаметно и легко катаюсь, кажется, успокоились, и Андрюша даже прошелся со мной один круг.

Катанье меня все-таки утомило, и я спала после обеда, чего никогда не делаю...

...Несмотря на нездоровье, Л. Н. все-таки покатался в саду на коньках и погулял...»

12 февраля. «Вчера ходила пешком на Кузнецкий мост, вернувшись, вижу, что Л. Н. катается в саду на коньках. Я поскорей надела коньки и пошла с ним кататься. Но после Патриарших прудов в нашем саду все-таки тесно и невесело кататься. Л. Н. катается очень уверенно и хорошо; он стал опять бодрей и веселей.

...Никак не могу чувствовать себя старой. Все осталось молодо: и впечатлительность, и рвение к труду, и способность любви, огорчения, и страстность к музыке, и веселье катанья на коньках или вечера. И так же легка моя походка и здорово мое тело, только лицо постарело...»

14 февраля. «...ездили кататься на коньках: Таня, Саша, Лева, Дора...»

17 февраля. «Сегодня он много писал, не знаю что, он не говорит. Потом катался на коньках с сыном Левой». (В дневнике от 19 февраля Толстой писал: «За это время все исправлял и дополнял и портил последние главы об «Искусстве».)

23 февраля. «...застала Л. Н., расчищающего снег с катка в саду. Потом он катался на коньках и так устал, что проспал весь наш обед и обедал один. Он кончил корректуры и больше «Искусством» заниматься не будет. Хочет новую работу начать; впрочем, начатого очень много, какой-то будет конец этих начал!»

1 марта. «Л. Н. расчищал каток в саду с Иваном, потом катался немного и перед обедом ездил верхом... Писал письма и опять переправил кое-что и прибавил в свою статью «Что такое искусство?» по моему уже изданию».

4 марта. «Вечером проявляла фотографию Льва Николаевича на коньках. Вышло плохо».

8 марта. «Л. Н. ездил верхом к Гроту и к нам на Патриаршие пруды».

9 марта. «Вечером мне Л. Н. дал переписать свой рассказ «Хаджи-Мурат» из кавказской жизни, и я была очень, очень рада, писала усердно, несмотря на боль в правой руке... Л. Н. ездил верхом вечером к мисс Шанкс переводить на английский язык письмо, написанное им в Америку кому-то».

Почти всю зиму, пока окончательно не растаял его хамовнический каток, Лев Николаевич следил за льдом и усердно катался. Не хотел стареть человек.

И непременно возил с собой коньки, когда переезжал из Москвы в Ясную Поляну и обратно. Он с ними почти не разлучался. «Благодарю, Таня, за то, что прислала — все нужно. А нужно мне еще — ножницы и большие и маленькие, раз-

резной ножик, все книги запрещенные, на верхней полке в правом углу, и брошюра английская: японцы о политической экономии. Я приготовил ее взять с собой и забыл. Еще коньки», — просит он своих дочерей Татьяну и Марию выслать коньки. Они ему необходимы, потому что сохраняют здоровье, бодрость, хорошее настроение, творческую энергию. И когда дочери присылают коньки, то он лихо катается с яснополянскими мальчишками на пруду. Софья Андреевна, наблюдавшая за ним, в своем дневнике признается:

«Погода плохая, ветер, сыро, хотя 3 градуса мороза... ходили кататься на коньках. Весь пруд замерз без снега, и я жалею, что не взяла из Москвы свои коньки».

Одно из последних упоминаний о скольжении по «зеркалу стоячих вод» мы находим в дневнике С. А. Толстой за 8 ноября 1902 года:

«Вчера светило солнце, и мы все были оживлены... бодро катались на коньках...»

Было тогда Льву Николаевичу уже 74 года и, наверное, катался он, как всегда, старательно, а может быть, между ним и Софьей Андреевной и состоялся разговор, подобный тому, что был сорок лет назад и без которого мы не прочитали бы в «Анне Карениной»:

«— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе».

...Когда я последний раз был в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Москве, то на входной двери висела фотография: семидесятилетний Лев Николаевич стоит на коньках на льду, им самим залитом, рядом Илюша и Коля — дети повара Тол-

стых. Снимок сделан Софьей Андреевной. Правда, сама она по поводу этой фотографии сокрушалась: неудачная, мол, но мы так благодарны ей за остановленное мгновение, запечатлевшее 4 марта 1898 года. Снимок этот — самое красноречивое свидетельство верности и преданности Толстого прекрасному виду спорта.



«Две эти страсти не мешали...»

Все, кто хоть раз видел Льва Николаевича Толстого верхом на лошади, сходились во мнении: это был великолепный всадник! По собственным подсчетам самого Толстого, он провел в седле в общей сложности семь лет. Надо ли после такого признания удивляться его великолепному знанию коней и проникновенному их описанию в бессмертных литературных произведениях. Великий русский критик Владимир Васильевич Стасов восхищался конником Толстым.

«А как сядет верхом — настоящая картина!!! Я думаю, никогда он не был лучше, еще будучи артиллерийским прапорщиком или подпоручиком! — писал он о всаднике, которому было за 70 лет. — Стоит посмотреть еще, когда он только садится на лошадь и заносит ногу через седло. Но как только сел, просто чудо что такое! Соберется весь, ноги точно слились с лошадью, телом — сущий центавр, наклонит немножко голову, — а лошадь, его отличный серый жеребчик, так и пляшет, так и стучит под ним ногами, словно муха, которая передними ножками умывается и обтира-

ется поверх маленькой круглой своей головки, или же вытягивает две задние, сводит их вместе, и потирает одну об другую, вот точь-в-точь как и мы, каждый, потираем свою ладонь о ладонь, когда приятно, весело, что-то хорошее сказал или написал, и внутри что-то прыгает и мечется. Да, тут Лев становится картиной, и я ему три раза повторял, что «ах ты, беда какая, зачем я лепить не умею, а то бы непременно вас вылепил, тотчас-тотчас...»

Лошадей Толстой любил с того самого дня, как помнил себя. Глубоким стариком, беседуя о декабристах, он сказал врачу Душану Маковицкому: «Они, как и мы, через нянь, кучеров, охотников полюбили народ».

Работая над рассказом «Старая лошадь», Лев Николаевич припоминал, как он мальчиком уселся верхом на старую кобылку, которая уже устала, катая его братьев. А ребенок, не понимая этого, бил ее хлыстом, понукая бежать. «Ах, сударь, жалости в вас нет», — сказал ему крепостной, приставленный для ухода и надзора над мальчиком. Ребенок сразу спрыгнул с лошади, стыдясь своей непреднамеренной жестокости, бросил хлыст и стал целовать лошадь в потную шею, прося у нее прощения.

Были у Толстых четыре выездные лошади, и каждую из них мальчик изучил до «мельчайших подробностей и оттенков свойств», позднее он написал об этом в своей трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Кстати, как в первых повестях, так и в «Воспоминаниях», начатых в конце XIX века, Толстой особенно подчеркивал необъяснимую прелесть запахов лошадей. В третьей, предпоследней редакции «Детства» 23-летний Лев Николаевич спрашивал:

«Отчего, сколько я теперь не принюхиваюсь к запаху лошадей, этот запах совсем не имеет для меня того значения и прелести, которые имел в детстве?»

Ту же мысль высказывал и 77-летний Толстой, описывая поездку с братьями в деревню Грумант:

«Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут пóтом так, как никогда уже после не пахли».

А настоящее обучение мальчика мастерству верховой езды началось в Москве, куда семья Толстых переехала 10 января 1837 года. «Смутно помню эту первую зиму в Москве», — признавался Толстой в конспекте ненаписанной части воспоминаний. А вот первые уроки верховой езды он помнил отчетливо:

«Когда я был маленький, мы каждый день учились, только по воскресеньям и по праздникам ходили гулять и играли с братьями. Один раз батюшка сказал:

— Надо старшим детям учиться ездить верхом. Послать их в манеж.

Я был меньше всех братьев и спросил:

— А мне можно учиться?

Батюшка сказал:

— Ты упадешь.

Я стал просить его, чтоб меня тоже учили, и чуть не заплакал.

Батюшка сказал:

— Ну, хорошо, и тебя тоже. Только смотри не плачь, когда упадешь. Кто ни разу не упадет с лошади, не выучится верхом ездить.

Когда пришла середа, нас троих повезли в манеж. Мы вошли на большое крыльцо, а с большого крыльца прошли на маленькое крылечко. А под крылечком была очень большая комната. В ком-

нате вместо пола был песок. И по этой комнате ездили верхом господа и барыни и такие же мальчики, как мы. Это и был манеж...

Потом привели трех оседланных лошадей: мы сняли шинели и сошли по лестнице вниз в манеж, берейтор держал лошадь за корду*, а братья ездили кругом него.

Сначала они ездили шагом, потом рысью. Потом привели маленькую лошадку. Она была рыжая, и хвост у нее был обрезан. Ее звали Червончик. Берейтор засмеялся и сказал мне:

— Ну, кавалер, садитесь.

Я и обрадовался, и боялся, и старался так сделать, чтоб никто этого не заметил. Я долго старался попасть ногою в стремя, но никак не мог, потому что я был слишком мал. Тогда берейтор поднял меня на руки и посадил. Он сказал:

— Не тяжел барин, — фунта два, больше не будет.

Он сначала держал меня за руку, но я видел, что братьев не держали, и просил, чтобы меня отпустили. Он сказал:

— А не боитесь?

Я очень боялся, но сказал, что не боюсь. Боялся я больше оттого, что Червончик все поджимал уши. Я думал, что он на меня сердится. Берейтор сказал:

— Ну, смотрите ж, не падайте! — и пустил меня.

Сначала Червончик ходил шагом, и я держался прямо. Но седло было скользкое, и я боялся свернуться.

Берейтор меня спросил:

— Ну, что, утвердились?

---

* Корда — веревка для того, чтобы по кругу гонять лошадей. (Примечание Л. Н. Толстого.)

Я ему сказал:

— Утвердился.

— Ну, теперь рысцой!

Червончик пробежал маленькой рысью, и меня стало подкидывать. Но я все молчал и старался не свернуться на бок. Берейтор меня похвалил:

— Ай да кавалер, хорошо!

Я был очень этому рад.

В это время к берейтору подошел его товарищ и стал с ним разговаривать, и берейтор перестал смотреть на меня.

Только вдруг я почувствовал, что свернулся немножко набок с седла. Я хотел поправиться, но никак не мог. Я хотел закричать берейтору, чтоб он остановил; но думал, что будет стыдно, если я это сделаю, и молчал. Берейтор не смотрел на меня. Червончик все бежал рысью, и я еще больше сбился на бок. Я посмотрел на берейтора и думал, что он поможет мне; а он все разговаривал со своим товарищем и, не глядя на меня, приговаривал:

— Молодец, кавалер!

Я уже совсем был на боку и очень испугался. Я думал, что я пропал. Но кричать мне стыдно было. Червончик тряхнул меня еще раз, и я совсем соскользнул и упал на землю. Тогда Червончик остановился, берейтор оглянулся и увидел, что на Червончике меня нет. Он сказал:

— Вот-те на! Свалился кавалер мой, — и подошел ко мне. Когда я ему сказал, что не ушибся, он засмеялся и сказал:

— Детское тело мягкое.

А мне хотелось плакать. Я попросил, чтобы меня опять посадили; и меня посадили. И я уж больше не падал.

Так мы ездили в манеже два раза в неделю, и я скоро выучился ездить хорошо и ничего не боялся».

«И ничего не боялся» — запомним эти слова, потому что нам предстоит сразу перенестись в станицу Старогладковскую, в которой во время военной службы на Кавказе жил фейерверкер 3-го класса Лев Толстой. «Король репортеров» Владимир Гиляровский записал в конце прошлого века воспоминания жителя станицы К. Синюхаева, в которых есть такое свидетельство:

«У Толстого на конюшне были очень хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он по станице и скачет... Вот джигит был».

20-я артиллерийская бригада, в которой служил Толстой, расположилась как-то в районе аула Старый Юрт. Сюда в гости к офицерам стал приходить молодой чеченец Садо Мисербиев. Ему нравилось играть в карты, но Лев Николаевич отказывался садиться играть против него, потому что Садо не умел считать. А когда офицеры обиделись на Толстого, якобы за нарушение «дружбы», он предложил играть вместо Садо и считать за него. «Потом Садо подарил Льву Николаевичу оружие, а Л. Н. ему лошадь и они стали самыми лучшими друзьями», — так со слов мужа писала Софья Андреевна в «Материалах к биографии Л. Н. Толстого и сведениях о семействе Толстых». По другим данным, Лев Николаевич подарил Садо свои часы — большую редкость по тем временам. В свою очередь, когда у Толстого заболела лошадь, Садо отдал ему свою.

А брат Софьи Андреевны Степан Берс утверждает, что «Садо купил молодую лошадь. Испытав ее, он предоставил ее своему другу Л. Н-чу, а сам пересел на его иноходца, который, как известно, не умеет скакать».

Сейчас невозможно выяснить, как было на са-

мом деле, но абсолютно достоверно одно: в июне 1853 года они ехали из укрепления Воздвиженского в крепость Грозную. Поскольку колонна шла медленно, несколько человек — среди них, разумеется, Толстой и Садо — поскакали вперед. Тут-то их — между Хан-Кале и Грозненской башней — попытались взять в плен 25 чеченцев, стремительно вырвавшихся из-за уступа. «Не успев, по расчету времени, безнаказанно спуститься обратно, Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, — рассказывал очевидец событий Владимир Полторацкий, впоследствии генерал-майор, — а сам с Садо бросился в карьер по гребню уступа к крепости».

В этот момент Лев Николаевич, «имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Садо, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьем, но, как на беду, оно не было заряжено, — читаем мы в воспоминаниях Степана Берса. — Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Садо для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к Грозной, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу».

Трудные версты погони стали испытанием мужской дружбы и высоко подняли авторитет Толстого в глазах окружающих — офицеров и местных жителей, которые высоко чтили человека, не бросившего друга в беде.

Подробности этого эпизода можно позднее найти в «Кавказском пленнике», а в дневнике Льва Николаевича появилась фраза:

«Едва не попал в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно».

Последние слова нуждаются в комментарии: Толстой недоволен собой за то, что после избавления от опасности пленения при встрече со своими казаками проявил слишком неумеренную, по его мнению, радость...

Не раз видав смерть рядом с собой, чудом спасшись в тот момент, когда ядро неприятеля ударило в колесо пушки, которую наводил фейерверкер Толстой, счастливо избежав плена, начинающий писатель получил бесценный жизненный материал.

В перерывах между «набегами» и «рубкой леса» — этими военными занятиями, которые дадут названия первым его произведениям, Толстой с упоением и азартом «оттачивал перо», работая одновременно над несколькими вещами — «Отрочеством», «Записками кавказского офицера», «Романом русского помещика» и «Беглецом», как он первоначально думал озаглавить «Казаков». На войне Толстой ощутил себя пылинкой великой природы. Эти мысли он подарит своему герою в «Казаках».

«Около меня, — думал Оленин, — пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него».

На кавказской войне Толстой не разлучался с лошадью — она была с ним и в жаркие дни стычек с неприятелем, и в тихие часы, когда гнедая уносила его, как и Дмитрия Оленина, навстречу дикой природе и миллионам комаров, летящих на него с жужжанием: «Вот кого можно есть!»

Читая «Казаков», мы верим Толстому, который говорит от имени комаров — тоже пылинок природы. А уж как не верить ему, когда он ведет рассказ от имени лошади. Разумеется, мы понимаем, что в «Холстомере» речь идет о человеческой жестокости, неблагодарности, а ужасная судьба лошади — тот фон, который высвечивает людскую несправедливость. Невозможно без слез читать этот трагический и строгий рассказ, а закрывая последнюю страницу, нельзя физически не ощутить, что ты и сам изменился — стал добрее, чище. Мысль о создании «Холстомера» — повести, еще не имевшей этого названия, родилась 31 марта 1856 года, когда Толстой зафиксировал идею одной строкой: «Хочется писать историю лошади». Приступит он к работе лишь в 1861 году, пять лет будет вынашивать план, собирать материал, реализуя сюжет, любезно подсказанный ему М. Стаховичем. А закончит он повесть лишь в 1885 году, следовательно, через 29 лет. Работа над «Холстомером» шла постоянно. Так, 3 марта 1863 года Толстой отметил в дневнике:

«Мерин» не пишется — фальшиво. А изменить не умею. Все, все, что делают люди, — делают по требованиям всей природы. А ум только подделывает под каждый поступок свои мнимые причины... Шахматная игра ума идет независимо от жизни, а жизнь от нее. Единственное влияние есть только склад, который от такого упражнения получает натура. Воспитывать можно

только физически... в «Мерине» все нейдет, кроме сцены с кучером сеченым и бега».

Через два месяца он доверительно сообщал в письме к А. Фету: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Афанасий Афанасьевич откликнулся на это шутливым стихотворным пожеланием:

Пишите мерина, и Ваш мерин, я уверен,
будет, будет беспримерен.

Создавая «Холстомера», Лев Николаевич как бы переродился в «лошадь». Правда, с легкой руки Ивана Сергеевича Тургенева это выражение стало расхожим (хотя сам Тургенев не мог прочитать «Холстомера», напечатанного через три года после его смерти). Тургенев делился с литератором С. Кривенко своими впечатлениями от Толстого, каким он был в пятидесятые годы:

«Мы гуляли с Толстым «летом в деревне» по выгону недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы; старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и между прочим приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью». «Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади».

В иппической литературе — книгах о лошадях — произведения Толстого занимают особое место. Известный коннозаводчик и коллекционер

картин на конные темы Яков Иванович Бутович оставил после себя рукопись «О «Холстомере», которая хранится в архиве Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Бутович считал, что столь долгая работа над «Холстомером» и нежелание Толстого сразу печатать эту вещь объясняется не только тем, что «Мерин» откладывался в сторону, когда писалась «Война и мир», но и тем, что сюжет повести все-таки был заимствован Толстым. Князь Д. Оболенский утверждал:

«Я как теперь помню, как-то Л. Н. Толстой в отъезжем поле в избе мне рассказывал, что он написал фантастический рассказ: «Историю одной лошади», и на мой вопрос: почему же он не напечатает этого рассказа — гр. Л. Н. ответил: «Да, я не люблю фантастическое, да и сюжет мне сообщил Стахович. Рассказ этот появится после моей смерти, вероятно». Это был ныне уже появившийся на свет божий «Холстомер», но тогда Л. Н. рассказывал его немного иначе...»

Опубликованная в III томе 5-го издания Собрания сочинений Л. Толстого в 1886 году, повесть «Холстомер» имела неописуемо бурный успех. Художник Николай Егорович Сверчков откликнулся на нее картинами, написав два акварельных портрета Холстомера, которые были посланы в подарок писателю. Татьяна Львовна Толстая рассказывает:

«Как-то зимой в наш дом, в Москве, принесли посылку для Льва Николаевича. Он поручил мне ее распечатать. Помню свое чувство восхищения при виде двух прекрасно исполненных акварелей... Я, разумеется, сразу догадалась, что это изображение Холстомера в молодости и старости. Также нетрудно было угадать, что так мастерски написать лошадь в России может только один Сверчков».

Дочь Толстого имела моральное право судить о качестве картин, потому что сама была художницей, ученицей великого Ильи Репина...

Популяризатор конного спорта, писатель и наездник Дмитрий Урнов подготовил к печати рукопись Я. Бутовича, в которой признанный авторитет коннозаводства, разбирая «Холстомера», подтвердил «профессиональную непогрешимость» Толстого. Конник отыскал в «Холстомере» множество оттенков, неискушенному читателю незаметных, однако обличающих (как выразился Бутович), насколько в самом деле Толстой был и лошадником и... «лошадью». Тут и понимание экстерьера, и приемов езды, и конюшенного быта, словом, «глубокий коннозаводский смысл». Но не мог специалист не заметить в «Холстомере» и довольно большого числа смещений, погрешностей против конного профессионализма. Знаток, конечно, увидел все это, однако он доказал свой критический такт, сделав в этом месте паузу, как бы подчеркивая, что здесь речь о художественном произведении заканчивается, а дальше идет узкоспециальный разговор.

Ведь Толстой все знал, а неточности, «погрешности» не по неведению возникли. Черновики показывают, как эти неточности и профессиональные промахи были тщательным образом допущены, отработаны.

Говоря об описании пегого мерина, который получил свое прозвище за размашистую рысь («бежит, словно расстеленные для просушки домотканые холсты саженями меряет»), Бутович отмечает, что Толстой «обнаруживает точное знание экстерьера лошади и в метких, ярких и, что самое главное, верных выражениях рисует нам облик этой замечательной лошади. Наряду с высокохудожественным образом старого пегого

мерина Толстой дает бесподобное описание рысистой лошади вообще и в заключение говорит о том, что только одна порода в России могла наделить эту лошадь такими исключительно высокими качествами, и подразумевает при этом орловскую породу лошадей.

...Рысистое коннозаводство должно гордиться тем, что прародителя всех конных заводов, знаменитого Холстомера, воспел в своей повести Лев Николаевич Толстой».

Когда я впервые прочитал «Анну Каренину», то возненавидел Вронского. Помните, как он «с изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущейся нижней челюстью... ударил» погибающую кобылу Фру-Фру «каблуком в живот и опять стал тянуть поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом».

Не могу забыть детское восприятие этой сцены, как я тогда проникся предчувствием, что этот Вронский станет причиной гибели Анны. Да, Вронский жесток, потому что нет в нем человечности, потому что он сам стал виновником гибели лошади и это же несчастное животное бьет каблуком в живот...

А о том, что невозможно сломать спину лошади так, как описано Толстым, я узнал недавно, присутствуя на тренировке конников и став свидетелем такого разговора:

— Сиди увереннее, не поднимайся, — советовал судья всесоюзной категории Борис Борисович Нахутин своему молодому другу — начинающему наезднику.

— А если я сломаю спину? — спросил дебютант. — Не себе, а лошади. Как у Толстого, в «Анне»?..

— Так в жизни не бывает, — резко бросил

Нахутин. — Ты знаешь, сколько у лошади сросшихся позвонков в том месте, где мы кладем седло? Четыре! Чтобы сломать их, нужен домкрат такой мощности... такой мощности... — тренер не мог найти сравнения и махнул рукой: — А литературу читай, но проверяй...

Не удалось мне в тот день поговорить с Борисом Борисовичем и узнать, откуда у него такая уверенность в том, что Толстой ошибся, что за ним, писателем, который, возможно, был «лошадью», нужно проверять и перепроверять...

Открыв «Анну Каренину», я начал лихорадочно и придирчиво перечитывать знакомый текст. И происходило чудо: чем внимательнее вчитывался, тем более попадал под гипноз Толстого. Как точно подметил он состояние всадника и лошади накануне старта:

«Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь», — советует тренер Вронскому.

Но тот, не обращая внимания на предупреждение, идет взглянуть на Фру-Фру... Во временной конюшне, балагане из досок, построенном рядом с «гипподромом» (так во времена Толстого писали слово «ипподром»), неподалеку от денника Фру-Фру стоял главный соперник Вронского — «рыжий пятивершковый Гладиатор Махотина. Еще более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиатора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время, когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого

письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру».

«— С препятствиями все дело в езде и в pluck, — сказал англичанин.

Pluck, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого pluck больше, чем у него.

— А вы верно знаете, что не нужно было *большего потнения?*

— Не нужно, — ответил англичанин. — Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, — прибавил он, кивая головою на запертый денник, перед которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе».

А дальше идет лучшее, по мнению специалистов, описание лошади в существующей литературе:

«Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и втянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество было *кровь,* та кровь, которая *сказывается,* по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под

сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого».

Читал, перечитывал я «Анну Каренину», снова и снова, теперь уже, как под микроскопом, замедлял движение, прибегал к «стоп-кадру» — и, убежденный Толстым, соглашался с его трактовкой скачек:

«Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и, оттолкнувшись от земли, отдалась силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву; и в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку...»

Как зримо все это написано, — нетрудно представить себя сидящим на Фру-Фру и галопом едущим от препятствия к препятствию... Лев Николаевич, создавая эту картину, разумеется, видел себя на Фру-Фру и одновременно чувствовал себя лошадью, то есть Фру-Фру, несущей на хребте своем всадника...

Для меня было неожиданностью, когда в воспоминаниях Сергея Львовича — старшего сына писателя — натолкнулся я на фразу, в которой утверждалось, что Лев Николаевич «ни разу в жизни не был на скачках».

А потом, придирчиво перечитывая воспоминания «лошадников», нашел и в воспоминаниях тульского помещика, коннозаводчика Д. Оболенского косвенное подтверждение свидетельства Сергея Львовича.

«Как конский охотник и любитель скачек я сообщал много подробностей, — говорит Оболенский. — Между прочим, я передал Льву Николаевичу подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину».

Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д. Б. Голицыным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А. Д. Милютина».

Чтобы разобраться в существе вопроса, я обратился за разъяснениями к Дмитрию Урнову.

— Был ли Толстой на скачках или не был — столь ли это важная проблема? — спросил меня писатель-наездник, энциклопедист иппической литературы, и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Лев Николаевич описывает скачки так мастерски, как никому еще не удавалось, и неизвестно, когда еще удастся.

А вспомните, как он рисует рывок на финише. Толстой говорит о лошади: «как птица». Современный писатель прибегнет в том же случае, положим, к самолету или, возможно, вспомнит ракету. Нарастание скорости по дистанции Толстой передает спокойно: свистнул кнут, шире ход, копыта бьют в железо передка. Толстой, как если бы в самом деле он «был лошадью», знает изнутри, как это — «все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег под передок, я еду». Соединяя профессионализм спортивный с писательским, следит он за скачкой, отмечая, когда у лошади потемнело плечо от пота

и как от посыла она прижала уши. Он знает, он видит, ему хватает слов и не требуется «как». Однако перед последним барьером, на прямой, успевая тем же точным внутренним постижением ухватить предельную струну скачки, зная если не по скаковой дорожке, то по охотничьим погоням, как лошадь на полном галопе приникает к земле, зная в особенности, что, когда кажется, что неподвижно висишь вместе с лошадью в воздухе, — это пейс! — зная и успевая до этой минуты, Толстой вдруг перед последним барьером мешкает и, уже не чувствуя последнего броска ни за лошадь, ни за ездока, говорит «как птица».

Толстой не подслушал со стороны, а знал практически и профессионально те наставления, какие в «Анне Карениной» англичанин-тренер высказывает перед скачкой Вронскому: «Не торопитесь и помните одно: не задерживайте у препятствий и посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет». И уж, конечно, известно было Толстому, как можно упасть, покалечиться, покалечить или даже убить лошадь; лошадь может сломать ногу, спину, но только не от едва заметного прикосновения всадника к седлу, как это описано в «Анне Карениной»: «Не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное непростительное движение, опустившись на седло». Этим-то неловким движением, пишет чуть дальше Толстой, Вронский и сломал спину своей Фру-Фру. Кто со щемящим сердцем не читал этих строк! Один спортсмен мне признался, что эти строки испортили ему полжизни: начиная в молодые годы ездить, он больше всего боялся допустить то же «непростительное движение» и только со временем узнал — так не бывает!

Надо пережить или хотя бы наблюдать все-

возможные перипетии верховой езды — на прыжках, на кроссе, в поле, в лесу или в горах, то есть когда приходится принимать в седле самые невероятные позы и причинять лошади бог знает какие неудобства, — чтобы убедиться, насколько невозможно описанное Толстым. Четыре неподвижно сросшихся позвонка в седловине, площадь седла, а кроме того, фактура, так сказать, и опять же площадь седалища не позволят произвести такого разрушительного эффекта. Однако ради романтизма скачек, чтобы передать, насколько это полет и поэзия, Толстой сделал Фру-Фру неправдоподобно хрупкой.

В книге М. Иванова «Возникновение и развитие конного спорта» воспроизведена картина того Красносельского стипль-чеза 9 июля 1872 года, который описан в «Анне Карениной». На старт вышли двадцать семь офицеров, из них восемнадцать упали на дистанции. Восемь упавших все-таки сумели продолжать скачку. Двое сошли с круга. В итоге финишировали пятнадцать человек. Среди упавших был и князь Голицын; с него Толстой в данном случае «списал» Вронского.

Итак, было падение. Каких только падений не случается! Чего не бывает! Но такого, как в «Анне Карениной», уж точно не бывает. И Толстой безусловно знал это.

В ранних вариантах романа было иначе, достовернее. Там, когда Вронский был еще Балашевым, Анна звалась Татьяной, а Фру-Фру на английский манер Tiny, не человек ошибался, а оступалась на краю канавы перед препятствием лошадь. Толстой достоверно описал... что рассказывал ему в подробностях Оболенский, — «копыто, отворотив дернину, осунулось...»

Так вот, оказывается, до какой степени Толстой «был лошадью»! Все знал, все до тонко-

стей понимал и потому мог позволить себе артистически преобразить факт — знаток это видит и не видит, это ему, во всяком случае, не мешает, потому что с истинным знанием сделано преображение, даже искажение, оно не случайно.

Из всех спортивных увлечений Льва Николаевича страсть к верховой езде нашла наиболее яркое и полное художественное воплощение в его произведениях. Это и понятно, ведь любовь к лошадям была столь сильной, что отступала, может быть, только перед литературным трудом. Но, если воспользоваться выражением самого же Толстого из «Анны Карениной», можно смело сказать: «две эти страсти не мешали», больше того — каждая из них была необыкновенно важна.

В книге «Моя жизнь», рассказывая о первых днях знакомства с Толстым, Софья Андреевна вспоминает:

«На другой же день нашего пребывания в Ивицах (имении деда С. А. Берс. — *А. Ю.*) неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Он проехал 50 верст и приехал бодрый, веселый и возбужденный...»

Последний раз она увидит своего мужа садящимся на коня 27 октября 1910 года, за один день до его ухода из Ясной Поляны. Между двумя датами почти полвека — 48 лет... «Проехал 50 верст и приехал бодрый, веселый, жизнерадостный» — больше тысячи раз в различных вариантах встречается эта фраза в дневниках и ежедневниках Софьи Андреевны. Иногда жена пишет о верховой езде с восхищением и удивлением. Так, 7 октября 1910 года — за месяц до смерти Льва Николаевича — она отмечает:

«...Среди дня Лев Ник. ездил верхом довольно долго и так легко и ловко вскочил на лошадь, что я удивилась».

А всего восемь дней назад тон был совершенно другой:

«Несмотря на физическое недомогание, Лев Ник. поехал с глупым Душаном верхом и долго ездил по лесам и оврагам. Говорю: глупым, потому что на то держат доктора, чтоб он следил за состоянием здоровья Л. Н-а и не допускал его делать неразумное. Опять ледяной ветер и солнце...»

Через три дня — новая тревога:

«Утром Лев Ник. гулял, потом не долго ездил верхом, весь окоченел, ноги застыли, и, чувствуя себя ослабевшим, он даже не снял холодных сапог, повалился на постель и заснул».

И еще через три дня — очередные волнения:

«Походил немного утром; потом пошел было и днем гулять, но потянуло его к обычной верховой езде, и он тихонько от меня уехал верхом с Булгаковым, что очень меня встревожило».

Раздражения в ее заметках о верховой езде все же больше, чем признания полезности этого моциона.

«Третьего дня ему лошадь наступила на ногу. Как он испугался вечером боли, как охал, не спал, растирал, клал компрессы, смотрел температуру — видно, очень испугался, а вышло ровно ничего, он уже опять бодро бегает и ездит верхом», — эта запись тех дней, когда Толстой был на пороге своего 60-летия.

К тому же времени относится и признание ее на страницах дневника:

«...Вчера достигла моя тоска до последних пределов, и мы решили ехать в Ясную. Был очень сильный ветер, Лев Николаевич все 35 верст проехал верхом, бодро и весело, а я ехала в розвальнях и так беспокоилась о нем, как давно не беспокоилась. Так ничтожны мне показались на свете все другие интересы, привязанности, фан-

тазии мои перед страхом простуды, болезни и возможности потерять мужа!

...таким мне показалась Ясная Поляна раем перед Пироговом!..»

«Беспокоилась... волновалась... боялась... опасалась...» — эти глаголы сопровождают почти все записи, относящиеся к верховой езде Льва Николаевича. А постоянная — почти полувековая — тревога Софьи Андреевны объяснялась тем, что она на всю жизнь запомнила 23 сентября 1864 года, когда ее муж поехал верхом к соседу Бибикову, а за ним увязались две борзые. Ехал Лев Николаевич на молодой лошади Машке, ехал не на охоту, прогуляться, но вдруг увидел зайца. Взыграл в Толстом охотничий инстинкт, он увлекся и... спустил борзых.

«Ату его!» — закричал он и поскакал за русаком, — рассказывает старшая дочь Толстого. — Машка, непривычная еще к охоте и очень горячая, пустилась вскачь во весь дух за зайцем и собаками.

На пути попалась глубокая рытвина. Машка не сумела ее перепрыгнуть, споткнулась и упала на оба колена. Не справившись, она всей своей тяжестью упала на бок. Отец упал вместе с лошадью. Рука его попала под лошадь, которая придавила ее всей своей тяжестью. Не успел отец опомниться, как Машка вскочила и, оставив своего седока в рытвине, ускакала домой. С невыносимой болью в руке, почти в бессознательном состоянии, выкарабкался отец на гладкое место.

...Он рассказывал потом, что в это время он был почти без памяти: ему казалось, что все было очень, очень давно. Казалось, что когда-то, очень давно, он ехал верхом, когда-то травил зайца и когда-то упал с лошади. Все это было давно, давно...

С трудом прошел он версту, пока не дошел до шоссе. Там силы его покинули, он почувствовал себя плохо и лег на землю у дороги».

Толстой лежал на студеной земле в полузабытьи. Наконец какой-то прохожий увидел его:

— Неужто яснополянский граф?..

Лев Николаевич боялся, что своим ужасным видом он испугает беременную жену, и попросил отвезти его в деревенскую избу. Бабка Акулина — знаменитая тульская искусница, мастерица «вправлять руку» — не смогла помочь Льву Николаевичу. Пришлось ехать за врачом в Тулу, но и медицина оказалась бессильной — восемь раз доктор пытался «вправить руку», крутил и вертел ее, но так и не сумел уменьшить боль...

Почти два месяца Толстой страдал после падения с лошади и с лошадью — Толстой, как и Пушкин, обязательно подчеркивал это обстоятельство: лошадь упала, молодая, азартная, она, мол, виновата, а не всадник, который стал ее жертвой... Лишь операция в Москве под общим наркозом, когда ему выламывали неправильное сращение, спасла руку незадачливому коннику...

В начале 1865 года Лев Николаевич написал своему товарищу Афанасию Фету шутливое по форме, но серьезное по содержанию послание:

«А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и ломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я — литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор».

Здесь Толстой не скромничает и не кокетничает, он прекрасно понимает, что он литератор, да еще какой! Он знает себе цену, но подчеркивает свою непричастность к различным литературным течениям, кружкам, он литератор сам по себе, милостью божьей...

Падение с лошади не помешало его увлечению верховой ездой. Едва оправившись, он снова садится в седло — и... «ездил верхом...», «ездил по метели...», «выехал рано в поле...» — таких упоминаний в дневнике и почте Толстого — тысячи. Ведь не случайно он сам приблизительно подсчитал дни, проведенные в седле, и сказал: «Больше трех тысяч раз», а это и есть семь лет...

Когда он был молодым, то Софью Андреевну вынудили смириться с «верховой страстью» рекомендации профессора Г. А. Захарьина, который посоветовал Толстому для укрепления здоровья чаще ездить верхом. Домашний учитель детей Льва Николаевича Василий Алексеев вспоминает о наставлениях знаменитого московского доктора:

«Для зимы, чтобы не простудиться, советовал сшить костюм вроде широкой юбки из сукна на вате или на меху и такую же куртку, плотно застегивающуюся на груди; для ног из такого же материала — что-то вроде чулок. Лев Николаевич на это сказал:

— Зачем же стараться выдумывать какой-то новый костюм, когда у нас есть гораздо лучше, а именно: полушубок и валенки.

Захарьин на это ничего не мог возразить ему».

Свою любовь к быстрой езде Лев Николаевич передал детям, которые с малолетства прекрасно умели управляться с лошадьми. Старший сын писателя — Сергей Львович свидетельствует:

«Хотя мне было только 8 лет с небольшим, я уже ездил верхом, и меня также взяли на охоту. Лошадь мне дали смирную, но довольно высокую, которую звали по ее происхождению — Каширский. Отец приучал меня, а затем и моих братьев, с малых лет ездить верхом без седла и без стремян, чтобы привыкнуть держать равновесие. Он

имел также в виду, что падение с неоседланной лошади менее опасно. Итак, я поехал на одном только потнике, подвязанном ремнем».

Лев Николаевич сам научил своих сыновей и дочерей искусству выездки, он старался передать детям свои знания конского дела. Стараясь увлечь молодое поколение, он устраивал скачки, когда жил в самарском имении. Об одном из таких состязаний, задуманных отцом, сохранилось воспоминание Сергея Львовича, которое относится к 1875 году:

«В конце лета отец оповестил башкир и жителей русских сел, что 6 августа, в день его именин, — скачки. 50 верст. Призы: бычок, ружье, часы, башкирский халат и пр.

Перед скачками отец предложил желающим бороться и тянуться на палке. Начали состязание я и мой сверстник, сын соседского арендатора, Тимрот. Он меня поборол, что меня жестоко огорчило. На палке тянутся так: борющиеся садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся оба руками за палку и стараются поднять друг друга. Отец всех перетянул, кроме толстого земского, старшины; он не мог его поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов.

На ровном месте, в степи, глубокой вспашкой была намечена окружность в пять верст».

Эту дистанцию всадникам нужно было пройти 10 раз. Стартовали 32 лошади, среди которых была одна принадлежащая Толстым, пять лошадей кровных и полукровных, а остальные кобылы — башкирские и киргизские. Жокеями были мальчики-подростки.

«Мальчики сидели на лошадях без седел, — читаем мы в «Отрочестве Тани Толстой». — На голове каждого был повязан платок яркого цвета,

синего, красного, желтого, пестрого, для того, чтобы можно было отличить одного от другого. ...Толпа заражалась волнением детей и начинала тоже гудеть каждый раз, как мимо нее проскакивали бешеные лошади.

...Из всех скакавших лошадей пришло к финишу меньше половины.

Возбужденные, радостные мальчики получили призы и тут же передали их своим отцам.

Между скакавшими лошадьми была и одна наша лошадь. Она пришла пятой.

Все благодарили папá за доставленное удовольствие. И долго после по всей окрестности поминали веселые скачки на графском хуторе».

Непререкаемый авторитет в коннозаводческом искусстве, Яков Бутович в своих уже цитированных нами заметках «О «Холстомере» упоминает о том, что Лев Николаевич держал в своем самарском имении «большой косяк кобыл, жеребцов, для которого лично покупал у знакомых коннозаводчиков и в Москве, и об одной такой покупке я сообщу... со слов кн. Д. Д. Оболенского, стараясь по возможности точно передать рассказ князя так, как он мне его когда-то сообщил.

Однажды зимой в Москве Л. Н. Толстой зашел утром к кн. Д. Д. Оболенскому в гостиницу «Дрезден» и просил князя посмотреть и высказать свое мнение о рысистом жеребце, которого Толстой облюбовал для своего самарского имения, где заводил тогда большой косяк кобыл. Толстой стал описывать формы жеребца, подчеркнул, что он вороной масти, очень густых и капитальных форм, имеет волнистую гриву и такой же хвост, словом, так жизненно и ярко описал на словах виденную им лошадь, что она как живая представилась в воображении Оболенского! Князь говорил мне, что Толстой так увлекся, описы-

вая ему формы жеребца, и так их ярко и красиво описал, что у Оболенского невольно родилось представление о том, что эта лошадь, вероятно, происходит из знаменитого Синявинского завода и породы его Ларчика... Жеребец оказался... действительно сыном знаменитого хреновского Ларчика. «Однако вы знаток», — сказал Толстой Оболенскому, просматривая аттестат, и тут же купил лошадь. Не отрицая глубоких познаний в лошади кн. Оболенского, мы от себя позволим добавить, что, конечно, надо было быть Толстым, чтобы так описать лошадь, дабы она не только как живая предстала в воображении Оболенского, но и это описание позволило князю угадать ее происхождение!»

Толстой был великолепным знатоком лошадей. Как-то он шел с профессором Московского университета С. Н. Трубецким и увидел коляску на резиновых шинах, в которую были запряжены прекрасные лошади. Лев Николаевич, пристально вглядевшись, вдруг заметил:

— А левая немножко треножит.

Уже в преклонном возрасте Толстой стал ездить на молодой лошади и, решив сам обучать ее разным способам езды, тренировал галоп с правой ноги.

Музыкант А. Гольденвейзер, наблюдавший это занятие, поинтересовался, как приучить лошадь начинать движение с той или другой ноги.

Толстой подробно объяснил, сопровождая рассказ показом различных технических деталей. А в конце объяснений, как это часто бывало с ним, от «лошадиной» темы перешел к философским обобщениям:

«Раз лошадь начала с известной ноги, следующий раз ей уже хочется начать с той же. Инерция в жизни играет огромную роль. Раз

создалось какое-нибудь обыкновение, человек бессознательно стремится поступать сообразно с ним. Очень и очень редкие люди поступают сообразно с требованиями своего разума; обыкновенно люди живут и действуют по инерции».

Он тоже жил «по инерции», но это была инерция особого рода — проверенный десятилетиями режим дня, в который обязательно входила верховая езда. Близкие понимали, какую роль в жизни писателя играют эти верховые поездки:

«Прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, — считал его старший сын, — потому что на них он сосредоточивался и собирал материал для своих писаний».

За примерами этих «материалов» и «писаний» ходить далеко не надо — стоит лишь открыть дневники Льва Николаевича.

14 сентября 1896 года он зарегистрировал свое состояние: «Сейчас я ездил после обеда в Тулу на Мишиной лошади к ветеринару и вернулся уже при всходе луны; опять чудный вечер. Я ехал и думал: как хорошо! И бывало, когда подумаешь: как хорошо, сделается грустно от мысли, что скоро кончится, а теперь я думаю, как хорошо, и только еще начинается, и будет еще лучше...»

Через полтора года он вернется к этим бодрым мыслям:

«...Ехал через лес Тургеневского Спасского вечерней зарей: свежая зелень в лесу и под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое, и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно...»

Иногда он доволен собой, как наездником: «...Я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за 18 верст... Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около 40 верст верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет», — восклицательного знака он не поставил.

В словах этих чувствуется: Толстой искренне рад, что и в 70 лет для него не составляет труда проскакать сорок верст. И конечно же Лев Николаевич догадывается, что своей ездой он доставляет людям эстетическое наслаждение. До него доходят слова восхищения окрестных крестьян, которые не скрывают своих чувств: «Как он верхом ездит! Молодой против него не проедет».

Художник Иван Крамской, прибыв в Ясную Поляну, чтобы писать портрет автора «Войны и мира» для галереи Третьякова, увидел в сарае работника и спросил:

— Не знаешь ли ты, голубчик, где Лев Николаевич?

— А вам он зачем? Это я и есть. — Так они познакомились.

А когда Иван Михайлович увидел Толстого верхом на коне, то потерял дар речи, остановившись как вкопанный. Он восхищался физическим обликом Льва Николаевича. Позднее Крамской напишет И. Репину, что «в охотничьем костюме верхом на коне Толстой — самая красивая фигура мужчины, какую ему пришлось видеть в жизни».

Художников, которые бывали у него дома, он покорял с первого взгляда. Иллюстратор «Воскресения» Леонид Пастернак так описывает его, сидящего верхом:

«Навстречу мне ехал Лев Николаевич на ло-

шади: бодрый, крепко, по-казацки, сидел он в седле как приросший. Он придержал лошадь, чтобы с обычной любезностью и раскованностью поздороваться, пошутить, перекинуться несколькими словами».

А наиболее проникновенные воспоминания оставил Илья Ефимович Репин, который катался верхом с Толстым в 1907 году, когда Льву Николаевичу было без одного года 80 лет:

«У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде, и я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает...

Лев Николаевич подходит к лошади, как опытный кавалерист, с головы, берет, правильно подобрав, повода в левую руку и, выровняв их у гривы на холке и захватив вместе с поводами пучок холки, берет правой рукой левое стремя. Несмотря на довольно подъемный рост лошади, без возвышения, без всякой помощи конюха с другой стороны у седла он — в семьдесят девять лет — высоко поднимает левую ногу, глубоко просовывает ее в стремя, берет правой рукой зад английского седла и, сразу поднявшись, быстро перебрасывает ногу через седло. Носком правой ноги ловко толкает правое стремя вперед, быстро вкладывает носок сапога в стремя, и кавалерист готов — красивой, правильной французской посадки...

— А вы не боитесь — хорошей рысью или проскакать? — осведомляется он кротко и ласково.

— Нет, — отвечал я в восторге. — Как вам угодно, я не отстану, пожалуйста!

Мой лесной царь понесся быстро английской рысью. Транспарантным светом, под солнцем, особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. Царь все быстрее наддает, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась

аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить... У меня даже все внутри захолонуло... Ведь перекладина ему по грудь... Лошадь летит... Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку. Слава богу, не задел. Я за ним — даже по спине слегка ерзнула березка.

«Вот бесстрашный и неосторожный человек! Это неблагоразумно», — подумал я...

С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился; съезжаю — но тише — и намереваюсь искать местечка переехать ручей вброд.

— А что, запнулись? — оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич. — Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязнете — топко, это даже небезопасно... Ничего, ничего, вы его обласкайте; заверните немного назад и разом понукните его. Я знаю, он скачет хорошо.

Никогда мне еще не приходилось скакать через такой ручей: и мне стало стыдновато...

Мы возвращались высокими холмами полей, то спускаясь с горы, то поднимаясь. И я дивился ловкости наездника в семьдесят девять лет. В очень крутых местах, где я приспособлялся с трудом, он съезжал без запинки, незаметно.

— Знаете, на этих крутых подъемах надо держаться за гриву и хорошенько прижимать коленями седло к лошади, — предупреждает меня Лев Николаевич, — а то, иногда бывает, лошадь очень вытянется, подпруги ослабнут, и седло может свалиться. Седок тогда, если держится только за повод, может свалиться и лошадь повалить назад...

У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом

соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом».

Если кому-то это описание покажется пристрастным, излишне эмоциональным, я мог бы отослать его к запискам лауреата Нобелевской премии, великого ученого-биолога Ильи Ильича Мечникова, который побывал в Ясной Поляне в конце мая 1909 года:

«На возвратном пути в Ясную Поляну Толстой сел верхом на лошадь. Он сразу вскочил на нее, поскакал молодцом, перепрыгивая с нею через ров, и вообще имел вид очень бодрый и точно щеголял этим. В эти минуты с его плеч как будто спадало несколько десятков лет».

И чуть ниже:

«...Поздно вечером Лев Николаевич очень радушно попрощался с нами и сказал, что для того, чтобы доставить мне удовольствие, он готов даже прожить до ста лет».

Если и это свидетельство покажется неубедительным, то можно перечитать репортаж из Ясной Поляны журналиста Николая Фельтена:

«Лошадь встала на дыбы, почти поднимая конюха.

Не привыкший к такому зрелищу, я недоумевал, как же старик будет садиться?

Но старик маленькими шажками спокойно подошел. Конюх поддержал стремя, и я не уловил того момента, как Лев Николаевич оказался в седле. Конюх отскочил в сторону. Лошадь сразу рванула вперед и пошла крупной рысью. Посадка всадника была настолько уверенной, что он и лошадь казались одним целым. Всякое беспокойство тотчас же исчезло...»

Те же чувства охватили и Льва Никифорова, который в деревне Овсянниково видел 80-летнего седобородого всадника:

«Он проехал несколько шагов шагом и затем, улыбнувшись и кивнув на прощание головой, пустился во весь карьер, тешась, словно молодой юноша, а не старик, которому самые пожилые из нас годились в сыновья.

Этому избытку физической энергии не уступала и сила его духовной энергии».

Сестра Софьи Андреевны — Татьяна Кузминская, гостившая осенью 1907 года в Ясной Поляне, тоже обратила внимание на то, как внутренне преображался Лев Николаевич, совершив верховую прогулку:

«Вдруг, к большому нашему удовольствию, мы увидели Льва Николаевича. Он ехал на «Делире», англо-арабе гнедой масти.

Репин в своих записках очень картинно описал Льва Николаевича верхом и назвал его «Лесным царем». Это прозвище очень идет ему.

Я глядела на него, как он ехал в лесу, и думала: да, именно такую наружность и может и должен иметь лишь человек с таким исключительным *внутренним содержаньем,* как он.

Он подъехал к нам, слез с лошади и пошел пешком. Саша повела лошадь в поводу.

— Удивительно красиво сегодня, — говорил он, — такой осени я не запомню. Я открыл новую, чудную дорогу, по которой мы вернемся домой...»

Он, проживший на свете почти тридцать четыре тысячи дней, не переставал удивляться каждому новому утру и радоваться любому открытию. А азартен он был, как и в молодости:

«Папá на днях упал с лошади, сделался подвывих руки, звали доктора из Тулы, — беспокоилась младшая дочь Александра Львовна. — Теперь ему гораздо лучше, рука оправилась, хотя еще на перевязи. Упал во время гололедки, и очень сильно. Слава богу, что так обошлось».

Александра Львовна часто сопровождала отца в верховых прогулках:

«Если едешь с отцом верхом, так не растрепывайся! Ездил он оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропиночкам, не считаясь с препятствиями...

Если по дороге ручей, отец, недолго думая, посылает Делира, и он, как птица, перемахивает на другую сторону...

Один раз мы ехали с ним по Засеке. Подо мной была ленивая, тяжелая кобыла. Отец остановился в лесу и стал разговаривать с пильщиками. Лошадей кусали мухи, овода. Кобыла отбивалась ногами, махала хвостом, головой и вдруг, сразу поджав ноги, легла. Отец громко закричал. Каким-то чудом я выкатилась из-под лошади и не успела еще подняться, как отец молодым, сильным движением ударил ее так, что она немедля вскочила...

Раз он упал вместе с лошадью. Лошадь, степная, горячая, испугалась, шарахнулась и упала. Отец, не выпуская поводьев, со страшной быстротой высвободил ногу из стремени и прежде лошади вскочил на ноги...»

Толстой умел найти подход к любой лошади. Когда в 1907 году в Ясную Поляну приехал погостить и поработать художник Михаил Нестеров, Лев Николаевич уговорил его проехаться верхом и посмотреть пейзажи. Привели двух лошадей. 45-летнему Нестерову Толстой предложил сесть на смирную кобылу, а сам пошел к той, которая горячилась. Едва он приблизился, как лошадь затанцевала и попятилась назад. Толстой подошел поближе, «заговорил с ней, взял за стремя, за уздечку, и лошадь не успела опомниться, как он вдруг молодым движением вскочил в седло. Лошадь завертела крупом, рванулась и понеслась на березу». Стоявшие рядом родственники растеря-

лись, ахнули, но Лев Николаевич решительным движением рванул лошадь в одну сторону, потом — в другую, нажал ногами на стремена и повелительно что-то сказал. И горячая лошадь смирилась и пошла мерным, послушным аллюром... Было тогда Толстому 79 лет...

Последние годы он ездил на Делире — уже немолодом мерине, довольно породистом, но нервном. Делир был очень сильной лошадью, умной и в высшей степени осторожной, послушной, шагистой, рысь имел превосходную. Только по близорукости, как отмечает врач Д. Маковицкий, лошадь «была пуглива, потому ручейки и лужи не переходила вброд, а или перепрыгивала — легко — или обходила». Перелетала она и через поваленные деревья в лесу, беря их, как барьеры...

На верховых прогулках он старался уединяться в лесу, чтобы не видеть людского горя. «Куда ни выйду — стыд и страдание», — это его постоянная боль. А когда он верхом проезжал мимо сгорбленных, бредущих в лохмотьях, сидящих в придорожной канаве мужиков, он внутренне содрогался, проникаясь их страданием, и, сдерживая готовые хлынуть стариковские слезы, резко поворачивал Делира к Засеке, перемахивал через упавшие деревья, а потом останавливался, доставал из-за голенища заветную записную книжку и карандашом — а может, кровью? — заносил в нее: «Точно... сквозь строй прогнали...»

Последний секретарь Л. Толстого Валентин Федорович Булгаков в своем дневнике от 5 апреля 1910 года сделал запись, которую я не могу не процитировать:

«Лев Николаевич выздоровел. Вчера ему стало лучше.

Александра Львовна и Варвара Михайловна Феокритова рассказывают, что вчера после завтра-

ка Лев Николаевич отправился на верховую прогулку, уехав потихоньку один, не от крыльца, а прямо со скотного двора. Между тем полил проливной дождь, который не переставал до вечера. Варвара Михайловна и Александра Львовна ездили в Тулу. На обратном пути — ближе к городу — они встречают Льва Николаевича на Тульской дороге, Лев Николаевич, одетый в тонкую летнюю поддевку и кожан сверху, был весь промочен дождем. Руки у него, по словам Александры Львовны, были «красные, как у гуся». Они обе упросили его слезть с лошади и усадили в пролетку, а его лошадь пустили бежать одну. Умный и ручной, как теленок, Делир послушно бежал за пролеткой почти до самого дома. Неподалеку от усадьбы Лев Николаевич пересел снова на верховую лошадь.

Происшествие это на его здоровье нисколько не повлияло.

Удивительно меняется Лев Николаевич в зависимости от состояния здоровья. Если он здоров, он очень оживлен, речь веселая, быстрая походка, большая работоспособность...»

И вдруг Лев Николаевич прекратил прогулки. Что произошло?

Порфирий Троцкий-Сенютович, член черносотенных организаций «Союз русского народа» и «Михаил Архангел», упрекнул Толстого в том, что в своих статьях он кричит о горе народа, а сам... ездит на лошади, а у большинства крестьян нет лошадей — «им-де пахать бывает не на чем и больного ребенка порою отвезти в больницу не могут, а вот старый граф прокатывается среди них на породистой лошади...» И Толстой отказался от верховой езды.

Друзья Толстого не на шутку встревожились. Чертков послал в Ясную Поляну юного Алешу Сергеенко с наказом:

«Передай Льву Николаевичу от меня, что я прошу его самым сурьезным образом (это было у Черткова наиболее сильное выражение) возобновить верховую езду. Он всю жизнь ездил на лошадях. Это обратилось в одну из сильнейших его привычек. Могу только себе представить, какого громадного усилия стоило ему лишиться ее. Это он сделал впервые за всю свою жизнь. Верховая езда ему не менее необходима, чем питание, воздух. Это одно из основных условий, поддерживающих его здоровье. Он, собственно, и не имеет никакого нравственного права лишать себя ее, потому что без нее жизнь его укоротится».

«Отказ Льва Николаевича от верховой езды произошел у него после большой внутренней борьбы, — считал А. Сергеенко. — Верховая езда поддерживала его здоровье. Несмотря на свой престарелый возраст, он постоянно нуждался в моционе. Дальние прогулки пешком или физическая работа были для него уже не по силам. Верховая езда вполне удовлетворяла его потребность в физическом движении. Кроме того, поездки на лошади с их разнообразными впечатлениями являлись для него наилучшим отдыхом от его напряженных умственных занятий».

Полтора месяца Лев Николаевич не садился на лошадь, возобновив пешие прогулки. Он тяжело переживал вынужденную разлуку с Делиром. Друзья видели это и страдали вместе с ним, понимая, что в Ясной Поляне старец от своего слова не отступится. Тогда Чертков «выманил» его к себе в гости в Отрадное и долго доказывал бессмысленность претензий Троцкого-Сенютовича, напоминал о том, что Делира Льву Николаевичу подарила его дочь Татьяна, а от подарка, мол, неприлично отказываться. Толстой слушал и не спорил. А потом как бы невзначай Чертков показал Толстому

высокую, складную, белую кобылу Горлицу и сказал, что эту красавицу специально для Толстого доставили из воронежской усадьбы... И еще мимоходом заметил Чертков: «Вас ведь в нашей местности никто из крестьян в лицо не знает — рискните, прокатитесь...»

Только один день крепился Лев Николаевич. Утром 13 июля он пошел запрягать для верховой езды Горлицу... А вернувшись в Ясную Поляну, снова стал ездить на Делире... Верховую прогулку он совершил и в свой последний день, перед прощанием с Ясной Поляной. 27 октября 1910 года Софья Андреевна занесла в дневник: «Ездил верхом с Душаном, много и писал, и читал. Шел снег...»

А через несколько часов, глубокой ночью, Лев Николаевич уйдет из родного дома, он потеряет шапку — дурное предзнаменование! — пойдет в темноте к каретному сараю, чтобы помочь кучеру, попрощается с верным своим Делиром и, может быть, — ведь никто этого не видел — поцелует лошадь в шею, как делал это в раннем детстве...

Так и представляется: стоит Лев Николаевич в ватной поддевке с армяком в руке. Электрический фонарик освещает яблоневый сад. Толстой выпрямляется во весь свой рост. Он смотрит на голые деревья и свежевыпавший снежок, ощущает себя пустым, как октябрьские поля...

А Делир стоит рядом и хрумкает сено, а может быть, и сахар, кусочек которого не забыл взять для него человек, сбегающий в бессмертие...



«Ничего не работаю. Велосипед...»

«Ничего не работаю. Велосипед...» — эта фраза появилась в дневнике Льва Николаевича 4 мая 1895 года, когда в его жизнь вошло «двух колес очарованье». Велосипедному увлечению 67-летний человек отдался страстно, впрочем, как и всему, что его интересовало. «Всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами: игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми, охотой — всего не пересчитать. Не говоря уже об умственных и литературных увлечениях — эти были самые крайние, — писала Софья Андреевна Толстая. — Ко всему он относился безумно страстно; и если ему не удавалось убедить своего собеседника в важности того занятия, которым он был увлечен, он способен был даже враждебно относиться к нему». Велосипед с 1895 года стал одним из таких увлечений. Лев Николаевич не просто катался на велосипеде, он боготворил это двухколесное создание.

Впервые он увидел велосипед в середине XIX века в заведении «Шато де Флер» в московском Петровском парке, где, подражая парижскому кафешантану, посетителей развлекали танцовщицы, гимнасты и велосипедистки. А первое слово «велосипед», написанное лично Толстым, появилось на бумаге 17 ноября 1870 года, когда писатель получил в Ясной Поляне весточку от старинного друга Афанасия Фета, что тот якобы «придумал неудавшийся велосипед». Толстой по-

радовался за Фета: «Еще интереснее велосипед. Из вашего письма я вижу, что вы бодры и деятельны, весьма деятельны. И я вам завидую».

Небольшая деталь, но она дает многое для историка быта и спорта. Мне лично такие мимолетные упоминания кажутся более ценными, чем некоторые обширные мемуары современников. Мемуары — жанр солидный, обдуманный, но недостаток большинства воспоминаний состоит в том, что они пишутся с известной временной дистанции. Доктор филологических наук, писатель В. Лакшин тонко заметил по этому поводу: «Лишь в тех случаях, когда в основу воспоминаний кладутся дневниковые записи, непосредственно приближенные к памятной встрече, можно надеяться на их достоверность. Трудно возлагать надежды на столь капризный, субъективный и избирательный инструмент, как человеческая память, работающая с заметными подмесями воображения. Закон, давно обнаруженный психологами: то, что автор воспоминаний, несомненно, видел и слышал сам, легко сливается в причудливую амальгаму с тем, что он вычитал в книге, узнал с чужих слов».

Поэтому-то, работая над этой главой, я старался пользоваться письмами и дневниковыми записями Льва Николаевича и Софьи Андреевны, их детей, и прежде всего «Зарницами памяти» Татьяны Львовны Толстой-Сухотиной, а также воспоминаниями современников, напечатанными в те годы, когда их могли прочитать и прокомментировать или сам Толстой, или ближайшие его родственники...

Велосипед пробил себе дорогу в жизнь именно во второй половине XIX века; тогда в разных странах создавались причудливые машины. Тогда-то, видимо, и родилась ироничная фраза об «изобретателях велосипедов», то есть людях, открыва-

ющих уже открытое. К таким «чудакам», как мы убедились, принадлежал очень далекий от спорта и консервативный по отношению ко всему новому поэт Афанасий Фет. Его «велосипедные идеи» поддерживал и одобрял Толстой. В те годы журнал «Сын отечества» констатировал: «Велосипеды теперь занимают... многих в Петербурге, после того, как они сделались предметом всеобщего внимания. Один англичанин намерен вскоре совершить на двухколесном велосипеде поездку по шоссе из Петербурга в Москву».

С нашей темой сопрягается сообщение из-за океана о том, что в 1885 году американец Стивенс на высоком велосипеде типа «паук» объехал вокруг света: из Сан-Франциско к Атлантическому океану (5933 километра за 103 дня), из Англии до Тегерана (6500 километров за 164 дня), и далее через Персию, Индию и Японию — в Америку. Чтение дневников Толстого убеждает нас, что выдающийся велопутешественник побывал и в Ясной Поляне у Льва Николаевича. В дневнике Толстого за 18 июня 1890 года читаем: «Вечером приехал верхом американец Stevens, объехавший мир на велосипеде и бывший в Африке за Станлеем»*.

К сожалению, в тетради нет расшифровки разговора, состоявшегося в Ясной Поляне. Знаем лишь то, что Толстой интересовался поездкой Т. Стивенса в Африку на поиски английского журналиста Г. Стэнли, который потерялся в джунглях бассейна реки Конго.

Третье упоминание о велосипеде в документах толстовской семьи мы находим, читая апрельское (1892 года) письмо Софьи Андреевны: «...у нас теперь в Москве такая страшная жара, как только

---

* Так Л. Н. Толстой писал фамилию англичанина Г. Стэнли.

бывает в июле... Дети в саду весь день, то играют, то сажают, то грядки перекапывают, на велосипедах катаются». Значит, уже в 1892 году в хамовническом доме Толстых был велосипед. И не один.

Хорошо знавший семью Толстого философ и критик Н. Страхов в письме к А. Фету 20 августа 1892 года из Петербурга сообщает: «...Я забыл Вам написать, что́ я оставил в Ясной 10-го августа. Тут многие уже были в сборе. Приехал Лев Львович на велосипеде; он оставляет университет, несмотря на мои увещания».

Третий сын писателя, Лев Львович, в 23 года овладел велосипедом. Одним из первых в семье. Когда он поступил осенью 1892 года в Царском Селе вольноопределяющимся в четвертый императорской фамилии батальон, он попросил прислать ему к месту службы велосипед. 21 октября Софья Андреевна сообщает мужу: «Лева просит послать по его назначению велосипед. Он просил об этом Ивана Александровича и удивляется, что до сих пор не послали. А я и не знала, что он просил». Велосипед нужен был начинающему писателю Льву Львовичу, писавшему под псевдонимом Львов, чтобы ездить из Царского Села в Петербург, работать в библиотеках, бывать в редакциях и не зависеть от кучеров, извозчиков, лошадей, карет. Что проще — два колеса, руль, педали, нехитрый передаточный механизм, словом, велосипед — не роскошь, а средство передвижения...

Мы не случайно упомянули о велосипеде, как о «роскоши». В те годы «бициклет» стоил баснословно дорого. Не исключено, что Лев Николаевич, переживавший в те годы серьезный духовный кризис, переходивший на позиции патриархального крестьянства, резко изменивший образ жизни, занимающийся тяжелым физическим трудом и крестьянскими сельскохозяйственными работами,

очевидно, Толстой не разделял вначале увлечение своих детей велосипедом. Он считал этот спорт роскошью и вредной привычкой. В неотправленном письме 16-летнему сыну Михаилу он пытался сформулировать свои требования к воспитанию молодежи: «Ужасно опасно... чтобы получать то удовольствие, которое привык получать от удовлетворения похоти: сладкой еды, катанья, игры, нарядов, музыки, надо будет все прибавлять и прибавлять предметы похоти, потому что похоть, раз уже удовлетворенная, в другой и третий раз не доставляет уже того наслаждения, и надо удовлетворять новые — более сильные...

Так это всегда и идет: сначала ягоды, пряники, простые игрушки, потом конфеты, водицы, велосипеды...»

Велосипеды здесь отнесены к тем предметам, которые «развращают». Лев Николаевич в те годы болезненно переживал свою принадлежность к богатым. Однажды он ехал на пароходе по Волге и голодный бурлак, изнемогавший от усталости, посмотрел на него и спросил с горечью: «Что, барин, весело кататься на кораблях?» После того вопроса весело уже никому не было...

Разлад со своей средой, сомнения в правомерности многих увлечений — верховая езда, велосипед, — которые он находил эгоистическими, преследовали писателя. Давая указание о превращении хамовнического дома в музей Толстого, Председатель Совнаркома В. И. Ленин особенно акцентировал внимание на том, чтобы оставить все, как было при жизни писателя: пусть люди видят, что Толстой жил «на два этажа».

...«Роман» с велосипедом, который начинался с отчуждения, неприятия и даже бойкота, завершился, как это иногда бывает в жизни, бурной страстью. 11 апреля 1895 года Лев Николаевич

записал в дневнике: «Продолжаю быть праздным и дурным. Нет ни мыслей, ни чувств. Спячка душевная. И если и проявляются, то самые низкие, эгоистические чувства: велосипед, свобода от семейной связи и т. п.».

Велосипед назван первым среди соблазнов, развивающих эгоизм. Почему именно велосипед? Ответ на вопрос мы находим в дневниковой записи через две недели:

«За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет это делать. Е. И. (Попов — попутчик Толстого по путешествию из Москвы в Ясную Поляну. — *А. Ю.*) отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит».

26 апреля очередная запись: «Вчера ездил на манеже на велосипеде».

Новое увлечение прославленного писателя не ускользнуло от внимания прессы. Н. Страхов зарегистрировал в статье «Толки о Толстом»: «Малейшие известия о том, что пишется и как живется.., газеты помещают наравне с наилучшими лакомствами, какими они угощают своих читателей, т. е. наравне с политическими новостями, с пожарами и землетрясениями, скандалами и самоубийствами... Может быть, со времен Вольтера не было писателя, который производил бы такое сильное действие на своих современников».

Только в одном журнале «Циклист» в 1895 году статьи о велосипедном увлечении Льва Николаевича появились в шести номерах — 16-м, 21-м, 22-м, 24-м, 26-м и 29-м. В редакционной статье «Граф Л. Н. Толстой и его первые уроки езды на велосипеде» указывалось, что писатель пришел в манеж в двадцатых числах апреля — точной даты не про-

ставлено. Но дневниковые записи подсказывают: произошло это между 11 и 25 апреля, потому что еще 11 апреля велосипед отнесен Львом Николаевичем к «эгоистическому» предмету, а уже 25 апреля о нем сказаны добрые слова: увлечение велосипедом, мол, естественно, безгрешно, да еще и ребячески веселит.

А вначале, как свидетельствует «Циклист», графа Толстого в манеж пускать не хотели, потому что он был одет в черную блузу, подпоясанную ремнем, на ногах сапоги, вид вовсе не графский. Смотритель манежа, узнав писателя, велел вахтеру Самойлову научить «его высокородие» езде на велосипеде. «Извольте садиться, Ваше сиятельство!» — с этими словами вахтер объяснил простейшие правила движения на велосипеде, заверив Толстого в полной безопасности. Замечательный мастер верховой езды, Лев Николаевич, по свидетельству журналистов, «привстав на подножку, опустился довольно легко и красиво для первого раза в седло», причем, садясь на велосипед, Толстой проделал все, что ему предложил вахтер, «с самым серьезным и даже несколько озабоченным видом, с каким принимаются обыкновенно все положительные люди за всякое новое дело».

Опытный кавалерист, Лев Николаевич Толстой с первых же метров езды уловил в велосипеде главное: сидеть в седле неустойчивой машины надо прямо, спокойно, не раскачиваться из стороны в сторону, крутить педали «ровно и спеша». Корреспонденты «Циклиста» сохранили для потомков живой рассказ о приобщении жадного до всего нового писателя к модному в те годы велосипеду: «...лицо графа выражало полное удовольствие: видно было, что езда на велосипеде его заняла и очень ему понравилась».

На следующий день писатель снова посетил

манеж и катался уже без помощи вахтера Самойлова.

Очень быстро Толстой научился ездить свободно и увлекся этим видом спорта так, что даже стал злоупотреблять им, принеся в жертву литературную работу. «Ничего не работаю. Велосипед...» — записал он в дневнике за 4 мая 1895 года. Одно слово — «велосипед», а как много скрыто за ним в биографии Толстого. Вспомним предисловие к чеховскому рассказу «Душечка», где Лев Николаевич позволяет себе экскурс в велосипедный манеж: «Я учился ездить на велосипеде в манеже, в котором делаются смотры дивизиям. На другом конце манежа училась ездить дама. Я подумал о том, как бы мне не помешать этой даме, и стал смотреть на нее. И, глядя на нее, я стал невольно все больше и больше приближаться к ней и, несмотря на то, что она, заметив опасность, спешила удалиться, я наехал на нее и свалил, то есть сделал противоположное тому, что хотел, только потому, что направил на нее усиленное внимание».

После этого ЧП на Моховой Лев Николаевич признавался дочери Татьяне Львовне:

«Со мной происходит смешное явление. Стоит мне представить себе препятствие, как я ощущаю неодолимое к нему влечение и, в конце концов, на него наталкиваюсь. Это особенно относится к толстой даме, которая, как и я, учится ездить на велосипеде. У нее шляпа с перьями, и стоит мне взглянуть, как они колышутся, я чувствую — мой велосипед неотвратимо направляется к ней. Дама издает пронзительные крики и пытается от меня удрать, но — тщетно. Если я не успеваю соскочить с велосипеда, я неизбежно на нее налетаю и опрокидываю ее. Со мной это случалось уже несколько раз. Теперь я стараюсь посещать манеж в часы, когда я надеюсь, ее там нет. И я спрашиваю себя:

неизбежен ли этот закон, по которому то, чего мы особенно желаем избежать, более всего притягивает нас?»

Освоив велосипедную азбуку в манеже, Толстой уже в мае стал кататься на улице. Свидетельство писательницы Л. И. Микулич-Веселитской возвращает нас к маю 1895 года:

«Подъехав к воротам их дома, я увидела во дворе Льва Николаевича, который делал круги на велосипеде. Он уже лихо летал и с увлечением предавался новому спорту».

Велосипед, велосипед, велосипед!..

«Жизнь есть движение» — афоризм из дневника от 4 мая; написал эти слова человек увлеченный, азартный, молодой в свои 67 лет.

«Лечение и велосипед» — неровным и неразборчивым почерком занес Толстой в дневник 13 мая. А через день пытается охладить свою страсть: «Вчера устал на вел(осипеде)... Проходит и вел(осипедное) увлечение». После слова «вчера» он написал сначала «очень», а потом перечитал и зачеркнул его: устал, просто, мол, устал...

На велосипеде Толстой ездит уже не только в Москве. Он старается сесть в седло везде, где бывает: и в Ясной Поляне, и в имениях детей и друзей. 29 мая в Никольском он фиксирует: «Ездил сейчас верхом и на велосипеде».

Работая над «Воскресением», которое называл в дневнике «Коневской повестью», он в часы отдыха обязательно уезжал на велосипеде. 25 июня в Ясной Поляне Толстой записывает: «Нынче начал было писать сначала Коневск(ую), но не пошло... Поехал на велосипеде, тоже не доехал — гроза заходила... Иду походить и потом ужинать».

«Ездил в Тулу вчера на велосипеде, — фиксирует он 4 июля, — косил два раза...»

7 сентября записывает: «Ездил на велосипеде и

писал свое Воскресение. Читал его Олсуфьевой, Танееву и Чехову, и напрасно. Я очень недоволен им теперь и хочу или бросить, или переделать. Последние дни хожу по лесу... Сегодня ехал ночью верхом...» Дни у него тем летом и осенью начинались уже не с пеших прогулок, а с катания на велосипеде. Именно о нем, двухколесном друге, первые слова в ежедневнике. А зная, что на прогулках, будучи наедине с собой, Толстой всегда самокритично анализировал созданное им, можно утверждать, что и недовольство некоторыми страницами «Воскресения» он ощутил в те минуты, когда крутил педали послушной машины, а шорох шин по песку и траве нисколько не мешал его уединению. «Недовольство собой есть трение, признак движения» — эта мысль появилась в толстовском дневнике после велосипедной прогулки.

Велосипедные вылазки вызывали недовольство жены немолодого уже писателя, она ворчала, что он уезжает в любую погоду, боялась падения, волновалась. Наверное, не без оснований. Она ведь помнила, сколько травм получил Толстой, катаясь на безобидных лыжах, мчась верхом... А тут — неустойчивый велосипед. Но Толстой, успокаивая жену, все же продолжал регулярно отмерять километры на двух колесах и заносить в дневник: «После обеда ходил Гастевым рубить деревья для Филиппа и Андрияна и потом проехался на велосипеде... ездил на велосипеде в Тулу». Он чередует поездки в город: то на велосипеде, то верхом. Глубокой осенью — 10 октября — он в который уже раз заносит в дневник:

«Я два дня порядочно писал. Ездил на велосипеде в Тулу и слишком устал... Осеннее приятное чувство».

Честное признание «слишком устал» понятно и по-человечески объяснимо: в таком возрасте про-

ехать больше тридцати верст — нагрузка основательная.

Оценив велосипед, Толстой решительно пересматривает свой взгляд на велоспорт, как на модное времяпровождение. Полгода постоянных занятий убедили его: у велосипеда большое будущее, и пусть пока он является достоянием избранных, но со временем станет доступен и простому народу. Он с какой-то даже ребячьей гордостью воспринял известие Московского кружка велосипедной езды, принявшего его — новичка — в члены своего общества, вручившего памятный жетон и удостоверение. Значок этот хранится в Музее-усадьбе в Москве на улице Льва Толстого. Жетон сделан в форме восьмиконечной звезды с серединой в виде велосипедного колеса. По окружности — на голубой эмалевой полоске — можно прочитать: «Московский кружок велосипедной езды». А в глубине, под спицами, поставлена дата — «1895». Год приобщения Толстого к велосипеду.

Увлечение Льва Николаевича быстрой ездой высветило притягательную силу велосипеда. Еще в 1901 году петербургский «Спорт», агитируя за физическую культуру и движение своих соотечественников, использовал факты биографии Толстого. Обращаясь к недоброжелателям и противникам спорта, журнал писал: «Посмеют ли они что-нибудь сказать, когда им будет известно, что граф Лев Николаевич Толстой, одно из величайших светил на небе мысли и духовного творчества, — страстный спортсмен? Да оно и не может быть иначе. Творец «Воскресения» — верный сын великой матери-природы. А кто любит природу, тот всегда в душе, хотя часто и бессознательно, — спортсмен. Графа Льва Николаевича зачастую можно видеть в Ясной Поляне, совершающим прогулку на велосипеде».

Запомним фразу: «кто любит природу, тот всегда в душе, хотя часто и бессознательно, — спортсмен», а пока упомянем, что во времена Л. Н. Толстого в Москве нельзя было ездить на велосипеде без специального жетона. И член Московского кружка велосипедной езды Л. Н. Толстой получил 21 февраля 1896 года такой документ:

«Билет для езды на велосипеде по улицам ГОРОДА Москвы № 2300. Выдан без права передачи графу Льву Николаевичу Толстому».

Сейчас билет этот хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

Получив разрешение на беспрепятственные прогулки по московским улицам, писатель забирался на велосипеде в самые разные уголки Белокаменной. Теперь он уже не осторожничал.

Современник Толстого Лев Павлович Никифоров оставил воспоминания о «невыразимом» человеке. Тетрадки с записями нашли при разборе дел Московского охранного отделения и передали в толстовский музей в первые революционные годы. Никифоров рассказывает:

«Однажды я встретил Льва Николаевича у манежа и, желая пройтись с ним, спросил, куда он идет.

— Стыдно сказать, — сконфуженно ответил он, — иду вот в манеж, чтобы поездить на велосипеде; как поезжу с полчаса или с час да пробегусь до дома, то чувствую такое облегчение, словно с плеч свалилась большая тяжесть, и тогда опять работается легко».

Для нас очень важно это свидетельство: после велосипедной езды «работается легко»!

Правда, Толстой иногда еще стесняется привилегированности своего положения: «Ездил на велосипеде в Ясенки. Очень люблю это движенье. А совестно...»

Но с велосипедом он почти не расстается. Литератор и выдающийся русский судебный деятель А. Кони, подаривший Толстому сюжет «Воскресения», запечатлел в книге «На жизненном пути» один из обыкновенных московских дней писателя:

«Слуга сказал мне, что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы «Континенталь», на Театральной площади, к крыльцу подскакал всадник, и это оказался Толстой, которому уже было семьдесят лет...»

Лев Николаевич, стремясь обязательно повидать петербургского гостя, на этот раз не стал надеяться на велосипед (мало ли, что случится: шину проколешь, «восьмерку» получишь), а воспользовался возможностью проскакать на лошади. Кстати, в Москве он поочередно ездил на велосипеде и на лошади, реже ходил пешком, потому что оценил прелесть быстрой езды. Лев Николаевич и своих гостей старался привлечь к новому виду спорта. Он долго, к примеру, занимался с композитором и пианистом Сергеем Ивановичем Танеевым. Но музыканту, тяжеловатому и мешковатому, долго не удавалось постичь искусство балансирования и правильного распределения своего веса. Танеев уставал, но все же обучения не бросил. А о том, что езда на этой машине небезопасна, жителям Хамовников остро напомнило падение Танеева с велосипеда, окончившееся тяжелой травмой. А ведь Танеев был почти на тридцать лет моложе хозяина дома, и можно представить, сколько дополнительных волнений поселилось под крышей особняка в Долгохамовническом переулке...

Софья Андреевна, мы уже говорили, с неодобрением встретила увлечение своего мужа велосипе-

дом, опасаясь прежде всего за здоровье немолодого уже человека. Любопытно, что Толстой впервые пошел в манеж и сел в седло, когда Софьи Андреевны не было в Москве: она в те дни ездила к своей сестре в Киев... Не только Софья Андреевна, многие родные Льва Николаевича не разделяли его велосипедного энтузиазма, страшась, что падения с высокой машины могут оказаться роковыми для седобородого новичка. В 1896 году дочь писателя Татьяна Львовна — умная, чуткая, преданная отцу — с радостью вывела красивыми буквами в дневнике: «Папа́ совсем отказался от велосипедной езды. Я рада этому.., мы не будем так беспокоиться, целыми вечерами ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны...»

Но Толстой не выполнил обещания, данного детям, — он не расстался с велосипедом, не оправдал «надежд» жены и дочерей — и на двухколесном надежном «rover» катался еще много лет.

Родные постепенно привыкли к его вылазкам на природу. Софья Андреевна уже без раздражения писала об этом. Так, в дневнике за июнь 1897 года она регистрировала:

«Он все утро сидит у себя и пишет до обеда, до двух часов. После обеда уезжает на велосипеде или верхом».

Однажды Толстой вернулся после велосипедной разминки и, посмотрев на жену с улыбкой, сказал:

«Вот ты сказала, что я сгорбился, я и стараюсь держаться прямо», и сам вытягивается, выпрямляется», — записала Софья Андреевна с нежностью и уважением.

В июньские дни в ее дневнике много упоминаний о велосипеде. Например, 18 июня:

«Холод ужасный. Сейчас 5 градусов только... Лев Николаевич утром купался в среднем пруду. После обеда играл в lawn-tennis с девочками и Ми-

шей. Потом ездил один на велосипеде и один верхом».

Через неделю очередное свидетельство: «Он ездил на велосипеде в Тулу, отдал его чинить, оттуда вернулся частью пешком, частью на обратных телегах».

14 июля 1897 года на тульском треке появился 69-летний новичок. «Лев Николаевич весел, рассказывал, как он в Туле заехал на велосипеде на велосипедный круг, и все разговоры о гонках и о всем, что касается велосипедной езды. Его и это еще интересует!» — даже Софья Андреевна, прекрасно знающая своего увлекающегося мужа, удивленно признается: «Его и это еще интересует!»

Да, интересует. А разве это плохо? Так почему же через два дня столь резко меняется тон: «Тепло, ясно, чудесное лето! Лев Николаевич все сидит в своем кабинете, пишет статью, письма, читает, ездит купаться на велосипеде. Но ко всему и всем равнодушен». «Я напрягаю свои последние жизненные силы, чтоб помогать ему; я переписываю его статью и вчера переписала длинное письмо, в 15 страниц, о помощи духоборам наследством Нобеля; я ухаживаю за ним; но мне невыносима иногда жизнь без личного труда, без личных интересов, без досуга, без друзей, без музыки — и я падаю духом и тоскую» — эти слова написаны в том же 1897 году.

«Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обе-

дает, или идет вниз читать, или на lawn-tennis. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за днем идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей. И эта холодность измучила меня... согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении *долга,* но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни, и я бегу из дому в лес, бегу на Воронку и в страшный ветер бросаюсь в реку, в воде 9 градусов, и я нахожу маленькое удовлетворение в этой физической эмоции.

Лев Николаевич, не сказав мне ни слова, уехал верхом к Булыгину в Хотунку, за 16 верст».

«Он ко всему и всем равнодушен» — неправда ли, несправедливое обвинение человеку, который в пятьдесят лет начал учить греческий язык, чтобы читать Гомера в подлиннике, а не восхищаться «Илиадой», переведенной в начале XIX века В. Жуковским с немецкого на русский. Всякий звук жизни вызывал эхо в молодой душе Толстого. Он словно был запрограммирован на добывание знаний, истины. «Пожелайте мне всяческого беспокойства» — он любил в разных вариантах повторять эту мысль. Пунктуальный, обязательный, Лев Николаевич четко чередовал напряженную умственную работу и активный физический отдых. Он жил, словно заведенные часы.

Сам Толстой, лучше чем кто-либо другой понимавший свою жену, заметил, что Софья Андреевна записывала в блокнот, если была в плохом настроении: «Когда не в духе — дневник». Наверное, и эти записи, упрекающие Толстого в равнодушии, сделаны в нелегкие минуты.

Софья Андреевна и сама была натурой страстной, увлекающейся, талантливой. За что бы она ни принималась — все у нее получалось, она даже научилась рисовать на старости лет и делать копии с картин, рубила дрова и пилила сучья... Она тоже старалась не отстать от жизни, моды, многого хотела и от других и от себя. 9 сентября 1897 года она оставила для истории хронику осеннего дня в Ясной Поляне:

«Очень хотелось играть на фортепьяно, читать, гулять, даже чай пить. И вместо этого я переписывала несколько часов сряду для Льва Николаевича его статью «Об искусстве», за что он, приехав от Зиссерман, куда ездил верхом, мне даже спасибо не сказал, а с досадой ушел, когда я просила его разъяснить мне неясное в его писании место.

...Сегодня теплый день, ясно, паутина летает и блестит, и я ходила купаться, а Лев Николаевич тоже ездил на велосипеде».

Он продолжал кататься на велосипеде даже в те тревожные дни, когда неизвестные преступники назначили на 3 апреля 1898 года его убийство, если он «не исправится» и не откажется от своих взглядов. Родные уговаривали Льва Николаевича не выходить из дому, но он настоял на традиционной прогулке. Софья Андреевна пошла его сопровождать, «охранять», как она выразилась. Но, очевидно, прогулка под охраной жены не принесла Льву Николаевичу радости: он вообще не любил, чтобы кто-то мешал ему в минуты раздумий. Поэтому через день он «сбежал» из Хамовников. А так как его велосипед припрятали, лишив возможности ездить, то он «прокатился на Мишином велосипеде». 5 апреля — еще ранняя весна, погода не устоявшаяся, снег не сошел, лед под слоем воды — опасная поездка на велосипе-

де для семидесятилетнего человека. Софья Андреевна, видимо, не напрасно волновалась, оберегая Льва Николаевича точно мать: вечером он жаловался на недомогание.

А утром как будто ничего не бывало. Опять — велосипед, теперь уже собственный № 97011, с деревянной ручкой руля, с передним колесом чуть больше заднего... Еще три года назад этот «оригинальный «rover» считался лучшей моделью, но за это время выпустили столько новых «пежо», «психо», «старлеев», «быстрокатов», «кливлендов», что эта конструкция стала считаться устаревшей. Разве угонишься за изобретателями велосипедов?..

Софья Андреевна прилежно и скрупулезно фиксировала:

«Л. Н. ездил до обеда на велосипеде, утром писал о войне, вечером ездил верхом к умирающему». После велосипедной прогулки повеселевший, разрумянившийся Толстой работал для миланского и парижского издательств над статьей «Карфаген должен быть разрушен», в которой высказывал свое гневное отношение к войне и милитаризму.

Наверное, он основательно выложился, создавая «Карфаген», потому что, как свидетельствует Софья Андреевна, «утром работать не мог, писал письма». Но зато в тот день не отменил ни велосипедной, ни верховой прогулок...

Даже после тяжелой болезни он старался лечить себя движением. Ближайший друг Льва Николаевича врач Душан Маковицкий оставил любопытные заметки: «Лев Николаевич предпочитал принимаемым внутрь лекарствам внешние отводящие лечебные и гигиенические средства... особенно растирания, массаж, омовения, гимнастику, телесные упражнения, свежий воздух, про-

гулки на воздухе, тщательное проветривание комнаты. В летние знойные вечера он иногда раздевался в саду в аллее, чтобы никто его не увидал. Я раз застал его таким в 10-м часу вечера в первое или второе лето моей яснополянской жизни.

Естественно, такой «метод лечения» вызывал активные возражения жены, которая на чем свет стоит кляла велосипеды, гимнастику, гири, прогулки и даже лошадей. Обычно Толстой не спорил с Софьей Андреевной, находя ее доводы логичными и убедительными, но поступал он все же по-своему, как требовал того созданный им «кодекс здоровья».

Лев Николаевич не всегда признавал вслух свои ошибки, хотя в дневнике честно ставил диагноз: «Вчера, ходя в метель по снегу, натрудил сердце, и оно болит...» Болеть-то болело, но утром Толстой снова шел бродить по снегу или запрягал лошадь — моцион он совершал при любой погоде и в любом состоянии, если только не был прикован к постели. Он знал, что работает как каторжник. Но он сам заставлял себя трудиться с таким напряжением и интенсивностью. Сам не давал себе никаких поблажек. И сердился, когда его принуждали идти против выработанных им правил. Знал ли Толстой, к чему приводит такое напряжение? Наверное, знал. Конечно же интуитивно чувствовал. Недаром после известия о смерти Александра Дюма-сына он с болью и горечью писал, что Дюма умер от нервного перенапряжения. Здесь Толстой приводит свою любимую мысль: после каждой книги часть сердца писателя остается в чернильнице, вот о чем нужно помнить тем, кто печется о здоровье близких. А не твердить на каждом шагу: «Велосипеды, и только велосипеды во всем виноваты».

В этой велосипедной истории прослеживается

своя диалектика: Толстой, не принимавший многие годы велосипеда и относившийся к нему отрицательно, лишь на 67-м году жизни оценил прелесть «двух колес» и полюбил велосипед и как средство передвижения, и как забаву и спутника на отдыхе, и как спортивный снаряд, позволяющий выявить быстрого, сильного, терпеливого. Думается, он полюбил велосипед еще и потому, что тот стал частью его самого: ведь, садясь в седло, человек приводит педали в движение сам, а главным двигателем двухколесной машины всегда было и остается сердце...

Как ни соблазнительно продолжить экскурсию по дневникам и письмам «самого сложного человека XIX века», как называл его А. М. Горький, прервемся на цитате из дневника его жены: «Сегодня огорчен: велосипед сломался, и он на нем не мог доехать до купальни... Сколько в нем еще молодого!»

Спасибо тебе, велосипед, что ты продлил молодость неповторимому человеку... Всегда, когда прихожу в дом в Хамовниках, украдкой дотрагиваюсь до деревянной ручки велосипеда № 97011...



«Пассажир поезда № 12»

Раннее утро. Прячется в тумане краснокирпичная водонапорная башня, построенная в начале XX века. К станции Лев Толстой одновременно подходят два поезда: «Елец — Москва» и «Лев Толстой — Куликово поле». Железнодорожные часы, висящие над платформой и одетые в черный

футляр, показывают 6 часов 05 минут. Вижу, как некоторые приехавшие торопятся перевести стрелки своих часов. Не все, видимо, знают, что на перроне станции Лев Толстой вьюжным ноябрьским утром 1910 года часы остановились навсегда: в 6 часов 05 минут в домике начальника станции Астапово перестало биться сердце великого писателя земли Русской Льва Николаевича Толстого. И железнодорожники, сдерживая рыдания, сняли гири с часов: время замерло...

Сейчас на станции, которая уже давно называется не Астапово, а Лев Толстой, открыт филиал Государственного музея Л. Н. Толстого. И нельзя было мне, работая над очерками о Толстом, не приехать сюда, в этот дом, где оборвалась жизнь гениального художника и мыслителя.

В переднем зале музея останавливаешься перед оцинкованной железной доской, на которой написано: «Здесь скончался Лев Николаевич Толстой 7 ноября 1910 г.».

Само появление доски — свидетельство искренней и негасимой любви простых людей к Толстому. Вряд ли ошибусь, если скажу, что это первая в России мемориальная доска, посвященная Толстому. Через три дня после смерти писателя в домик начальника станции пришли железнодорожники. Они показали Ивану Ивановичу Озолину металлический лист и спросили тоном, не терпящим возражения: «Где прибить?» 36-летний начальник, имевший вид всех пятидесяти лет, молча показал на стену у входа. «Теперь этот домик должен стать музеем», — сказал Иван Иванович. Он незаметно смахнул слезу и добавил: «Да, фактически он и стал им. В ту комнату, где оборвалось дыхание Льва Николаевича, никто из нашей семьи ни разу не вошел. Там все стоит так, как было при нем...»

Через два дня после установления доски и возложения около нее цветов, неведомо откуда взявшихся на станции, не имевшей оранжерей, пришла телеграмма из Саратова: управляющий Рязано-Уральской дорогой Д. А. Матрёнинский, человек, проявивший незаурядное гражданское мужество, при организации похорон Толстого выражал беспокойство: «Установили ли доску памятную?»

С 1910 до 1936 года, по негласной традиции, начальники станции Астапово были хранителями толстовской комнаты. Это им, людям, отвечающим за четкую работу узловой станции, мы обязаны тем, что сегодня в комнате все сохранилось таким, каким осталось после смерти Льва Николаевича... Обои с желтыми и зелеными листочками. Шторы на окнах, которые не открывали с 1910 года... Плед писателя. Одежда, в которой он приехал. Железная кружка, из которой он пил воду. Пузырьки с лекарствами, медный подсвечник. Три стула... Две кровати... Одна, на которой Толстой спал в первые дни пребывания в Астапове. И вторая, которую специально привезли из московского дома в Хамовниках: врачи нашли, что она более удобна для больного... Небольшой столик, керосиновая лампа с зеленым абажуром. Коробочка с бумажками, которые писатель нарвал перед забытьем...

Все эти вещи — последние спутники Толстого. Все это он видел, трогал.

Единственное, что появилось в этой скорбной комнате после кончины писателя, — профиль почившего труженика. Его нарисовал один из железнодорожников, несших бессменную вахту у гроба народного героя...

Новая экспозиция конечно же не тронула толстовской комнаты, вход в которую по-прежнему

преграждает прозрачный щит. А вот все остальные комнатки домика Озолина преобразились. В первом зале собраны материалы, отражающие общественную, литературную деятельность Толстого в 1910 году. Мы видим здесь последний прижизненный портрет Толстого, сделанный художником В. Мешковым: писатель играет в шахматы с мужем своей старшей дочери. Поражают в картине глаза — острые, мудрые, добрые, хитрые, жутко озорные...

В зале можно ознакомиться с 50 письмами, которые Толстой получил за 10 месяцев 1910 года со всех континентов. Вот приглашение на XVIII международный мирный конгресс, назначенный на 14 августа 1909 года в Стокгольме. Вот и ответ Толстого президенту конгресса, продиктованный 12 июля. В письме Толстой говорит, что «если силы позволят», он «сделает все возможное», чтобы «прибыть в Стокгольм», или пришлет в письменном виде свое выступление. 14 июля писатель составил план доклада, а к концу месяца закончил доклад. Но 4 августа в Ясную Поляну пришло сообщение, что конгресс отложен якобы из-за забастовки в Швеции, которая могла бы помешать мирному проведению мирного форума. Но уже тогда высказывалось мнение, что конгресс отложен из-за боязни выступления Толстого. Кстати, сам писатель разделял это предположение, ведь доклад требовал уничтожения армии и содержал резкую критику деятельности буржуазных правительств.

Как известно, конгресс отложили на год. Летом 1910 года Лев Николаевич снова получил приглашение в Стокгольм. Поехать в Швецию он не мог — и послал прошлогодние записки...

Мы видим на стендах фотографии яснополянского дома, репродукции с портретов предков пи-

сателя, снимки его детей и внуков, мы читаем прощальное письмо жене: «Я делаю только то, что обыкновенно делают старики, тысячи стариков, люди, близкие к смерти, ухожу от ставших противными им прежних условий в условия, близкие к их настроению...»

С этой станции за семь ноябрьских дней 1910 года ушло телеграмм больше, чем за всю историю астаповского телеграфа. Вот одна из них, которую передал 3 ноября корреспондент газеты «Утро России»:

«Чем оправдываемся мы в нашем преступлении? Ведь это же все мы, и палачи и казнимые, тупые и изощренные, образованные и невежды, довели великого писателя до бегства... из дома, где все должно было радовать, умилять, покоить его. Ведь это общерусская вина в том, что Толстой не удалился от мира еще много лет назад.., а бежал ночью, торопя кучера, заметая след то Калугой, то Козельском, то Шамордином, пересаживаясь, слабый и больной, с поезда на телегу, с телеги снова в вагон.

Сгубили Пушкина и Лермонтова, лишили рассудка Гоголя, сгноили в каторге Достоевского, выгнали на чужую сторону Тургенева, свалили, наконец, на деревенскую лавку захолустной станции 82-летнего Толстого».

«Нашим преступлением» журналист В. Обнинский назвал преступление царя, священного синода и правящих кругов России.

А эти «верха», едва получив 28 октября сообщение об уходе Толстого из Ясной Поляны, поняли, какую реакцию вызовет это «бегство». На всем пути следования Толстого и его врача Д. Маковицкого была установлена полицейская слежка. Писатель, стремившийся сохранить тайну своего местонахождения, придумавший себе псевдоним

Николаев и уверенный, что конспирация соблюдается, не знал, что в поезде с ним уже ехал специальный помощник начальника сыскного отделения в Туле. Маршрут Толстого контролировался на каждом километре — со всех станций шли в столицу шифрованные телеграммы. Вахмистр Пушков телеграфировал из Белева унтер-офицеру на станции Куркино: «По прибытии п. № 12 немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой».

Уже через три часа унтер-офицер Дыкин послал ответ: «Едет п. № 12 по билету 2 класса Ростов-Дон».

И вот вижу этот билет в музее на станции Лев Толстой. «Волово — Ростов-Дон» — написано на нем. Билет Толстому купили на станции Дворики, такой маленькой, что там не было даже компостера, потому-то на музейном экспонате написана станция Волово, печатью которой пользовались во Двориках.

Небольшая деталь, но рассказывает она о многом. Прежде всего передает стремление уйти от погони, которое не покидало Толстого. Еще 30 октября вечером, прощаясь со своей сестрой Марией Николаевной в Шамордине, Лев Николаевич не знал, каким поездом и куда он поедет. Но уже в пять утра писатель разбудил своих спутников и стал торопить их в дорогу, спеша в Козельск. Он оставил письмо сестре и племяннице: «Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами». Он не захотел тревожить 80-летнюю сестру, хотя и предчувствовал, что больше они не увидятся. «Я не помню,— пишет он под всполохи свечи,— чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю».

В Козельске жандармы, увидев писателя, сразу же передали в Петербург цифры шифрованных телеграмм. В 7 часов 40 минут утра Толстой без билета сел в поезд № 12. Лишь через семь часов его спутникам удалось в Двориках приобрести картонный жетон, ныне ставший музейной ценностью.

В поезде Толстой узнал из газет, что его ищут. Настроение резко ухудшилось. Маковицкий измерил температуру — 38,1 градуса. Начался озноб. Дальше путь продолжать было уже нельзя...

В 6 часов 35 минут 31 октября поезд остановился у какого-то вокзала. Врач Маковицкий побежал к начальнику станции, попросил задержать поезд и приютить писателя.

Иван Иванович Озолин предложил поместить Льва Николаевича в лучшей своей комнате. Не успел писатель войти в квартиру Озолина, как переполошенный унтер-офицер Филиппов телеграфировал своему начальству: «Елец. Урал. Ротмистру Савицкому. Писатель граф Толстой проездом п. 12 заболел. Начальник станции Озолин принял его в свою квартиру». Последовал резкий окрик генерал-майора Н. Львова, пославшего шифровку ротмистру Савицкому: «Телеграфируйте, кем разрешено Льву Толстому пребывание в Астапове, станционном здании, не предназначенном помещении больных. Губернатор признает необходимым принять меры отправления лечебное заведение или постоянное местожительство».

Они боялись его даже больного, пригвожденного к постели. Они страшились его, 82-летнего, которого в газете «Пролетарий» вождь российских рабочих В. И. Ленин назвал «зеркалом русской революции».

А простые люди с первых же минут окружили Толстого заботой и вниманием. В архивах сохра-

нилось письмо железнодорожного служащего П. Алексеева: «Как только Лев Николаевич показался в дверях... все бывшие там обнажили голову. Лев Николаевич поклонился и пошел... В... толпе слышалось: «Не вести его надо, а на руках нести!»

Никто не давал команду машинистам паровозов соблюдать тишину, но за все дни болезни Толстого на станции не раздалось ни одного гудка.

Начальник станции Озолин сохранил для истории страничку воспоминаний: «Сказали мне, что Лев Николаевич хочет поговорить со мной. Я поспешил к нему. Лев Николаевич опять стал благодарить меня за предоставление ему комнаты, извиняться, что столько наделал мне хлопот; потом, взяв мою руку, несколько раз пожал ее, приговаривая: «Благодарю вас, благодарю вас». Эта нежная, ласковая благодарность Льва Николаевича так взволновала мою душу и умилила меня, что я расстроился до слез и мог только говорить Льву Николаевичу в ответ, что я делаю все для него с радостью, от всей души...»

Начальник станции знал, какие неприятности принесет ему то, что он ослушался начальства, но выполнял свой человеческий долг перед писателем, которого любил.

Рязанский же губернатор Оболенский, прибыв в Астапово, отдал распоряжение, чтобы со станции были удалены все, кто здесь остановился. Черносотенцы, а их и на узловой станции хватало, стали распространять слухи, что жители, которые предоставят места для проживания близких Толстого, будут арестованы...

Жандармское управление требовало: «Никому из прибывших на вокзале не проживать». Это был приказ.

Но его не смог выполнить унтер Филиппов. По-

тому что вместе с Озолиным мужество проявил и его начальник — Д. А. Матрёнинский, приказавший оборудовать вагоны железной дороги на запасных путях и предоставить их родным больного и корреспондентам, слетевшимся в Астапово чуть ли не со всей России.

Писатель, разумеется, не догадывался об этой суете. Он видел рядом добрые глаза любящих его людей, он чувствовал заботливые руки врачей, неотлучно сидящих у его постели. Он отвечал на вопросы анкеты — последней в своей жизни. Врач железнодорожной амбулатории Л. И. Стоковский записывал:

«Фамилия, имя, отчество — Толстой Лев Николаевич.

Возраст — 82 года.

Должность — граф, пассажир поезда № 12.

Болезнь — воспаление легких».

Потом родится красивая легенда, что будто бы на вопрос «Должность?» Лев Николаевич ответил так: «Какая разница? Пишите, «пассажир поезда № 12». Все мы пассажиры в этой жизни. Но один только входит в свой поезд, а другой, как я, схожу»...

Он предчувствовал, что дни сочтены. И все же 3 ноября еще правил корректуру книги «Путь жизни». Труженик, он не мыслил себя без работы.

Другие тоже «работали». Унтер Филиппов в панике слал депешу в Данков своим «коллегам» Серегину и Дыкину: «Утром прибыть в Астапово с оружием и патронами...»

4 ноября Толстой сказал сыну Сергею и Черткову: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться ...»

«Буду стараться...» А девять лет назад, когда он уже подготовился к смерти и ждал ее как избавления, выздоровел и грустно заметил: «Ну вот, опять

дана отсрочка, а лошадей подали по прекрасному санному пути. Будет ли в другой раз так же?»

И вот он — другой раз, теперь уже последний... 5 ноября Толстой водит руками по груди, притягивает и отпускает одеяло — словом, по-народному, «прибирается» или «обирается». А иногда он быстро водит рукой по простыне, как будто пишет.

На вокзале врачи вывешивали рукописные бюллетени о состоянии здоровья писателя. Заключения докторов были нерадостными. Не зная сна, принимали со всей страны телеграммы на почте: медики Владивостока и Архангельска, Москвы и Одессы советовали: «Попробуйте лечить так... По собственному опыту знаю, что лучшим при воспалении легких является...»

Шестого ноября в два часа дня Толстой неожиданно громко скажет родным: «Вот и конец!.. И ничего!..» Он сам сядет на кровати и, оглядев всех, как завещание, произнесет:

«Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

Это были, кажется, последние слова гения...

Корреспондент газеты «Мысль» телеграфировал в Киев: «МАКОВИЦКИЙ СЛЕЗАХ РАССКАЗЫВАЕТ КАКАЯ СИЛА ДУХА ПОКОЙНОГО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СМЕРТИ БЕЗ СОЗНАНИЯ ВОДИЛ ОДЕЯЛУ ПАЛЬЦЕМ ПРАВОЙ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ПИСАНИЯ». Этот документ уйдет в историю в 9 часов 15 минут утра 7 ноября — через 3 часа 10 минут после кончины Толстого.

В музее среди сотен телеграмм мое внимание привлекли три, адресованные в московскую газету «Русские ведомости». Все они с грифом «Срочная». 1 час 20 минут ночи: «Разбужена созвана вся семья страшная тревога». 1 час 35 минут:

«Спит. Почти нет пульса. Графиня стоит у окна». И последняя: «Скончался». Всего одно трагическое слово. Но ужасно и то, что оно отправлено в 5 часов 53 минуты, за 12 минут до того, как ослабевшее сердце Толстого отказало служить ему...

Да, когда видишь такие документы, ты невольно переносишься в атмосферу тех дней. Умер! «Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь в полоумном каком-то состоянии представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем», — вырвался крик у М. Горького. Видел и я, 67 лет спустя, как, не стесняясь, плакали люди, приехавшие к последнему пристанищу Толстого. Они стояли у двери, через которую он вошел своими ногами и из которой сыновья вынесли его через девять дней...

«...В его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат» — ленинские слова мы читаем на стене последнего зала музея «Толстой и наша современность». Слова В. И. Ленина как бы иллюстрирует небольшая колонка красноречивых цифр: за годы Советской власти произведения Толстого издавались на 99 языках, в том числе на 67 языках народов СССР. На русском языке издано 1 372 книги тиражом 202 386 тысяч экземпляров, на языках народов СССР — 973 книги тиражом 12 606 тысяч. На иностранных языках 180 книг тиражом 3 652 тысячи экземпляров. Всего же вышло 2 525 книг общим тиражом 218 644 тысячи экземпляров. За эти годы вышло 19 собраний сочинений Толстого. А недавно читатели получили последний том 22-томного собрания сочинений, тираж которого превышает все мыслимые рекорды — 1 миллион экземпляров. Вот лучший памятник писателю!

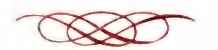
...Ранним утром к перрону станции Лев Толстой подошли почти одновременно два поезда: «Елец — Москва» и «Лев Толстой — Куликово поле». Я решил ехать через Куликово поле в Ясную Поляну, ибо понял, что должен еще раз взглянуть на тот зеленый холмик земли, где нашел себе покой великий бунтарь и бесстрашный обличитель.

...Стучали, перестукивали колеса, а я все вспоминал и вспоминал последнюю дневниковую запись, сделанную Львом Николаевичем в Астапове: «Вот и план мой. (Далее по-французски: «Делать то, что должно, и пусть будет, что будет».) И все на благо другим, и главное, мне» — самое здесь поразительное: Толстой точку не поставил...



"ЕГО ЛЮБИМЫЕ ДОСУГИ"

«ЕГО ЛЮБИМЫЕ ДОСУГИ»



«Старику снились львы...»

Штрихи к портрету писателя и спортсмена Эрнеста Миллера Хемингуэя

21 июля 1899 года на одной из тихих тенистых улиц городка Оук-Парк, лежащего неподалеку от Чикаго, в семье начинающего врача Кларенса Хемингуэя раздался крик новорожденного мальчика, в честь деда названного Эрнестом Миллером.

4 июля 1961 года в Солнечной долине, расположенной между Хэйли и Кэтчумом на западном берегу Вуд Ривер, в доме, фасад которого был открыт восходящему солнцу, выстрелила инкрустированная серебром двустволка «Ричардсон» 12-го калибра. Умер знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

...И восходит солнце, и заходит солнце. Но неправда, что тот же ветер возвращается на круги своя. Ветер века несет людям новое — то, что сделал сын века, один из талантливейших писателей.

«Он жил так же, как и умер — неистово», — писал о Хемингуэе брат. Таким же было и его творчество — зеркало нашего сложного, трудного, прекрасного, нежного и яростного мира.

«Мир — хорошее место, за него стоит драться и очень не хочется его покидать», — сказал один

из героев писателя. И это было кредо Хемингуэя, который писал о многом. И всегда о современности. Он жил жизнью своих героев. И поэтому в его жизни и творчестве немалое место занял спорт. Спорт как эстетическая ценность, спорт как самоутверждение человека, спорт как огромная радость, спорт как помощник в творчестве.

«Самая знакомая для романиста страна — его собственное сердце», — говорил писатель. А спорт с детских лет жил в его сердце. И позже Хемингуэй повторял не раз: «Для понимания боя быков, так же, как для понимания книги, горной вылазки, катания на коньках, любовной связи, стрельбы, всегда необходим личный опыт».

Он жил в Соединенных Штатах Америки — стране, которая давно и очень настойчиво культивирует спорт. Спорт ей нужен для различных целей — для престижа нации, для материального обогащения, для отвлечения людей от политики. Спорт нужен Америке, которая пытается воспитывать «жестких парней». И, будучи величайшим художником Америки, Хемингуэй не мог не писать о спорте. К разным видам спорта он относился по-разному. Он писал о состязаниях и как о кошмаре. Он писал по-разному, но не писать о спорте не мог.

Патрик Хемингуэй — сын писателя — предостерегал тех, кто работал и работает над осмыслением биографии его отца:

«Авторы книг... редко обращают внимание на то, что он был очень впечатлительным, тонко чувствующим человеком. Обычно стараются подчеркнуть жизненную активность его натуры, вспоминая, что он был боксером, рыбаком, охотником, но ведь он в первую очередь и главным образом был писателем, художником».

Будем помнить это сыновье предостережение,

перечитывая книги Хемингуэя и обширную, очень противоречивую литературу о нем. Но при всем этом будем помнить: нас интересует в данном случае спортивная биография писателя.

В жизнь Хемингуэя спорт вошел очень рано. Лестер Хемингуэй — младший брат Эрнеста — вспоминал о самом раннем детстве:

«После воскресного обеда все с нетерпением ожидали, когда, наконец, отец скажет: «Как насчет стрельбы в цель?»

Все были в восторге, ведь стрельба означала приятное волнение и великолепный запах сгоревшего пороха. Наш отец был замечательным стрелком. Он мог попасть в амбарную ласточку, хотя, как он сам нам показывал, в ней было мяса примерно столько же, сколько в окончании большого пальца, и поэтому их требуется по меньшей мере дюжина для пирога из дичи. Он никогда не позволял убивать «ради спорта». Мясо нужно было всегда съедать. В качестве целей мы применяли глиняные тарелочки, которые сначала запускались от руки, а позднее с помощью пружины».

В семье все умели обращаться с оружием. Сестры почувствовали отдачу охотничьего ружья еще до того, как они смогли сами держать оружие при стрельбе. К десяти годам Эрнест стал отличным стрелком по летящей мишени. Каждый ребенок стремился заслужить честь подержать и попробовать «папино ружье». Этой чести все они удостаивались уже в детстве.

Когда Эрнесту исполнилось десять лет, он получил в подарок от дедушки свое первое ружье.

Всю жизнь писатель испытывал уважение и благодарность к деду и отцу, которые не просто охотничье ружье ему преподнесли, а подарили таинственный и волнующий мир природы.

В рассказе «Отцы и дети», созданном уже после

трагической гибели доктора Кларенса Хемингуэя, его сын утверждал: «... нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтобы узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем».

А Ник для Хемингуэя — это он сам, его второе «я».

В 1935 году, работая над очерком «Стрельба влет», Хемингуэй снова вспоминал о том, как отец брал его с собой и учил стрелять, приобщил к охоте — этому удивительному, ни с чем не сравнимому занятию.

Грегори Хемингуэй — младший из трех сыновей писателя — свидетельствовал, что отец был особенно рад за своего наследника, когда тот поделил с кем-то из школьных товарищей первое место по стрельбе... Хемингуэй всегда считал, что мужчина должен быть на «ты» с оружием, но только со спортивным оружием.

В 1951 году, отвечая на письмо советского писателя Ильи Эренбурга, обратившегося к литераторам мира с призывом выступить за запрещение атомного оружия, Хемингуэй нашел афористичные слова: «Для вашего сведения, я не только против всех видов атомного оружия, но против всех видов оружия сильнее спортивной винтовки 22 калибра и охотничьего ружья. Я также против всех армий и флотов и всех форм агрессии».

Он был лишь за спортивные ружья. Кстати, умение обращаться с оружием сослужило Эрнесту службу уже в то время, когда он учился в школе. Большое удовольствие ему доставили хлопоты по

организации охотничьего клуба для мальчиков. Этот клуб начал существовать, когда Эрнест редактировал школьную еженедельную газету «Трапеция», в которой широко освещал деятельность своего детища, писал спортивные фельетоны. Спорт он любил и понимал, потому что был непременным членом секций плавания, легкой атлетики, стрельбы и конечно же футбола.

«Я в школе больше всего играл в футбол, потом в баскетбол, а там начинался сезон на треке и бейсбол, и от этого я так уставал, что на занятия науками меня уже не хватало. Я больше учился потом, уже после школы», — вспоминал впоследствии Хемингуэй.

Да, как и все в его возрасте, он играл в футбол. Но любимое занятие детворы не особенно захватило его. Объяснение этому он нашел позднее сам:

«У меня не было ни честолюбия, ни шансов. В Оук-Парке, если ты мог играть в футбол, ты должен был играть».

Также не стал его страстью и бейсбол. Когда мать Эрнеста заметила, что у сына развивается близорукость, а он тем не менее упорно продолжает глотать книгу за книгой, она говорила:

«— Сегодня прекрасный день. Иди на улицу и поиграй с ребятами в бейсбол. Слышишь, как они играют около школы?

— Ну, мама, я же играю, как курица, — отвечал сын и продолжал читать».

Даже в десятилетнем возрасте в обыкновенной мальчишеской игре он не желал выглядеть «курицей».

А вот за играми старших, особенно мастеров, наблюдал внимательно, запоминал мельчайшие детали поединков. Через несколько десятилетий в своем неоконченном «Африканском дневнике» он признается: «Я помню, когда я был маль-

чишкой у «Чикаго уайт сокс» был бейсболист по имени Гарри Лорд, который делал такие подачи, что начисто изматывал игрока противника до тех пор, пока не становилось темно и игру не прекращали. В то время я был очень мал, и все казалось мне преувеличенным, но я отчетливо помню, как начинало темнеть — в то время фонарей в спортивных парках не было — и Гарри Лорд подавал свои подлые мячи, а толпа ревела: «Лорд, Лорд, спаси свою душу». Здесь Хемингуэй обыгрывал фамилию бейсболиста: Лорд — по-английски «господь», отсюда игра слов «Господи, господи, спаси свою душу».

А вот самое большое спортивное увлечение Хемингуэя — бокс — вошло в его жизнь случайно.

Однажды Эрнест шел домой с охоты и нес дюжину птиц. Деревенские ребята, усомнившиеся в том, что мальчишка мог один настрелять столько птиц, избили его. И тогда Эрнест решил выучиться драться так же хорошо, как стрелять.

В комнате, где мать заставляла его заниматься игрой на виолончели, он оборудовал подобие спортзала и стал приглашать своих однокашников. Младшая его сестренка — Мадлен, которую он называл «своим представителем в семье», дав ей ласковое прозвище Солнышко, производила разведку: где родители. Если их не было поблизости, то вся компания поднималась через черный ход в «музыкальную комнату». Солнышко тайком проносила боксерские перчатки, ведро воды и полотенце.

От Эрнеста и его помощницы требовалось максимум осторожности и конспирации, чтобы сохранить тайну от родителей. Отец Эрнеста ненавидел насилие, а мать не позволяла отвечать ударом на удар ни при каких обстоятельствах.

Но, как считает брат писателя Лестер Хемингуэй, родители догадались о том, что в «музыкальной комнате» происходят отнюдь не виолончельные вечера, однако, стараясь сберечь свой авторитет и не напороться на твердое «нет» непокорного Эрнеста, делали вид, что остаются в неведении.

Боксерские поединки с ровесниками стали хорошей школой для Эрнеста. Позднее, когда он будет жить в Чикаго и увидит объявление об уроках бокса, он покажет, чему научился дома. На первом же уроке боксер Янг О'Хирн повредил нос новичку; эта травма не обескуражила Эрнеста, хотя он и испытал чувство страха.

«— Как только я увидал его глаза, я понял , что он мне задаст трепку, — признавался он другу.

— Тебе было страшно?

— Конечно, он мне мог здорово двинуть.

— Почему ты все же пошел на ринг?

— Я не настолько испугался, чтобы отказаться от боя!»

Вот, оказывается, каким был у него характер еще в отрочестве.

Существует версия, что О'Хирн специально избивал новичков, чтобы отвадить их от спорта, а деньги, внесенные авансом, не возвращал, а присваивал.

После выволочки от О'Хирна любой другой подросток перестал бы мечтать о боксе и стал бы за три квартала обегать спортивный зал, но Эрнест уже на следующий день пришел на тренировку. Вид у него был комичный — нос перевязан бинтом, под глазами «светились синяки». На ринг он вышел таким же целеустремленным и решительным, как накануне.

Целый год он обучался приемам бокса и заслужил право выступать в соревнованиях. К сожа-

лению, в одном из турниров он пропустил удар в голову — и перчатка соперника попала прямо в левый глаз... Но даже столь суровая спортивная учеба не затмила для писателя мужественной прелести бокса, который до конца дней оставался его любимым видом спорта.

Бокс в Америке быстро привлек внимание дельцов, мечтавших заработать деньги любой ценой. Занимаясь в Чикаго, Хемингуэй, внимательный ко всем мелочам, не мог не обратить внимания на закулисную сторону прекрасного вида спорта. Он узнал о существовании коммерческой стороны бокса — о сделках тренеров, подставках, играх на тотализаторе, где заранее обусловливался исход боя. Еще в школьном рукописном журнале «Скрижаль» Хемингуэй поместил рассказ «Все дело в цвете кожи», в котором использовал впечатления, вынесенные из-за кулис. Во время поединка двух боксеров — чернокожего и белого — специально нанятый человек должен был дубинкой нанести удар по голове негра. Но наемник почему-то сломал палку о череп белого боксера. Крупная ставка в тотализаторе пропала. А когда тренер набросился на громилу с криками: «Я же велел бить черного!» — незадачливый бандюга признался: «А как я мог определить цвет кожи, если я — дальтоник».

Анекдот? Нет, сценка из жизни, зафиксированное мгновение, записанный эпизод, штрих боксерского быта.

Всю жизнь Хемингуэй любил повторять заповеди бокса, которые составил сам:

«Боксер, который только защищается, никогда не выиграет. Не лезь на рожон, если не можешь побить противника. Загони боксера в угол и выбей из него дух. Уклоняйся от свинга, блокируй хук и изо всех сил отбивай прямые... Бокс научил меня

никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать... атаковать быстро и жестко, подобно быку. Кое-кто из моих критиков говорит, что у меня инстинкт убийцы. Они говорили то же самое о многих бойцах: о Джеке Демпсее и Флойде Паттерсоне, об Инго Иохансене и Джо Луисе. Я в это не верю. Вы деретесь честно и без обмана, и вы деретесь, чтобы победить, а не чтобы убить».

Уже в 50-х годах писатель, ненадолго приехавший в Нью-Йорк, отказался встретиться с корреспондентами. Он говорил, что это не поза — просто ему не хватает времени. А вот на бокс он решил сходить обязательно. Затем, узнав, кто будет выступать на ринге, писатель махнул рукой:

«Лучше вовсе не ходить, чем смотреть плохой бокс. Мы все пойдем на бокс, когда вернемся из Европы, потому что необходимо хоть несколько раз в году увидеть хороший бой. А если долго не ходить на бокс, то и вовсе отвыкнешь от него, а это опасно».

Спорт, мы говорили, был частью жизни американской семьи. И в рассказе «Дома» писатель говорит о семье, где спорт любят, уважают, где спортом интересуются, где даже газеты начинают читать со спортивных отчетов: «Она протянула ему «Канзас-Сити стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды... Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

— Сегодня в школе мы играем в бейсбол, — сказала она. — Я буду подавать.

— Это хорошо, — сказал Кребс. — Ну как там у вас в команде?

— Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня научил. Другие девочки

играют неважно... Ты пойдешь посмотреть, как я играю?

— Может быть.

— Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю...

Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол».

Об этом Хемингуэй напишет, уже вернувшись из Европы с мировой войны.

В 1917 году Эрнест стремился попасть в действующую армию — он пытался записаться добровольцем. Но врачи нашли, что у него плохое зрение. Возможно, он унаследовал его от матери. Но, скорее всего, плохое зрение — результат травмы на тренировке, когда воспитатель пытался отвадить его от бокса. В дальнейшем травма глаза очень часто давала знать о себе. В 1950 году Хемингуэй даже временно ослеп.

А тогда — в годы первой мировой войны — он все же сумел уехать на фронт и попал в санотряд на Апеннинский полуостров. Отряд действовал в тылу. А Эрнесту не терпелось понюхать пороху на передовой. Позднее он грустно пошутил: «Я был большим дураком, когда отправлялся на ту войну. Я припоминаю, как мне представлялось, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании».

Хемингуэй получил назначение на должность водителя санитарных машин Красного Креста. Водить автомобиль приходилось по узким горным дорогам Доломитовых Альп с их бесчисленными серпантинами. Но даже такая нелегкая работа не прельщала Эрнеста — он жаждал видеть войну, ради которой приехал в Европу. И тогда Хемингуэй вызвался снабжать армейские лавки и мага-

зины. Он умудрялся доставлять продукты прямо в окопы итальянских солдат. Добирался до передовой на велосипеде, который чудом где-то раздобыл. Эрнест быстро освоил езду по лесным дорогам, простреливаемым противником.

Во время велосипедных маршрутов, бывая на разных участках фронта, он увидел кровавый лик войны. Увидел — и поразился. И ужаснулся. Он еще не знал, что будет писателем, но людское страдание переродило его: «Я увидел людей в моменты нечеловеческого напряжения, я увидел, как они ведут себя до этого и после». На войне он и себя увидел со стороны. «Я много узнал про самого себя» — это его признание более поздних лет.

Думается, прозрение началось после тяжелого ранения 8 июля 1918 года, о котором он сообщал родителям:

«Дорогие мои!

Наверное, у вас было много шума, когда меня подстрелили?.. От 227 ран, которые я получил при взрыве, мне тогда совсем не было больно. Только на ногах у меня как будто были надеты резиновые сапоги, полные горячей воды, и было что-то неладно с коленной чашечкой. Пулю из пулемета я почувствовал, как будто меня сильно ударили по ноге мерзлым снежком. Правда, она сшибла меня с ног. Но я снова поднялся и втащил моего раненого в окоп. Там я свалился...

Никто не мог понять, как я прошел 150 метров с таким грузом, с простреленными коленями, с пробитой в двух местах правой ступней — а всего было больше двухсот ран...

К тому времени мои раны болели, как будто 227 маленьких дьяволов забивали гвозди в живое тело... Итальянский хирург замечательно оперировал мое правое колено и ступню, наложил 28 швов

и уверяет меня, что я смогу ходить так же хорошо, как и раньше...»

То, что он увидел и понял в госпитале, позднее найдет отражение в его произведениях. В гигантской мясорубке гибли, калечились будущие академики и музыканты, будущие Эдисоны и Моцарты, будущие олимпийские чемпионы. Война отнимала все... Но были и такие, кого война не убивала. Она делала хуже — отнимала здоровье, цель и смысл жизни, топтала мечты. Эти люди возвращались с войны двадцатилетними по возрасту, но душою гораздо старее своих родителей. Это было знаменитое своей неприкаянностью «потерянное поколение». О нем мы читаем в рассказе «В чужой стране». Здесь ничего не происходит — обыкновенная больница, обыкновенные раненые, обыкновенные слова утешения, за которыми скрывается так много недосказанного, истинно хемингуэевского:

«К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил:

— Чем увлекались до войны? Занимались спортом?

— Да, играл в футбол, — ответил я.

— Прекрасно, — сказал он, — вы и будете играть в футбол лучше прежнего.

Колено у меня не сгибалось, нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал:

— Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом.

В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмиг-

нул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил:

— А я тоже буду играть в футбол, доктор?

Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии».

В напряженные минуты в госпитале Хемингуэй и его товарищи вспоминают прошлое. А так как все они молоды, им больше всего вспоминаются их школьные годы, их спортивные увлечения. И, как в довоенное время, дома, они жадно ждут новых газет. И читают их, начиная, разумеется, со спортивных отчетов:

«В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, спустил занавески на балконной двери и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда «Чикаго-Уайт-Сокс» взяла приз американской лиги, а в национальной лиге впереди шла команда «Нью-Йорк-Джайэнтс». Бэйб Рут играл теперь за Восток. Газеты были скучные, новости были затхлые и узко местные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось, что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же их читал. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну? Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки. Во Франции скачек уже не бывает».

Спорт для молодого Хемингуэя (как и для его

сверстников) — дело честное. «Там, где чисто, светло» — таким он видел спорт. Воспоминания о доме, о собственной юности теснились у него в голове — и надо ли удивляться, что память отбирала самые лучшие, самые светлые моменты, самые неповторимые минуты. Через десять лет его герои будут мечтать в романе «Прощай, оружие!»:

«— Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах.

— Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене, — сказала Кэтрин.

— Давай поедем туда.

— Давай, — сказала она».

Случилось так, что идиллическую поездку заменило бегство, бегство от обозленных поражением итальянских солдафонов:

«Я греб в темноте, держась так, чтобы ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтобы это случилось как можно позднее...

В таможне очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать:

— Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?

— Я спортсмен, — сказал я. — Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.

— Зачем вы приехали сюда?

— Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.

— Здесь не место для зимнего спорта.

— Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом...

Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег».

Война казалась далекой... Но вот она кончилась. И все-таки от нее нельзя было уйти. Она дала новое зрение, новые мерки жизни.

Вернувшись в Чикаго, Хемингуэй на первых порах писал спортивные фельетоны. Здесь же, в Чикаго, он новыми глазами взглянул на мир профессионального спорта: жульничавших боксеров и предлагающих свои услуги гангстеров. И именно им были задуманы такие рассказы, как «Пятьдесят тысяч», «Убийцы».

В мире этом все продается и покупается — чувства, мотоциклы, купальники. Слава ветерана войны, — а Хемингуэй был первым американцем, раненным в Италии и награжденным за отвагу серебряной медалью «За доблесть» и Итальянским военным крестом, — сопровождала Хемингуэя в дороге домой. Но приносила она ему только горечь. Его приглашали в дома знаменитых людей города, чтобы украсить им обеденный стол. Мирок родного городка, все привычное и обжитое стало вдруг бесконечно неприятным и чуждым. Он пробует лечиться от хандры в лесах Северного Мичигана. Начинает писать. Мечтает стать литератором. Но жизнь, какой он видит ее, не дает на это никаких надежд. И спорт, который он так любил, разочаровывает. Прочитаем несколько строк из рассказа «Трехдневная непогода». Это самое страшное, когда о продажности спорта

говорят, когда в спорте разочаровываются юные:

«— Как дела у «Кардиналов»?

— Проиграли подряд две игры «Гигантам».

— Ну, теперь им крышка.

— Нет, на этот раз просто поддались, — сказал Билл. — До тех пор, пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в лиге, им бояться нечего.

— Ну, всех-то не скупишь, — сказал Ник.

— Когда нужно, покупает, — сказал Билл, — или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и лига с радостью сплавляет их ему».

Пройдет больше 25 лет, и Эрнест Хемингуэй скажет о своей мечте: найти себе бейсбольный клуб, состоящий из молодых игроков.

«Только я не стану подавать им знаки программкой, чтобы изменить ход игры», — заметит он.

А пока Хемингуэй советует и героям своим, и читателям заниматься теми видами спорта, где нельзя ничего купить и продать, где можно получить только радость.

«— Давай выпьем за рыбную ловлю, — сказал Билл.

— Хорошо, — сказал Ник. — Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

— Везде и всюду, — сказал Билл. — Где бы ни ловили.

— Рыбная ловля, — сказал Ник. — Пьем за рыбную ловлю!

— А она лучше, чем бейсбол, — сказал Билл.

— Какое же может быть сравнение? — сказал Ник. — Как мы вообще могли говорить о бейсболе?»

Увидев околоспортивных гангстеров, аферистов, авантюристов и проходимцев, Хемингуэй ужаснулся — ему стало не по себе в Чикаго —

этой безалаберной столице дельцов и бандитов как спортивной арены, так и биржи, так и политики.

В рассказе «Чемпион» так описан бывший кумир американских болельщиков Эд Фрэнсис:

«Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза как щелки и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.

— Что, нравится моя сковородка? — спросил человек.

Ник смутился.

— Да, — сказал он.

— Смотри.

Человек снял кепку.

У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха — культяпка.

Бывшему идолу зрителей осталась одна забава — хвалиться своим пульсом. И вот он стоит перед Ником жалкий, голодный, оборванный...»

В спортивных рассказах тех лет писателя волнуют вопросы чести, нечистой игры и расплаты.

В новелле «Убийцы», которую сам Хемингуэй очень любил, эти вопросы решены художественно наиболее убедительно. Оле Андерсон нарушил правила. Но отнюдь не честной спортивной борьбы.

Кто знает, кому из сподвижников Аль-Капоне или ему подобных не угодил долговязый швед, какой сделке он помешал. И вот теперь его преследуют люди, для которых убийство такое же профессиональное дело, как для Оле бой на ринге. Им все равно, кого убивать, лишь бы платили.

Оле понимает, что ему не уйти от расплаты, он лежит на кровати в состоянии полной прострации. Он, победивший противника, оказывается в положении загнанного зверя.

«Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андерсон одетый лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него...

— В чем дело? — спросил он.

— Джордж послал меня предупредить вас.

— Все равно тут ничего не поделаешь, — сказал Оле Андерсон.

— Хотите, я вам опишу, какие они?

— Я не хочу знать, какие они, — сказал Оле Андерсон. Он смотрел на стену. — Спасибо, что пришел предупредить.

— Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежащего на постели.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет, — сказал Оле Андерсон. — Это бесполезно...»

В рассказе «Гонка преследования» загнанный гонщик-велосипедист Вильям Кемпбелл лежит на постели, допившись до белой горячки. Кемпбелл, приняв наркотики, укрылся простыней, как саваном. В сущности — это живой труп. Он дошел до такой жизни в ожидании расплаты. Когда его хозяин грозит ему: «Ну, они тебя от этого вылечат», — он отвечает почти так же, как герой «Убийц»: «Ни от чего они не могут вылечить».

Кончается карьера в спорте, кончается жизнь.

А ведь Оле Андерсон и Вильям Кемпбелл в прошлом известные спортсмены.

А вот еще один боксер, о котором писатель поведал в рассказе «Пятьдесят тысяч»: Джек Бренан, выдающийся профессионал.

«Джек Бриттон, который послужил прототипом главного героя, был боксером — и я им восхищался, — признавался Хемингуэй. — Джек Бриттон всегда был начеку. Непрерывно двигаясь по рингу, он никогда не позволит нанести себе сильный удар. Как-то я спросил Джека, обсуждая его бой с Бенни Леонардом: «Как тебе удалось так быстро расправиться с Бенни, Джек?» — «Эрни, — ответил он, — Бенни очень опытный боксер. Он не перестает думать во время боя. А пока он думал, я его бил».

Джек двигался по рингу с геометрической точностью, ни на миллиметр в сторону. Никто не мог нанести ему сильный удар. У него не было противника, которого он не мог бы ударить, когда хотел». Этот случай Хемингуэй описал в начальном варианте рассказа «Пятьдесят тысяч», но Скотт Фицджеральд уговорил его выбросить этот кусок. Эрнест послушался — дело было не только в уважении к Фицджеральду. Хемингуэй опустил то, что не имело для развития образа героя особого значения.

А вот главное в жизни боксера описано точно и подробно: Джек думает о спорте как об унылом деле, как о прибыльном бизнесе.

В последний день перед боем он говорит: «Беспокоюсь насчет своего дома в Бронксе, беспокоюсь насчет своей усадьбы во Флориде. О детях беспокоюсь и о жене. А то вспоминаю матчи. Потом у меня есть кое-какие акции — вот и о них беспокоюсь».

Джек перестает играть на скачках, потому что не хочет риска проигрыша; он выгоняет спарринг-партнера, потому что боится нервного напряжения; готов экономить на пустяках — хочет отложить лишний доллар. Он давно смотрит на себя, как на предприятие.

Хороший куш — вот что заменило Джеку все. Он знает только деньги, которые припас для семьи. Остальное — ерунда, разговоры. И Джек готов на самую нечестную сделку.

Рисуя без прикрас состязания и портреты спортсменов, Хемингуэй не просто обличает продажность. Он пытается искать выход, он видит у боксеров, бейсболистов светлые черты характера, он восславляет их мужество и непреклонность.

В 1961 году в Нью-Йорке вышла книга «Хемингуэй и его критики», в которой приводится признание Нобелевского лауреата: «Я учился в Чикаго писать и искал те неприметные подробности, которые, однако, производят впечатление, например, жест, каким один из игроков, не глядя, бросил перчатку через плечо, скрип брезента под плоскими подошвами боксерских башмаков, посеревшая кожа Джека Блекборна, когда он только что поднялся на ноги, и разные другие мелочи, которые я запомнил подобно тому, как художник делает наброски. Отмечаешь необычный цвет кожи Блекборна, старые порезы бритвой, удар, которым он отбрасывает противника, — еще не зная его жизни».

Еще не зная его жизни...

Конечно, в 1920 году Хемингуэй еще не знал, каким будет Роберт Кон, персонаж первого романа, который принес ему мировую славу. «Фиеста» появится только через шесть лет. Но характер Кона, боксера, которому довелось быть любовником на час Брет Эшли и который на протяжении всего повествования преследует Брет своими домогательствами, этот образ сложился у писателя еще в Чикаго.

У Роберта Кона редкая способность вызывать неприятное чувство. Он и живет-то не как все — надумал себе жизнь, вычитал ее из книг, щеголя-

ет умением боксировать, чтобы доказать, что он настоящий мужчина, щеголяет любовницей, стремясь этим еще что-то доказать. Он думает только о себе. Он и спортом-то начал заниматься по недоразумению:

«Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень многое. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему... относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нрава он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять или двести пять фунтов. Но для Кона, по-видимому, это оказалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплющил ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение и, несомненно, улучшило форму его носа».

Для Роберта Кона Хемингуэй не жалеет красок своей богатой сатирической палитры. Он не прощает боксеру ничего — ни зазнайства, ни эгоизма, ни отсутствия элементарной тактичности, ни его миловидности, ни позы мученика. Чемпион Принстона в среднем весе Кон без труда избивает до бессознательного состояния щуплого матадора Ромеро, в которого влюбилась Брет. Но даже избитый

маленький Ромеро все равно не сдается и вынуждает победителя Кона с позором бежать от свидетелей этой расправы.

...Итак, подводя итог чикагскому периоду жизни начинающего писателя, можно сказать — он начинал как спортивный беллетрист, он пытался фиксировать на бумаге все то, что видел и слышал, что чувствовал и понимал, присутствуя на матчах, в тренировочных залах. Природная наблюдательность помогала ему. Этот период можно сравнить со спортивным состязанием, именуемым прыжками в длину. Хемингуэй вышел на дорожку для разбега. Рассчитал свои силы, дождался момента, когда перестал дуть встречный ветер, и побежал. Он уже попал на доску для толчка. Оттолкнулся! За какой отметкой приземлится он? Рассказы, о которых мы говорили, были созданы позже, в парижский период его жизни, в те замечательные годы, которые он назвал «праздником». Праздником, который всегда оставался с ним!

Во Францию Эрнест плыл на пароходе «Леопольдина» со своей очаровательной женой Хэдли, которая с первого взгляда сражала всех своей непринужденностью, легкостью, спортивностью. Эрнест с восхищением рассказывал своей сестре Марселине о первом впечатлении от Хэдли. Они договорились пойти смотреть футбольный матч на стадионе Чикагского университета. Но накануне игры Хэдли подвернула ногу. Не желая портить настроение любимому, Хэдли, превозмогая боль, поднялась с постели, надела на больную ногу красный матерчатый тапочек и, опираясь на руку Эрнеста, пошла на стадион. Готовый ко всяким неожиданностям, Хемингуэй растерялся от такой выходки. «Любая другая смущалась бы, — говорил он восхищенно Марселине, — а Хэдли не обращала никакого внимания на свою туфлю. Она шла так, как

будто все в порядке. Это по-настоящему спортивная девушка».

В те годы характеристика «по-настоящему спортивная» была высшей оценкой для Хемингуэя.

Сегодня мы можем высказать предположение, что Хемингуэй не любил людей пассивных, безвольных, отдавшихся воле течения. Он любил тех, кто жил широко и открыто, пользуясь преимуществом молодости, которая дается человеку на очень короткое время, кто дышал полной грудью. Хемингуэй и сам излучал радость и удовольствие от жизни, гипнотически завораживая окружающих, невольно заставляя их идти за ним. Знавшие молодого Эрнеста так описывали его в те дни: «Сто килограммов веса были сосредоточены главным образом в верхней части тела: он был массивен, квадратен в плечах, но сухощав в бедрах. От него исходило какое-то совершенно особенное ощущение: упругости, заряженности электричеством и в то же время строгого контроля над каждым своим движением».

Когда Эрнест плыл с Хэдли через штормовой декабрьский Атлантический океан, то нашел для себя великолепное занятие, которое скрасило нелегкое путешествие для сотен пассажиров «Леопольдины»: Хемингуэй устроил на пароходе матчи по боксу с чемпионом из американского города Солт-Лейк-Сити Генри Кадди, который стремился в Европу для участия в крупнейших турнирах. Хемингуэй уступал в мастерстве профессионалу. Всего один матч смог выиграть Эрнест у сильного противника, но и этого было достаточно, чтобы стать счастливым: ведь он победил подлинного мастера ринга, Кадди, на которого, к слову говоря, произвели большое впечатление техника, напористость и сила Эрнеста. Кадди даже предложил своему противнику заняться боксом в Париже, гарантируя

успех. Польщенный Эрнест поблагодарил за искреннюю похвалу, но признался, что у него другие планы, связанные с пребыванием в Париже.

Забежим несколько вперед, пока «Леопольдина» еще качается в волнах Атлантики, и прочитаем характеристику американского писателя Линкольна Стеффенса, данную своему другу Хемингуэю, сумевшему за один год «завоевать» Париж: «Хемингуэй был тогда самым многообещающим американцем в Европе».

Сказано щедро. Но посмотрим: так ли это было на самом деле. Молодой человек, которому не исполнилось еще и двадцати пяти лет, и вдруг — «самый многообещающий». Кем он был в свои неполные четверть века, этот писатель, с первых же рассказов заставивший говорить о себе, любимец литературного Парижа, жизнерадостный, сильный, превосходный рыболов и охотник, классный теннисист, азартный велосипедист, непобедимый боксер... неутомимый горнолыжник, бесстрашный матадор-любитель, ветеран войны, отмеченный боевыми наградами?

Его друг — поэт и редактор Эрнест Уолш написал стихи о нем:

Папаша солдат, боксер и тореро,
Писатель гурман, храбрец и эстет.
Он здоровенный парнище из-под Чикаго,
Где обувь шьют на номер больше,
И хорошо, что у него не ноги француза.
Они с Наполеоном не ужились бы,
Он расквасил бы нос Бонапарту...

«Они с Наполеоном не ужились бы». Чуть ли не любимым его словом тогда было: «Поспорим!»

И плохо было тому, кто спорил с ним: если писатель что-то хотел доказать — он доказывал. У него хватало на это и мужества, и силы воли.

А спортом писатель увлекался еще и потому, что знал: «Спорт — это здоровье. Спорт — это хо-

рошее настроение. Спорт — это долголетие». Человек должен жить долго. Цепь людских привязанностей рождается медленно. Через десять лет Хемингуэй признавал в «Зеленых холмах Африки»:

«От писателя требуется ум и бескорыстие и самое главное — долголетие. Попробуйте соединить все это в одном лице и заставьте это лицо преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем».

В потоке сознания писателя Гарри — героя рассказа «В снегах Килиманджаро», умирающего в охотничьем лагере, появляется картина Парижа двадцатых годов, Парижа, в котором Эрнест «был очень беден и очень счастлив». Хемингуэй подарил своему герою часть личной биографии:

«Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей... Не было для него Парижа милее этого... Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен».

В этой гостинице у Хемингуэя был номер, в который вело шесть или восемь (писатель даже не мог вспомнить) лестничных маршей и где было холодно, даже если истопить вязанку хвороста...

И в этой дешевой гостинице он жил и работал, переполненный счастьем, от которого кружилась голова. Он был счастлив, потому что любил прекрасную женщину и был любим ею. Счастлив оттого, что, еще не создав своей «большой» книги,

уже был уверен: он ее обязательно напишет и издаст. Уверенность эта сидела в нем твердо, потому что он смог сформулировать для себя главный закон писательства:

«Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно как бегун, который пытается побить собственный рекорд, а не просто соревнуется со всеми соперниками в данном забеге. Иначе никогда не узнаешь, на что ты в самом деле способен».

Через десяток с небольшим лет в «Зеленых холмах Африки», размышляя о нелегком литературном пути, Хемингуэй объясняет, почему буржуазное общество губит тех писателей, которые хоть и талантливы, но не стойки духом, не тверды в своих убеждениях:

«Мы губим их (писателей. — *А. Ю.*) всеми способами. Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньгу... Разбогатев, наши писатели начинают жить на широкую ногу, и тут-то они попадаются. Теперь уж им приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, прочая, — а в результате получается макулатура... Раз изменив себе, они стараются оправдать эту измену, и мы получаем очередную порцию макулатуры».

Сам Хемингуэй, несмотря на нужду, работал честно, ни на йоту не отступая от своих принципов: «Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет».

Хемингуэя нельзя было приманить ничем. Он отверг, к примеру, предложение издательского объединения Херста, которое сулило ему солидное обеспечение на долгие годы. А отверг, потому что

знал: трудясь на Херста, он вынужден будет отказываться от многих своих убеждений и подделываться под идеологию, проповедуемую этим гангстером в журналистике и литературе. Он предпочитал покупать обед за пять су на улице у торговцев жареным картофелем.

Писал он много. Работал как каторжник. Но ненапечатанные литературные труды дохода не приносили. В книге «Праздник, который всегда с тобой» он не пишет, как ему и Хэдли не хватало денег, как бы «забывает» о том, что приходилось подрабатывать, становясь шофером такси, а в гимнастическом зале на улице Понтуаз выступать спарринг-партнером боксеров-тяжеловесов, получая по десять франков за раунд, а позднее и обучать горнолыжному спорту богатых туристов в Швейцарии, Италии и Австрии... Но, даже будучи не всегда сытым, он всегда, повторим это, был счастлив.

Хемингуэй работал тяжело и трудно, он ведь только приобретал школу письма. Его натура требовала: в любом деле быть первым. Таким он хотел стать и в литературе, в той литературе, которая являлась для него смыслом и целью жизни. Он писал трудно и был очень рад этому, потому что знал: если пишется легко, значит, плохо читается... Через четверть века он посоветует своему младшему сыну Грегори, который хотел стать литератором: «Писать — дело трудное. Если можешь — не ввязывайся...» Но сам-то он ввязался в это дело, он жизнь свою положил на алтарь литературы, считая ее самым священным занятием из всех существующих в мире. И ради нее, литературы, он терпел все неудобства жизни, добывая деньги на пропитание организацией спортивных поединков, естественно, без вмешательства маклеров и коммерсантов, тотализатора и предварительных сделок. Он

предпочитал голодать, чем жертвовать самым главным для писателя — творчеством, словом. Он не умел и не хотел учиться подделываться под вкусы издателей, продавая свой талант. Он работал, писал с натугой, чтобы затем все это легче читалось.

Но после литературной работы он умел давать себе необходимый отдых. Он спешил на стадион, в гимнастический зал или на ринг. Эрнест весело шагал по улицам ничему не изумляющегося Парижа и весело боксировал с воображаемым противником, он как бы предвкушал радость от предстоящего поединка. А противники у него были неслабые. Советский литературовед Иван Кашкин рассказывает о случае, который произошел с Эрнестом на Зимнем велодроме:

«Здесь, вопреки всем правилам, устроена была встреча чемпиона среднего веса с легковесом Траве. На десятом раунде разозленный упорной обороной, чемпион обрушил на Траве превосходство своего веса, и дело, вероятно, кончилось бы убийством, но тут присутствовавший при этом Хемингуэй скинул пиджак, прыгнул на ринг и пустил в ход против чемпиона свой собственный тяжелый вес и увесистые кулаки. Изувеченный Траве был спасен от смерти.

Одни искренне восхищались этим атлетом, который и за себя постоит, и другого в беде выручит, а были люди, в основном потерпевшие, которые честили его забиякой, имея в виду его не литературный, а спортивный вес».

В те же годы Хемингуэй дал шуточное, откровенно-озорное интервью Сильвии Бич, которое было принято за чистую монету. Писатель говорил, что он вынужден был «по семейным обстоятельствам» стать боксером-профессионалом, что первыми его заработками были призы за выигранные бои на

ринге и что ему стоило больших трудов бросить профессию боксера.

В Париже Хемингуэй продолжал ходить в зал бокса для поддержания спортивной формы. Как он сам признается в «Прощай, оружие!»:

«Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром... Очень приятно было после бокса и душа пройти по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть, и посмотреть на людей, и прочесть газету... Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале это было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть: прыгал через веревку, и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом...»

В двадцатые годы снова вспыхнула в писателе любовь к велосипедным гонкам. Он и раньше хорошо управлялся с двухколесной машиной, участвовал в различных соревнованиях, но велосипед в Америке не пользовался большой популярностью. И потому велосипедное увлечение Эрнеста оставалось тайным для многих. Попав же в Европу, Хемингуэй увидел настоящие гонки и подлинных асов «трасс ада». И в Италии во время войны, и в послевоенной Франции он значительную часть своего времени посвящает велосипеду.

В архиве писателя сохранилась фотография,

сделанная в годы войны, — рядовой Эрнест Хемингуэй стоит с велосипедом возле развороченного здания в местечке Фассальта. К раме велосипеда приторочен карабин.

Во Франции же писателя привлекали не столько сами занятия велосипедом, сколько неповторимые, захватывающие поединки на шоссе и треке. Позднее он с теплотой будет вспоминать:

«Велосипед сразу захватил меня: было в нем что-то новое и неизведанное... Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне неизвестной. Но мы увлеклись ими сразу... Я начал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе. Но я все-таки покажу Зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и особое шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами; покажу все волшебство demifond*: ревущие мотоциклы с роликами позади и entraineurs** на них в тяжелых защитных шлемах и внушительных кожаных куртках, сидящих, расправив плечи, чтобы загородить от встречного потока воздуха гонщиков в шлемах полегче, пригнувшихся к рулю и бешено крутящих огромные зубчатые передачи, чтобы маленькое переднее колесо не отставало от роликов позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающие дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не

---

* Гонка за лидером.

** Лидеры.

ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден.

Разновидностей велогонок было очень много. Обычный спринт с раздельным стартом или матчевые гонки, когда два гонщика долгие секунды балансируют на своих машинах, чтобы заставить соперника вести, потом несколько медленных кругов и наконец резкий бросок в захватывающую чистоту скорости. Кроме того, дневные двухчасовые командные гонки с несколькими спринтерскими заездами для заполнения времени; одиночные состязания на абсолютную скорость, когда гонщик в течение часа соревнуется со стрелкой секундомера; очень опасные, но очень красивые гонки на сто километров по крутому деревянному треку пятисотметровой чаши «Буффало» — открытого стадиона в Монруже, где гонщики шли за тяжелыми мотоциклами; Линар, знаменитый бельгийский чемпион... к концу, увеличивая и без того страшную скорость, пригибал голову и сосал коньяк из резиновой трубки, соединенной с грелкой у него под майкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на бетонном треке в шестьсот шестьдесят метров длиной в парке Принца возле Отейли — самом коварном треке, где на наших глазах разбился великий Ганэ и мы слышали хруст черепа под его защитным шлемом, точно во время пикника кто-то разбил о камень крутое яйцо. Я должен описать необыкновенный мир шестидневных велогонок и удивительные шоссейные гонки в горах. Один лишь французский язык способен выразить все это, потому что термины все французские. Вот почему так трудно об этом писать».

Изнуряющие поединки с боксерами-профессионалами, теннисные матчи с американским поэтом Эйзрой Пауда, велосипедные гонки в ненастные зимние дни уступили новому спортивному увлече-

нию — Хемингуэй пристрастился к горным лыжам. Началось все в те дни, когда он вместе с женой побывал в швейцарском местечке Монтре. Там они ловили форель в светлых быстрых ручьях, взбирались на Cap en moine — крутую снежную гору, с которой спускались, сев на снег и отдавшись во власть скорости. То были прекрасные дни, когда они пешком ходили через Сен-Бернарский перевал из Швейцарии в Италию и обратно. То было время смелых планов, надежд, стремлений, бурного отдыха, острой смены впечатлений, время молодости и озорства. В «Празднике...» Хемингуэй с любовью вспомнит те давние разговоры с женой:

«— Ты помнишь, как мы карабкались по снегу, а на итальянской стороне Сен-Бернара сразу попали в весну, а потом ты, Чине и я весь день спускались через весну к Аосте?

— Чине назвал эту вылазку «В туфлях через Сен-Бернар». Помнишь эти туфли?

— Мои бедные туфли!»

Сколько в этом простеньком диалоге поэзии. Он написан по особому принципу, еще в двадцатые годы найденному Хемингуэем:

«Я всегда старался писать по методу айсберга. Семь восьмых его скрыто под водой, и только восьмая часть — на виду. Все, что знаешь, можно опустить — от этого твой айсберг станет только крепче. Просто эта часть скрыта под водой. Если же писатель опускает что-нибудь по незнанию, в рассказе будет провал».

В новелле «Кросс на снегу» есть такое выражение «Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого...» Фраза написана так зримо, что ты ощущаешь движение, представляешь, как спускался этот Джордж, хотя сегодня все уже забыли, что

такое «телемарк»... Сложный технический прием подан наглядно, потому что сам автор в совершенстве владел всем арсеналом горнолыжного спуска.

Уже после смерти Хемингуэя на страницах американского журнала «Ски» были опубликованы воспоминания Хэдли Хемингуэй, в которых она рассказывает об увлечении лыжным спортом в семье писателя:

«Как только мы приехали в Швейцарию, лыжи стали для нас необходимостью. Эрнест с величайшей тщательностью выбирал снаряжение, со всеми советовался. Казалось, что никогда этому не научишься, но вдруг, к огромной радости, все получилось».

Наверное, в эти минуты и рождались в голове писателя слова благодарности лыжам, прозвучавшие позднее в «Кроссе на снегу»:

«— Нет ничего лучше лыж, правда? — сказал Ник. — Знаешь, это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

— Да, — сказал Джордж. — Так хорошо, что и сказать нельзя...

— А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят».

В воспоминаниях Хэдли есть такие строки: «Мы проводили дни в далеких прогулках на лыжах, часами поднимались на вершины, оттуда видна была Швейцария. Эрнест был полон энтузиазма. Чудом было вообще, что с его разбитым коленом он мог ходить на лыжах, и причем хорошо».

Увлечение горами и лыжным спортом было для Хемингуэя случайным и до известной степени вынужденным. «...Мы были по-настоящему бедны, когда вернулись из Канады, и я бросил журналистику и не мог продать ни одного рассказа, а зимой с ребенком в Париже приходилось очень труд-

но» — это его позднее свидетельство. И в те минуты безденежья и холодов кто-то сказал Эрнесту и Хэдли, что есть в Австрии горные деревушки и маленькие городки, в которых можно относительно дешево прожить с ребенком, сочетая литературную работу и занятия спортом на горных курортах. Понадеявшись на удачу, они собрали не слишком тяжелый багаж, прихватили с собой маленького Джона-Бамби и... очутились в тихой австрийской деревушке Шрунс, которая официально называлась городом, залитой солнцем, с лесопилками, лавчонками-магазинами, гостиницами и зимним отелем «Таубе», в котором они и разместились. Для Хемингуэя и его семьи наступили светлые дни, которые он с благоговением вспоминал и через тридцать лет, работая над книгой «Праздник, который всегда с тобой»:

«Комнаты в «Таубе» были просторные и удобные, с большими печками, большими окнами и большими кроватями, с хорошими одеялами и пуховыми перинами. Кормили там просто, но превосходно, а в столовой и баре, отделанном деревянными панелями, было тепло и уютно. В широкой и открытой долине было много солнца. Пансион стоил два доллара в день за нас троих, и, так как австрийский шиллинг все время падал из-за инфляции, стол и комната обходилась нам все дешевле. Однако такой ужасной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Шиллинг то поднимался, то падал, но в конечном счете все же падал.

В Шрунсе не было лифтов для лыжников и не было фуникулеров, но по тропам лесорубов и пастухов можно было подняться высоко в горы. При подъеме к лыжам прикреплялись тюленьи шкурки. В горах стояли хижины Альпийского клуба — для тех, кто совершает восхождение летом. Там можно было переночевать, оставив плату за израсходован-

ные дрова. Иногда дрова нужно было приносить с собой, а если ты отправлялся в многодневную прогулку высоко в горы к ледникам, приходилось нанимать кого-нибудь, чтобы поднять туда дрова и провизию и устроить там базу. Самыми знаменитыми из всех высокогорных хижин-баз были Линдауэр-Хютте, Мадленер-Хаус и Висбаденер-Хютте.

Позади «Таубе» находилось что-то вроде тренировочного спуска, по которому ты съезжал через сады и поля, и был еще другой удобный склон за Чаггунсом, по ту сторону долины, где была прелестная маленькая гостиница с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах бара. И за Чаггунсом, деревней лесорубов, расположенной в дальнем конце долины, уходили вверх отличные лыжни, выводившие к перевалу...

Шрунс был отличным местом для Бамби — хорошенькая темноволосая няня вывозила его в санках на солнце и присматривала за ним, пока мы с Хэдли исследовали новый край и все окрестные селенья. Жители Шрунса были очень добры к нам. Герр Вальтер Лент, пионер горнолыжного спорта, который одно время был партнером Ганнеса Шнейдера, великого арльбергского лыжника, и изготовлял лыжные мази для горных подъемов и для всех температур, теперь собирался открыть школу горнолыжного спорта, и мы оба записались в нее. Система Вальтера Лента заключалась в том, чтобы как можно быстрее покончить с занятиями на тренировочных спусках и отправить учеников в настоящие горы. В то время лыжный спорт не был похож на современный, спиральные переломы были редкостью, и никто не мог позволить себе сломать ногу. Лыжных патрулей не было. Перед любым спуском надо было проделать подъем. И это так укрепляло ноги, что на них можно было положиться во время спуска.

Вальтер Лент считал, что в лыжном спорте самое большое удовольствие — забраться на высокую гору, где никого нет и лыжня не проложена, и ехать от одной хижины — базы Альпийского клуба к другой через альпийские ледники и перевалы. Нельзя было пользоваться и такими креплениями, которые при падении грозили переломом ног: лыжи должны были соскочить сразу же. Но больше всего Вальтер Лент любил спускаться с ледников без каната, однако для этого нужно было ждать весны, когда трещины закрываются достаточно плотно.

Мы с Хэдли увлекались лыжами с тех пор, как в первый раз попробовали этот вид спорта в Швейцарии, а потом в Кортина-д'Ампеццо в Доломитовых Альпах, когда должен был родиться Бамби и миланский доктор разрешил ей ходить на лыжах, если я пообещаю, что она не упадет. Для этого требовалось очень тщательно выбирать спуск и лыжню и все время следить за собой, но у нее были очень красивые, удивительно сильные ноги, и она прекрасно владела лыжами и ни разу не упала. Все мы знали, каким бывает снег, и умели ходить по глубокому пушистому снегу.

Нам очень нравилось в Форарльберге, и нам очень нравилось в Шрунсе. Мы уезжали туда в конце ноября и жили почти до пасхи. Там всегда можно было заняться лыжами, хотя для лыжного курорта Шрунс и расположен слишком низко — в его окрестностях снега бывает достаточно только в самые снежные зимы. Однако взбираться в гору было удовольствием, и в те дни из-за этого никто не ворчал. Ты устанавливал для себя определенный темп, значительно ниже твоих возможностей, так что подниматься было легко, и сердце билось ровно, и ты гордился, что у тебя на спине тяжелый рюкзак. Подъем к Мадленер-Хаус был местами

очень крут и тяжел. Но во второй раз подниматься было уже легче, и под конец ты легко взбирался, неся на спине двойной груз.

У нас был запас книг, которые Сильвия Бич разрешила нам взять с собой на зиму».

Ох, какие это были книги — Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов — избранная русская классика. «Сокровищем» называл их Хемингуэй и возил с собой эти тома, путешествуя по Швейцарии, Италии и Австрии. В его рюкзаке и саквояже всегда были книги. Они-то и помогали ощущать полноту бытия даже в заброшенной в облаках долине Форарльберга. Он не переползал изо дня в день, а «жил в найденном... новом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью — другой мир, чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские» — признание Хемингуэя для нас, соотечественников Толстого и Чехова, особенно приятно.

По утверждению самого писателя, в перерывах между головоломными спусками и тяжелыми подъемами к вершинам он выполнил «самую трудную работу» в жизни — превратил в роман «Фиеста» первый вариант «И восходит солнце».

Было это зимой 1925/26 года. Тогда природа ополчилась против отдыхающих, грозя завалами и лавинами. На лыжах ходили только самые отчаянные. Хемингуэй был, разумеется, среди них, но далеко от отеля «Таубе» не отъезжал. Он не за себя боялся, а не хотел нервировать жену, которой запрещал кататься с гор в таких условиях.

Он искал острых ощущений. И горы, и без того полные каверз и неожиданностей, дарили ему сюрпризы на каждой вылазке. Он физически ощу-

щал природу, и даже через тридцать лет признавался:

«Я помню все виды снега, которые может создать ветер, и все ловушки, которые они таят для лыжников. И метели, которые налетали, пока мы сидели в хижине Альпийского клуба и создавали новый, неизвестный мир, в котором нам приходилось прокладывать путь так осторожно, словно мы никогда прежде здесь не бывали. Но мы действительно никогда прежде здесь не бывали, потому что все вокруг становилось новым. Наконец, поближе к весне наступало главное — спуск по леднику, гладкий и прямой, бесконечно прямой — лишь бы выдержали ноги, и мы неслись, низко пригнувшись, сомкнув лодыжки, отдавшись скорости в этом бесконечном падении, в бесшумном шипении снежной пыли. Это было лучше любого полета, лучше всего на свете, а необходимую закалку мы приобретали во время долгих восхождений с тяжелыми рюкзаками. Иначе мы не могли добраться наверх: билеты туда не продавались. Ради этого мы тренировались всю зиму, и то, чему учила нас зима, делало достижение этой цели возможным».

В горах Хемингуэй мужественно пережил тяжелый удар — потерю рукописей неоконченного романа и нескольких рассказов. А дело было так: Хэдли, надеясь преподнести сюрприз мужу, решила захватить в горы чемоданчик с рукописями. Она знала, как любил Эрнест после лыжных прогулок сидеть над черновиками и править уже написанное. Хэдли положила в чемодан все рукописи и варианты... На Лионском вокзале она вышла из купе попить воды, а когда вернулась, то обнаружила пропажу чемодана.

Воры даже не подозревали, что они украли годы работы писателя. Рукописи им конечно же не принесли ни цента, а для Хемингуэя их пропажа была

тяжелейшим ударом. Нокаутом или нокдауном, если уж говорить языком столь любимого Эрнестом бокса. На склонах Альп, забываясь в скорости, Хемингуэй старался не думать о пропаже. Ему было больно травмировать жену, которая и без того пребывала в отчаянии...

В Доломитовых Альпах он сумел оправиться после нокдауна, который преподнесла ему судьба, выкрав рукописи*. Как настоящий боец он, слыша голос рефери: «Один, два... пять... семь... восемь!» — сумел подняться, не дожидаясь счета: «Девять!» Он поднялся, чтобы продолжить борьбу. Он снова обрел счастье, наблюдая за форелью, плещущейся в холодных горных речушках, спускаясь со снежных вершин, разбирая для досье спортивные журналы, которые ему пересылал из Америки доктор Хемингуэй. Сам Эрнест продолжал живо интересоваться спортивной жизнью и в родной стране, и в Европе. Так, однажды он даже специально ездил в Париж на матч боксеров Сики и Карпантье, потому что не представлял, как пропустить этот «поединок года», столь широко разрекламированный в прессе. Ради хорошего бокса он готов был отказаться от многого. Да и само присутствие на матче, запахи растирки, атмосферы вокруг ринга нужны были писателю, чтобы отвлечься от собственных невзгод, чтобы еще раз найти ответ на вопрос: «Что получает победитель?» Пережив неудачу в поединке с судьбой, Хемингуэй вышел победителем. И это дало ему моральное право поднять в своих произведениях тему победы и поражения.

Не всем читателям Хемингуэя нравились спортивные мотивы в романах и повестях писателя.

* Чемодан с рукописями, будто бы пропавший у Хемингуэя, некоторыми биографами писателя рассматривается как легенда, им самим созданная.

Были известные, всемирно признанные критики, которые в его неповторимой «Фиесте» не нашли ничего другого, кроме «бокса, бутылки и боя быков». Но разве об этом — о боксе и бутылке — писал, когда показывал теневые стороны спорта, его язвы. Он вскрывал их, чтобы заявить на весь мир:

«Спорт начинает разлагаться. Смертельная опухоль съест живую ткань спорта, если мы отдадим его гангстерам, богачам и политиканам. Мы не имеем права не видеть, что спорт болен, мы не можем молчать, потому что любим спорт».

Если внимательно перечитать «Фиесту», то пленишься поэтичностью, с которой описывает спорт Хемингуэй. Спорт в союзе с природой играет в романе очистительную функцию: после ресторанного чада Парижа вдруг рисуется поездка в Бургете на ловлю форели; после диких сцен ревности боксера Кона и избиения им матадора — изумительная сцена купания Джейка в море и т. д.

В 1927 году Хемингуэй выпустил сборник «Мужчины без женщин». Все рассказы сборника — гимн мужскому товариществу. В этом сборнике напечатаны шесть рассказов на спортивную тему — среди них «Мой старик» и «Кросс на снегу». В «Моем старике» писатель с необыкновенной теплотой рисует портрет старого спортсмена — жокея, который вынужден сгонять вес, чтобы уверенно чувствовать лошадь:

«И тут мы пускаемся с ним рысцой по скаковой дорожке, он впереди, сбежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идет от Сан-Сиро и по обе стороны обсажена деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину,

а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо, к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» — оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан».

«Победитель не получает ничего» — это одна из самых горьких и мужественных фраз Хемингуэя. Родилась она в те годы, когда он увлекся корридой — поединком человека и быка. Писателю достаточно было один раз увидеть это противоборство, чтобы надолго заболеть корридой.

«Бой быков — это не спорт. И никогда не задумывался как спорт. Это трагедия. Большая трагедия. Трагедией является смерть быка... В любом случае это не спорт. Это трагедия, и она символизирует борьбу между человеком и зверем.

...В этой схватке, когда он выходит на арену со своей тонкой шпагой и куском красной материи, смерть может настигнуть либо быка, либо матадора. Ибо ничьей в этой борьбе не бывает».

За семь лет — с 1923 года, когда он впервые увидел фиесту в честь святого Фирмина, до выхода книги «Смерть после полудня» — писатель просмотрел полторы тысячи поединков человека и быка. «Полторы тысячи» — я намеренно написал эти слова буквами, а не цифрами, чтобы представить: сколько эмоций отдано им корриде.

А ведь Хемингуэй не только наблюдал за поединками со стороны, он считал, что каждый мужчина должен испытать себя и выйти на арену, когда тренируют молодых бычков. Однажды его приятель Дональд Стюарт выскочил на арену и сразу же был брошен быком на землю. Неизвестно, чем бы кончилось это происшествие, если бы Эрнест не выпрыгнул на помощь пострадавшему и,

размахивая рубашкой, не отвлек бы быка, схватив его за рога и с фантастической силой пригнув мощную голову к земле.

Не все понимали характер Хемингуэя, даже близкие друзья порой не одобряли его образа жизни. Они видели то, что было на поверхности, — бокс, велогонки, лыжи, скачки. Спортивные увлечения писателя обрастали слухами и домыслами, порождали легенды о «грубияне и драчуне» Хемингуэе. Не всем было дано знать, как тщательно и много писатель работал в те годы, переделывая отдельные страницы по десять-двадцать, а то и по тридцать девять раз. Друг молодости Эрнеста прогрессивный американский поэт Арчибальд Мак-Лиш, осмысливая жизненный и творческий путь лауреата Нобелевской премии Хемингуэя, пытался говорить о гармонии его личности. Он считал, что тот образ жизни, который он избрал для себя и которого придерживался до последних дней, вплоть до рокового выстрела из ружья «Ричардсон», этот образ жизни был единственным, который помогал Хемингуэю в его творчестве:

«Писателей обычно судят по их творчеству, но жизнь Хемингуэя с такой угрожающей силой врывается в его творчество, что критики никак не могут сойтись в своих мнениях... Они неправильно понимают взаимоотношения между задачей писателя и его жизнью. Они считают жизнь и творчество различными и даже противоречащими вещами. Критик осуждающий полагает, что жизнь Хемингуэя была предательством по отношению к его обязанностям — вы не должны часами сражаться с марлином и смотреть, как убивают 1500 быков, если вы серьезно относитесь к своему писательскому мастерству. Восторженный критик думает об обязанностях, как о побочных явлени-

ях по отношению к жизни, — вы застрелили гризли, а потом вы напишете об этом. Никто из них не понимает простого факта, что творчество — настоящее творчество — не является простым производным от отдельного изолированного опыта и не является изолированным созданием изолированного человека».

Хемингуэй был убежден, что жить надо именно так, как он жил. Думается, что, если бы ему представилась возможность прожить заново, он не отказался бы снова посмотреть полторы тысячи боев человека и быка, потому что он понимал корриду как справедливость борьбы, равенство возможностей матадора и животного, где шпага уравновешивает рога, но острое фехтовальное оружие нельзя пускать в ход, пока быку не предоставлено право, время и возможность продемонстрировать, способен ли он, бык, оказаться выше человека в этой борьбе.

Советский литературовед Э. Соловьев в философском этюде «Цвет трагедии» убедительно, на мой взгляд, показал и логично доказал, почему коррида прельщала такого экспансивного, не любящего сдерживать свои чувства человека, как Хемингуэй:

«На грани смерти матадор демонстрирует полноту власти над жизнью, над страхом, над телом. На арене корриды он дан в постоянном сопоставлении с животным, в единоборстве с ним. Здесь он доказывает, что является высшим из созданий, недосягаемым во всем: в своей проницательности, интуиции, сообразительности, в своих эмоциях и рефлексах. Он ощущает себя принадлежащим природе вместе с быком, но высшим в этом единстве и потому способным одержать верх... Коррида открывает непреложность трагического мужества, ясность и красоту борьбы, безусловное

совершенство человеческого существа перед лицом смерти». Делается все, «чтобы борьба нигде не перешла в нелепость убийства».

Хемингуэй был жизнелюбивым и жизнедеятельным человеком. Еще в тридцатые годы он пришел к выводу, что жить в действии для него «много легче, чем писать». «У меня для этого больше данных, чем для работы за столом», — говорил он без всякого кокетства.

Притягательная сила личности Хемингуэя и его книг, видимо, еще и в том, что он и его герои живут как все люди и в то же время как-то по-особому. Они стремятся везде быть первыми. Если выходить на ринг, то только затем, чтобы побеждать. Если мчаться с гор на лыжах, то уж обязательно красиво, быстро и технически идеально. Если ловить рыбу, то самую крупную. Если мчаться за антилопой, то только за самой стремительной, с поразительными рогами. Если охотиться на льва, то на самого храброго, и не стрелять в него из машины, а выходить на поединок на плато и быть в равных условиях с царем зверей. Вот эти честность и мужество самого писателя и любимых его героев и подкупают читателей.

Хемингуэй был человеком мужественным. Но мужество не пришло к нему само, по мановению волшебной палочки, он сам сформировал свой характер. Еще в детстве, когда не испугался ударов О'Хирна, пытавшегося отвадить его от бокса, Хемингуэй проявил свое «я»: ни три перелома носа, ни травма левого глаза не отвратили его от ринга. У Хемингуэя — в его литературных произведениях, письмах, репортажах и интервью — часто встречается слово «страх». Его произносят в большинстве своем мужественные люди, потому что на примере своей многотрудной жизни писатель постиг, что мужество — это постоянное

преодоление страха. Хемингуэй проявил мужество 8 июля 1918 года, когда, спасая раненого итальянского снайпера, попал под обстрел фугасами, шрапнелью и газовыми бомбами, но продолжал ползти, неся на спине итальянца, продолжал ползти с простреленными коленями и пробитой ступней, продолжал ползти, начиненный 227 осколками (некоторые из них остались в его теле на всю жизнь). Позднее он скажет об этом ранении и трех месяцах, проведенных в госпиталях: «Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком...»

Физических травм на долю Хемингуэя выпало предостаточно. Ночью 1 ноября 1930 года, возвращаясь с охоты на лося в штате Вайоминг, Хемингуэй был ослеплен фарами встречного грузовика, не удержал руль на шоссе, покрытом льдом, перевернулся в кювет. Машина придавила правую руку. Когда автомобиль подняли, то рука повисла как плеть. Но Хемингуэй сумел «одной левой» довести автомобиль, вытерпев ужасную боль на сорока милях. Рентген показал, что рука сломана в нескольких местах. Десять раз врачи пытались правильно соединить кости, лишь на одиннадцатый им это удалось... В «Зеленых холмах Африки», вспоминая об аварии в Вайоминге, Хемингуэй напишет:

«Открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все за него — все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может, так воздается по

заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это было возмездие, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю».

В апреле 1935 года он вышел в первый рейс на своем катере «Пилар» к острову Бимини. Поймав на крючок акулу, Эрнест подтянул ее к борту и собрался убить из пистолета, но катер качнуло — и пуля... попала ему в ногу. Пришлось возвращаться в Ки-Уэст. «Бог с ней, ногой, жаль, вот рыбалка сорвалась», — он пытался улыбаться друзьям, которые обрабатывали его огнестрельную рану...

25 мая 1944 года во время второй мировой войны машина, в которой ехал «антивоенный военный корреспондент» Эрнест Хемингуэй, на темной лондонской улице врезалась в цистерну. Хемингуэй пробил голову, ударившись о ветровое стекло... «Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это» — так мог говорить только хладнокровный, сильный и мужественный мужчина. Лишь семь дней пролежал он в госпитале Святого Георга в Гайд-парке. Он скрыл от врачей тяжелые головные боли и добился, чтобы его выписали из больницы. Невзирая на запрещение врачей, 2 июня он вылетел на юг Англии, где сосредоточились для высадки на материк союзные войска. Журналист Хемингуэй не мог допустить мысли, что это долгожданное событие состоится без него.

Во время боевых операций в Нормандии Хемингуэй не отсиживался в отелях, дожидаясь военных сводок, чтобы по ним писать репортажи, а искал материал на передовой. В деревне Виллебадоне он раздобыл немецкий мотоцикл с коляской и на нем прорывался глубоко в тыл фа-

шистов. Однажды он напоролся на вражеских артиллеристов и едва успел выскочить в кювет. Гитлеровцы превратили мотоцикл в груду металла, а Хемингуэй два часа лежал, слыша разговор немецких солдат. Испытывал ли он чувство страха в те часы? По его признанию, он старался развеселить самого себя и вспоминал, как французские партизаны удивлялись, что он, седой, весь израненный, не смог дослужиться до звания полковника в американской армии. Эрнест отвечал им задиристо: «Друзья мои, я не мог получить более высокого чина, потому что обучен грамоте...» Шутки шутками, а до смерти было четыре шага...

Кончилась война. Он приехал в свой дом на Кубу. Однажды, 20 июня 1945 года, спеша отвезти на аэродром жену Мэри, Хемингуэй потерял управление автомашиной, и та врезалась в дерево. Разбив голову о раму, сломав несколько ребер, растянув и повредив ногу, Эрнест, несмотря на боль в груди и травмированное колено, отнес Мэри на руках в ближайший поселок, думая, что она получила тяжелую травму (а у нее была лишь рассечена щека). О себе он в те минуты не думал...

Через четыре года на утиной охоте в Венеции кусочек пыжа попал ему в глаз. Итальянские врачи боялись, что после лечения зрение не восстановится. «Я слишком устал — я веду свою борьбу, — сообщал Хемингуэй издателю Скрибнеру из Кортина д'Ампеццо. — Доктора в Кортина думали, что инфекция может перейти в мозг и привести к менингиту, поскольку левый глаз был поражен целиком и совершенно закрылся, так что, когда я открывал его с помощью борной, большая часть ресниц вылезала».

И эта опасная травма не была последней... 21 января 1954 года во время охоты в Африке самолет «Кесна-180», на котором он летел с Мэри,

потерпел аварию в районе водопада Мэрчисон-Фоллз. К счастью, пилот и чета охотников остались живы, хотя Мэри сломала два ребра, а Эрнест в который уже раз раздробил колено. Но он не сказал об этом жене и пилоту, потому что всем требовалось присутствие духа и спокойствие в ночном лесу, кишащем дикими зверями. Эрнесту было не до своих, как он выразился, болячек.

В тот день телеграфные агентства всего мира передали скорбную весть о гибели лауреата Нобелевской премии Хемингуэя и его жены... Не зная, что он уже похоронен и оплакан родственниками и почитателями, Хемингуэй кидал камни в буйных слоних, которые загнали его на скалу и пытались достать оттуда хоботами, чтобы растоптать непрошеного гостя, попавшего в их владения... Помощь пришла нежданно-негаданно: на реке показался катер. Как потом оказалось, на этом судне отмечали золотую свадьбу английские туристы и им захотелось побывать у знаменитого водопада Мэрчинсон-Фоллз... А если бы им вздумалось проплыть по озеру Альберта или Белому Нилу, то никто бы не узнал, где потерпели аварию пассажиры «Кесна-180».

Когда Хемингуэй с пострадавшими добрался в тот же день до деревеньки Батиаба, там оказался летчик Картрайт, безуспешно разыскивавший их в течение дня... Едва они взлетели на самолете «Хэвиленд», как аэроплан рухнул. Благо, высота была небольшой. Но от сильного удара о землю начался пожар. Хемингуэй вышиб плечом дверь самолета, вытащил из горящей кабины Мэри, помог выбраться пилоту. Он нес Мэри на руках, а сам истекал кровью, которая залила всю голову.

Позднее, в очерке «Рождественский подарок» Хемингуэй с присущим ему юмором скажет:

«Прежде всего я пожалел о том, что при аварии обоих самолетов с нами не было сенатора-республиканца от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Я всегда испытывал некоторое любопытство в отношении видных общественных деятелей; и вот я подумал, как повел бы себя сенатор Маккарти, попади он в эту переделку... И я задал себе вопрос: был ли бы он неуязвим, временно лишившись своей сенаторской неприкосновенности для тех разнообразных зверей, в чьем обществе мы недавно находились?..»

Даже в большой беде, терпя физические мучения, Хемингуэй не сосредоточивался на своих болях, а думал о том, что происходит в мире, в его стране. Он вспомнил об «охотнике за всеми врагами истинно американского образа жизни» Маккарти, потому что ненавидел его как поборника войны с прогрессивными людьми, той войны, о которой Хемингуэй говорил когда-то: «Мы вступаем в пятьдесят лет необъявленных войн. Я записался на весь срок». Записался, естественно, в лагерь тех, кто не сдавался под гнетом Маккарти, Макартуров и им подобных...

Он улыбался, а в госпиталь к нему привезли газеты чуть ли не со всей планеты, прессу с некрологами. «Даже я не мог бы так хорошо написать о себе», — шутил он снова. А ведь диагноз врачей, обследовавших его, не умещался на целой странице: разбита голова, повреждены колено, позвоночник, кишечник, печень, почки, временно потеряно зрение левым глазом, утрачен слух левым ухом, зафиксированы растяжения связок в правой руке и плече, отмечена травма левой ноги, вызывают тревогу ожоги на лице, руках и голове...

Он и эти напасти переборол. А когда чуть-чуть поправился, то попросил отвезти себя на ры-

бацкой лодке на берег Индийского океана в Шимони. А вот там-то, в охотничьем лагере, его подстерегало очередное «чрезвычайное происшествие» — начался лесной пожар. Больной Хемингуэй бросился тушить пламя, поскользнулся, упал в огонь. Когда его вытащили, то спасатели ужаснулись, увидев тяжелые ожоги ног, груди, рук и губ...

Он выстоял и на этот раз, выстоял, потому что сам на весь мир заявил в повести, получившей Нобелевскую премию: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Наверное, он и о себе мог бы написать: «Старику снились львы...» Этими словами он кончил рассказ «Старик и море», этими словами он утверждал торжество жизни. Неутомимый оптимист, преследуемый невзгодами, он честно проверял хронометр своей жизни и творчества: «Надо быстрее работать. Теперь так рано темнеет...» После госпиталей, собранный по частям, он возвращался к жизни, чтобы работать и радовать людей каждой новой книгой. «Я буду писать как можно лучше и как можно правдивее, пока не умру. А я надеюсь, что никогда не умру» — в этих словах он весь, великий жизнелюб, честный и мужественный человек, неповторимый писатель...

«Он жил... неистово» — лучше, чем брат, о Хемингуэе не скажешь. Эрнест был в постоянном напряжении. А когда быт становился пресным, то он умел его разнообразить. Писатель, к примеру, испытывал свое мужество, входя в клетку со львом. А однажды в минуту откровенности он сам рассказал А. Хотчнеру, который собирал материал для его биографии, об эпизоде в заповеднике на северо-западе Америки. Обитал там наглый бурый медведь, который отравлял

жизнь всем путешественникам. Обычно он выходил на шоссе и не давал проезда машинам. В конце концов заповедник начал терять клиентов, потому что ездить туда стало опасно. Узнав об этом, Хемингуэй решил «поговорить» с медведем. Хозяин леса оказался на месте. Огромный, он поднялся во весь рост посредине дороги как автоинспектор, требуя остановки. Верхняя губа медведя была оттянута в усмешке и как бы говорила: «Ну что, испугался, человечек?»

Хемингуэй вышел из машины и направился прямо к медведю, крича: «Ты что же, не понимаешь, что ты всего-навсего жалкий бурый медведь?! Как же ты, паршивый сукин сын, набрался такой наглости, чтобы стоять здесь и не давать проезда машинам? Жалкий ты медведь, к тому же еще и бурый, даже не белый и не гризли!»

Хемингуэй рассказывал, что после того, как он все это выложил ему, бедняга медведь повесил голову, опустился на четыре лапы и убрался с дороги. С тех пор, как свидетельствовали работники заповедника, при приближении машин медведь метался за деревьями, ломал стволы от бессильной злобы и стыда: он словно вспоминал о том унижении, которое он испытывал, когда Хемингуэй «читал ему нотацию»...

Этот эпизод только внешне юмористичен, но можно представить, как нелегко было Эрнесту решиться на открытый «диалог» с отнюдь не мирным зверем. Но Хемингуэй изумительно знал природу — леса и реки, нравы и повадки их обитателей. Мы упомянули о том, что дедушка Хемингуэя подарил ему, десятилетнему, «заправдашнее» ружье. А другой дедушка — Тайли Хэнкок — научил его удить рыбу в самых рыбных местах. Давая свой спиннинг Эрнесту, он открыл ему секреты ловли «на мушку», которых

не знал никто. Мальчика влекли к деду Тайли моржовые усы и бесконечные рассказы о том, как тот на паруснике в юности обошел весь свет, видел Тихий и Индийский, несколько раз пересекал Атлантический океан. Воспоминания об этих похождениях разжигали во впечатлительном ребенке страсть к путешествиям.

И хотя в детстве маршруты Эрнеста контролировались родителями, все же он умудрялся путешествовать, спать под открытым небом, косить сено, соревнуясь со взрослыми, он мог часами наблюдать за птицами и животными во время походов по берегам реки Иллинойс и по озеру Цюрих в Висконсине.

Многие из этих впечатлений он отдаст позднее Нику Адамсу, прототипом которого был сам. Прочитаем несколько строк из рассказа «На Биг-Ривер»:

«...Ник смотрел на бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

...Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго

их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел... Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади».

«Все осталось позади» — так только казалось, потому что в то время все лишь начиналось. Юркая форель — лишь пролог «рыбацких и рыболовных» рассказов и очерков. Многие из них будут написаны в начале тридцатых годов, когда в поселке Ки-Уэст во Флориде он увлечется «сражениями» с гигантскими рыбами и избороздит Мексиканский залив и Карибское море, гоняясь за самыми большими. Мелкими он не интересовался, легкая добыча оставалась для других.

То было в трудные для литературной работы дни, когда старые жизненные наблюдения уже нашли претворение в повестях и рассказах, а новые впечатления еще не накопились.

«Писать чертовски трудно, — признавался он брату. — Если я встаю рано и у меня все идет хорошо, возникает приятное чувство, что я «заработал» свой отдых, что вы, ребята, ждете в гавани того момента, когда мы выйдем в море и что остаток дня я буду на воде с вами. Если у меня ничего не выходит, то я знаю, что остаток дня не доставит мне удовольствия. Предвкушение хорошего отдыха помогает мне лучше писать».

Дом популярного автора «Фиесты» в Ки-Уэсте всегда был полон гостей: съезжались сестры и

брат, привозили сына Бамби, не было отбоя от всякого рода друзей — в кавычках и без оных. И каждому Эрнест уделял внимание...

В книге «Папа Хемингуэй» А. Хотчнер рассказывает, в частности, как он впервые вышел с писателем в море на ловлю большой рыбы:

«Меня охватила паника. Рядом стоял один из самых знаменитых охотников в мире за большой рыбой, в руках у меня были огромное удилище и сложная снасть, а я никогда в жизни не ловил ничего более крупного, чем десятифунтовый карась... Теперь же передо мной с быстротой проносился марлин, размеры которого я даже не мог себе представить. Но тогда я еще не знал об одном качестве Хемингуэя, которое в последующие годы часто наблюдал и которым неоднократно восхищался. Я имею в виду его удивительную способность объяснять и учить, его безграничное терпение к своему ученику.

Ровным, спокойным голосом Эрнест руководил каждым моим шагом, начиная с того, как нужно дергать, чтобы зацепить гигантским крючком рот рыбы, и кончая тем, как подвести ее вплотную к лодке, чтобы вытащить из воды...»

Собираясь писать о ловле крупной рыбы, Хемингуэй непременно сам хотел поймать самую крупную рыбу — меч-рекорд.

И вот, наконец, 23 мая 1932 года после полудня Эрнест поймал-таки атлантическую рыбу-парусник, самую большую из всех кем-либо взятых на спиннинг. Свыше тридцати лет эта рыба держала за собой рекорд. Ее чучело еще и сейчас стоит в клубе спиннингистов Майами.

В том же году Хемингуэй приманил большого марлина, более двух часов старался подвести его к катеру «Анита», измучился, проклял все на свете. Марлин оказался «умнее»: когда человек

чуть расслабился, рыба неожиданным рывком оборвала лесу и ушла в глубину.

В другой раз Эрнест поймал на крючок марлина весом в 750 фунтов — 340 килограммов. Эта рыба тоже не хотела сдаваться и полтора часа тащила катер в океан. В конце концов и она сумела оборвать лесу и вырваться на свободу.

В 1935 году, после злополучного выстрела себе в ногу, Хемингуэй быстро залечил, «зализал» рану — и снова ушел с друзьями в море. Тогда-то он впервые и поймал гигантскую рыбу — туну. Весь день он боролся с ней, стараясь перехитрить и пересилить. Когда к ночи рыба стала уставать, он подтянул ее к катеру, но... на обессилевшую и теперь уже не опасную громадину напали акулы и разорвали ее на куски. Остались лишь голова, позвоночник, хвост, и ...может быть, первое зерно для будущего шедевра «Старик и море».

А в 1936 году на Бимини ему посчастливилось выловить тунца весом 514 фунтов. Семь часов боролся Хемингуэй с рыбой — преодолел по времени три дистанции марафонского бега. За эти часы он потерял три килограмма собственного веса. Столько обычно теряет велосипедист за 250 километров гонки.

А был и такой счастливый день, когда он взял на спиннинг сразу семь марлинов — никому еще в мире так не везло. Хемингуэй не раз возвращался к этому дню: «Думаю, что это было мировым рекордом!»

О его спортивных успехах писали в газетах и журналах. Но многие люди, даже близкие, выражали сомнение в достоверности заметок. Как ни странно, эти подозрения остро задевали самолюбие Хемингуэя. Он с обидой говорил брату:

«Они прочли где-то, что я не тот, за кого себя выдаю, и мгновенно возвели это в факт своего со-

знания. Так, например, случилось с Хейвудом Брауном, обвинившим меня во вранье относительно занятий боксом... Здорово надоели мне все эти «изобличения», а им, видимо, еще нет конца.

...Я обманщик лишь в том смысле, в каком каждый писатель является обманщиком. Я выдумываю такие ситуации, которые кажутся реальными. Но ты-то действительно знаешь меня. И как я ловлю рыбу, и как охочусь, и как боксирую. Я ясно выражаюсь?»

«...Самым лучшим оружием против лжи является правда, — считал писатель. — Не стоит бороться против сплетен. Они как туман: подует свежий ветер и унесет его, а солнце высушит...»

Чтобы положить конец сплетням и наговорам, бросающим тень на его спортивный авторитет, Хемингуэй организовал официальную группу по регистрации рекордных уловов, оказавшуюся зародышем «Международной рыболовной ассоциации», которой покровительствовал Американский музей естественной истории. В свои рыболовные экспедиции за иглой-рыбой, туной, агухой и марлином в районе Кубинского побережья Эрнест частенько приглашал ихтиологов из Филадельфийской академии наук. Они изучали повадки марлинов в Гольфстриме. Один из новых видов рыбы был даже назван в честь своего открывателя — «Neomazinthe Hemingway».

В апреле 1936 года в журнале «Эсквайр» был напечатан очерк Хемингуэя «На голубой воде», в котором рыбак пытался передать свои чувства и переживания во время многочасовых поединков с большой рыбой:

«...Рыба — существо удивительное и дикое, обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким

описаниям и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе, и ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке. Из гордости и потому, что рыба сто́ит много денег на гаванском рынке, ты багришь ее и берешь на борт, но в том, что она в лодке, уже нет ничего удивительного-увлекательного; борьба с ней — вот что приносит наслаждение» — это как бы предвосхищение «Старика и моря», первые штрихи. Море — стихия Хемингуэя пятидесятых годов, а здесь лишь дальние подступы, но без них, без этих впечатлений, не заимствованных у рыбаков, а добытых в поединке с сильной рыбой, не было бы чудесного, пленительного «Старика и моря»...

В путешествиях по морю, в погонях за тунцами и марлинами Хемингуэя часто сопровождали трое сыновей, гостивших у него на каникулах.

«Мы сидим в лодке, вернее, отец лежит с подушкой под головой и читает, а я гребу. Потом мы пристаем к берегу, завтракаем, разговариваем и читаем газеты», — рассказывал нам, советским журналистам, его средний сын Патрик, приезжавший в Москву на IX Всемирный конгресс биологов и охотоведов.

Патрик Хемингуэй говорил, что многие страницы неоконченной книги «Острова в океане» основаны на впечатлениях, вынесенных отцом из тридцатых годов, когда все развлечения его гостей и сыновей были связаны с морем — тут и ужение иглы-рыбы, и подводная морская охота, и плавание в океане, кишащем акулами и другими опасными хищниками, словом, развлечения

рискованные, требующие незаурядного мужества и мастерства.

А Хемингуэй был подлинным мастером во всяком искусстве, за освоение которого брался. К примеру, плавание. Он считался не просто пловцом-скоростником и «стилистом», но и артистом, для которого вода была второй стихией. Один из биографов писателя А. Хотчнер, много раз бывавший в приморском домике Хемингуэя, рассказывает, как однажды из-за начинающегося шторма катер «Пилар» не смог подойти к берегу. И тогда Хемингуэй предложил пассажирам добираться до суши вплавь. Но дело осложнялось тем, что вместе с мужчинами на палубе стояли их жены, и всем четверым нужно было успеть в ресторан, куда в купальных костюмах не пускали.

Хемингуэй нашел выход...

«Я подумал, — вспоминает Хотчнер, — что он хочет положить штаны в непромокаемую сумку и потянуть ее за собой по воде, но это для Эрнеста был бы самый легкий выход. Мэри прыгнула в воду и поплыла. Эрнест взял шорты и рубашку... и затянул сверток ремнем. Затем он сошел по трапу и осторожно опустился в воду, держа сверток в левой руке высоко над головой. Он поплыл, с силой рассекая волны, почти наполовину высунувшись из воды и работая одной правой рукой. Это была настоящая демонстрация мастерства и силы. Я плыл сзади и, хотя обе руки у меня были свободны, еле поспевал за ним. Достигнув берега первым, я наблюдал, как он преодолевает последние ярды. Левая рука с зажатым в ней сухим свертком, неутомимо тянущаяся вверх, напоминала мускулистую мачту, украшенную флагом. Хемингуэй был похож на бессмертного бога моря. Казалось, сам Посейдон вырывается на поверхность из своего подводного царства.

Когда он вышел на берег, с него ручьями стекала вода, он счастливо улыбался, глядя на свои сухие штаны, и я увидел, что он даже не запыхался».

Живя рядом с морем, он искал и находил сферу приложения своим богатырским силам. Любимое слово «Поспорим!» он произносил десятки раз в день. «Поспорим!» — и вот уже начинаются состязания по стрельбе. Хемингуэй, естественно, первый. «Поспорим!» — и он устанавливает рекорд, вытягивая неподъемную меч-рыбу. «Поспорим!» — и 35-летний человек, у которого грудь выпирала из рубашки, как каменная глыба, предлагал разрешить недоразумения на ринге. Он не заглядывал в визитные карточки тех, с кем не соглашался, и нередко попадал в «пиковые» ситуации.

В те годы на острове Бимини, куда любил наведываться Хемингуэй, местные рыбаки враждебно относились к богатым американцам, приезжавшим сюда развлекаться. Аборигены и Хемингуэя приняли за богатого бездельника. Тогда хозяин «Пилара» предложил 250 долларов любому богатырю, который продержится против него три раунда в боксе. К удивлению писателя, на Бимини нашелся смельчак, принявший пари. Против него вышел сражаться чемпион Британской империи в тяжелом весе Том Хини, отдыхавший на острове. Боксеры, танцуя на раскаленном песке, проводили раунд за раундом, не уступая друг другу ни в одном из компонентов большого бокса: умело нападая и надежно защищаясь. Наконец Хини предложил остановить бой и признать обоих победителями.

А о другом боксерском поединке интересно рассказывал старый приятель писателя Джед Кайли.

Хемингуэй и Кайли, оба заядлые любители бокса, познакомились еще до первой мировой войны в Чикаго. Через много-много лет они встретились в Ки-Уэсте.

«...Эрнест взял со стола колокольчик и протянул его мне, — пишет Кайли. — Будешь рефери, хронометристом и судьей, — сказал он. — Работы у тебя будет немного. Только считай не слишком быстро. Я всегда им даю возможность отдышаться. И не разнимай нас, если войдем в клинч. Тебе может попасть. Если он начнет кусаться, не дисквалифицируй его. Я тоже его укушу. Следи за временем внимательно, и когда пройдет три минуты, позвони в колокольчик. Если после двух раундов он будет все еще на ногах, он выиграл.

«До чего же он самонадеян, — подумал я. — Ему и в голову не пришло, что он может потерпеть поражение. Каков в литературе, таков и в боксе...»

Ринг, похоже, был надлежащего размера. Вместо канатов служили сцепленные меж собой руки туземцев. Тем лучше. Дизли труднее будет бросить Эрнеста на канат.

...Я заметил, что фаворитом был Папа. К нему относились так, словно он был подающим надежды боксером из местного клуба. Мы также заметили, что ему это было по душе. Как всегда, он хотел быть чемпионом, и восхищение толпы доставляло ему удовольствие. Он походил на Демпси, идущего на ринг.

...Я объявил начало матча...

Противник... атаковал Эрнеста. Он прижал его к живым канатам и нанес ему такой хук правой, что у нашего чемпиона оторвалась бы голова, попади он, куда метил. Но удар не попал в цель. Эрнест уклонился, и кулак противника скосил заместо него двух туземцев. Ну и ручищи! Я как рефери не знал, что мне делать...

Эта заминка дала мне возможность посмотреть на часы. Боже правый! Раунд длился целых четыре минуты! Я позвонил в колокольчик...

Папа лежал на спине. Видно было, как вздымается и опускается, точно океанская зыбь, его живот. Я думал, он спит. Но не успел я опомниться, как он уже был на ногах. Вот это инстинкт! Удивляюсь, зачем он занялся писательским ремеслом? Мог бы стать чемпионом мира, а потом открыть собственный бар. По примеру других чемпионов.

Едва я позвонил, оповестив о начале второго раунда, как небо закрыла тень и порыв жаркого ветра толкнул меня. Я решил, что это внезапный шквал, которые так часто налетают на Карибское море. Но это было темное облако в красных штанах, которое ринулось на добычу. Вы говорите, Ураган-Джексон! Этот же малый был Ураганом-Эдной, Кэролом и Конни вместе взятыми! Он пронесся мимо меня, словно ветряная мельница, ставшая на лыжи. Когда он промчался прямо к цели, держа курс на зюйд-зюйд-вест, слышен был только свист его кулаков. Несдобровать нашему мореплавателю из Ки-Уэста! Я уже приготовился объявить имя победителя и нового чемпиона.

Но «старик с моря» только качнулся, словно пальма, привыкшая к бурям. Его крупные ступни крепко уперлись в песок; цепкие пальцы, словно корни, вросли в почву...

Противник Эрнеста уже предвкушал победу и махнул рукой на всякую осторожность. Мощная правая то и дело рассекала воздух. Кулак ее походил на гигантскую гирю, которой рабочие в шахтах крушат ветхие здания. Ну, сейчас конец, — подумал я.

И конец действительно наступил. Но не такой,

как я полагал. Удар малой молнии, нанесенный слева, угодил прямо в середину темной тучи. Непонятно, с какой стороны он возник, но было видно, что оказался он сокрушительным.

Вы когда-нибудь видели, как падает бык, пораженный в сердце? Так упал и Дизли — медленно, словно нехотя. Опустился на колени, будто молясь. Потом перевернулся и с размаху грохнулся оземь.

Мне незачем было даже считать...

— Победителем и по-прежнему чемпионом объявляется Папа! — воскликнул я...»

Когда он жил в Ки-Уэсте, то площадка для бокса была за углом. Он имел возможность постоянно тренироваться. И когда в поселке появлялись известные боксеры, приезжавшие отдохнуть на берег океана, писатель непременно устраивал с ними матчи. Многие недруги Хемингуэя видели в этих боксерских поединках лишь одно — стремление любой рекламой утвердить свое чемпионство в американской литературе.

Хемингуэй со злостью и сарказмом говорил о них советскому писателю И. Эренбургу, с которым он подружился во время гражданской войны в Испании: «Критики не то дураки, не то прикидываются дураками. Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело».

С особой силой злопыхательские разговоры о «нелитературных занятиях» Хемингуэя вспыхнули, когда он отыскал богатого мецената и на его средства отправился в дорогостоящую экспедицию в Африку. Сафари — новый для Эрнеста вид охоты на крупных животных — львов, леопардов,

носорогов — сразу же очаровал и пленил пылкого поклонника ружей от 12-го до 22-го калибров.

«Зачем ему это понадобилось — сафари? Вот так пропадают творческие силы и гибнет талант», — слышалось в литературных салонах Европы и Америки.

В статье «Старый газетчик рассказывает» Хемингуэй ответил на эти бесконечные «зачем?».

«Нет на свете ничего труднее, чем писать простую честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь».

«Надо изучить то, о чем пишешь» — вот он, ключик от маленькой таинственной двери в стене, именуемой «литературой». А изучать жизнь Хемингуэй умел, жадно прислушиваясь ко всему, что происходило и в нем самом, и рядом с ним. В Африке он услышал поразительную историю о том, как альпинист Рейш, поднявшись на снежную шапку вулкана Килиманджаро, обнаружил во льдах труп леопарда. Это стало искоркой, от которой вспыхнул костер вдохновения. А в его пламени высветился рассказ «Снега Килиманджаро» с философским эпиграфом: «Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может».

Что позвало любящего тепло леопарда в снега Килиманджаро?

А что заинтересовало поморника на Южном полюсе? Этот вопрос возник, когда тушку морской птицы нашли в Антарктиде в полутора тысячах километров от гнездовий...

Подобно леопарду и поморнику писатель стремился к неизведанному, что всегда свойственно человеку и что в конечном итоге приводит к со-

вершенствованию мира. Хемингуэй настойчиво и страстно открывал для себя Африку. И это освоение было необыкновенно плодотворным и дало новый импульс его творчеству. А охота? Ну что ж — она была только фактом биографии. Она не стала самоцелью. Откройте сегодня «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» — и вы убедитесь в этом. А кроме этих этапных даже для Хемингуэя произведений Черный континент подарил ему сюжеты для «Зеленых холмов Африки» и статей, в которых по-хемингуэевски остро и злободневно он поставил проблему охраны заповедной природы и ее животного мира, выступил против бесцельного уничтожения сокровищ фауны. Эти темы особенно полно прозвучали в напечатанном в июньском номере журнала «Эсквайр» за 1934 год очерке «Стрельба из машины — это не спорт».

Когда вы приближаетесь ко льву на машине, «он вас не видит. Его глаза различают только контуры и общий вид предметов, и стрелять в льва из машины незаконно — этот предмет просто ничего не значит для него. Более того, машина может показаться ему миролюбивым предметом, так как ее часто используют для съемок льва, привязав к буферу убитую зебру в качестве приманки. Для человека стрелять в льва, укрывшись в машине, когда лев даже не видит, кто преследует его, — не только незаконный, но и трусливый способ уничтожения одного из прекраснейших и замечательнейших животных».

Единственный способ убить льва, используя машину, который может быть приравнен к настоящему спорту, Хемингуэй пояснял так: «Вы спешились, машина ушла, охота на льва становится обычной. Если вам не удастся с первого выстрела уложить льва, он уйдет в донгу, и тогда вам

придется отправиться за ним. Вначале у вас есть почти все шансы на успех, если вы умеете стрелять и знаете, куда стрелять, — при условии, что первый выстрел вы сделаете не в движущегося льва. Но если вы раните льва и он уйдет в чащу, готов держать пари, что лев вас искалечит, когда вы пойдете искать его. Раненый лев в состоянии покрыть расстояние в сто ярдов за такое время, что вы не успеете сделать и двух выстрелов, как он окажется на вас.

...Если вы охотитесь, как положено на равнине Серенгети, — отпустите машину...»

«Вот какая охота... мне по душе! Пешеходные прогулки вместо поездок в автомобиле, неровная, труднопроходимая местность вместо гладких равнин — что может быть чудеснее? Я гордился меткостью своей стрельбы, верил в себя, и мне было так хорошо и легко, — право же, переживать все это самому куда приятнее, чем знать об этом только понаслышке, — читаем мы в другом произведении. — ...Настоящий охотник бродит с ружьем, пока он жив и пока на земле не перевелись звери, так же, как и настоящий художник рисует, пока он жив и на земле есть краски и холст, а настоящий писатель пишет, пока он может писать, пока есть карандаши, бумага, чернила и пока у него есть о чем писать».

А когда не писалось, он... читал. И тем самым снова и снова учился писать.

Там, в Африке, слыша львиный рык и трубные зловещие переклички диких слонов, он заново открыл для себя мир молодого Льва Толстого:

«Я читал повесть «Казаки» — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары, и я снова жил в тогдашней России».

Давайте забежим на двадцать лет вперед и посмотрим Африку глазами позднего, мудрого Хемингуэя, который приезжал в Кению и Танганьику вместе с верной Мэри.

В «Африканском дневнике», к сожалению неоконченном, он говорил о своей жене: «Она была очень странной, и я ее очень любил. В то время у нее было лишь два недостатка: ей очень хотелось принять участие в настоящей охоте на льва, но у нее было слишком доброе сердце, чтобы убивать, и я, наконец, решил, что именно это заставляло ее или вздергивать ружье, или слишком давить на курок, уводя ружье в сторону, когда она стреляла в животное... За шесть месяцев ежедневной охоты она полюбила ее, хотя это по сути и позорное дело: правда, не совсем позорное, если делать его честно, но в ней было что-то чересчур доброе, что заставляло ее подсознательно стрелять мимо цели. Я любил ее за это точно так же, как я не мог бы любить женщину, работающую на бойне, или ту, которая усыпляет собак и кошек или пристреливает лошадей, сломавших ноги на скачках».

Там же есть и другой портрет преданной спутницы:

«Мисс Мэри чудесная жена, она сделана из крепкого, надежного материала. Кроме того, что она чудесная жена, она еще и очаровательная женщина, на нее всегда приятно смотреть. Вдобавок она великолепная пловчиха, хорошая рыбачка, превосходный стрелок...» — вот что он особенно ценил в ней — ее спортивность.

В декабре 1971 года американский журнал «Спортс иллюстрейтед» в трех номерах опубликовал свыше шести печатных листов рукописи, подготовленной вдовой писателя Мэри Хемингуэй. Это рассказ о том, как Эрнест и Мэри охоти-

лись на льва-убийцу в Кении в пятидесятых годах. Давая характеристику героям «Африканского дневника», писатель заметил: «Мисс Мэри — жена писателя, новичок в охоте на крупную дичь, слишком мала ростом для поставленной задачи, но достаточно высока, чтобы стать врагом великолепного коварного льва».

Они охотились за львом-убийцей и не имели права ошибиться. Сразить наповал нужно было только его, злого людоеда. Патрик Хемингуэй, который в те годы уже работал в Африке «белым охотником» и инструктором по туризму, приехал в Танганьику, чтобы своими глазами увидеть «любимые холмы» отца. Они много раз охотились вместе и наговорились друг с другом вдосталь. У них оказались общие взгляды и на охоту, которую многие считали «жестоким спортом». «В нелегком деле охраны диких животных, — говорил Патрик, — регулировка их численности, отстрел так же необходимы, как прополка морковных грядок...»

Но вернемся к льву-убийце, за которым охотились Эрнест и Мэри. «Лев был такой большой и красивый, что мы, не зная ни его самого, ни его прошлого, решили, что это, должно быть, лев для туристов, который забрел сюда из заповедника, и, если Мэри подстрелит его, это будет убийство. Он находился на открытом месте, и львица поддразнивала его. Это была чудесная сцена для фотографии, но, как только к дереву поднесли мясо, они с львицей ушли к опушке и так и не возвратились. И Мэри считала, что именно в этот раз мы не дали ей убить ее льва. Но Л. Дж. не желал рисковать и не хотел, чтобы мы убивали ни в чем не повинного льва, и я был полностью с ним согласен».

Значит, не погоня за шкурами, не охотничий

азарт вели их по африканским джунглям, а жажда познания и открытия:

«Мы все были охотниками, и это было началом удивительной штуки — охоты. Об охотнике написано уйма всякой мистической чепухи, а ведь она, наверно, куда лучше религии. Одни — охотники от природы, другие — нет. Мисс Мэри была охотником, к тому же очаровательным и храбрым, но пришла она к этому довольно поздно, когда уже не была ребенком, и поэтому многое из того, что случилось с ней на охоте, было для нее таким неожиданным».

Потом они найдут хищника и всадят пулю в мощное и красивое тело льва-убийцы, но их выстрелы станут актом возмездия животному, преступившему неписаный закон джунглей и почувствовавшему безнаказанность. А это могло привести к новым трагедиям, если бы льва не сразила пуля человека...

Но Африка с ее экзотикой — львами и носорогами — «выпадала» не каждый год и даже не каждое десятилетие. А охотничье ружье всегда было под рукой Хемингуэя, в какой бы точке земного шара он ни находился: во Франции, Испании, Италии, Греции, Мексике, на Кубе, в Китае, в Сан-Вэлли, долине, которую он случайно открыл для себя в тридцатые годы и куда стал регулярно наведываться на охоту, как когда-то в штаты Висконсин, Мичиган или Вайоминг... Как и всегда, дом писателя был переполнен приезжими. Однажды в гости к Хемингуэю вырвался его друг — знаменитый киноактер Гари Купер — необыкновенно красивый, мягкий, обходительный, отличающийся природным благородством. Купер в прошлом был ковбоем, феноменально стрелял, лихо ездил верхом. Во всех фильмах он снимался без дублеров, выполняя самые рискованные трюки.

«Оба были идолами Америки, но в их дружбе не было никакого соперничества, — пишет в книге «Папа. Личные впечатления» младший сын Хемингуэя Грегори. — Купер (Куп) прекрасно стрелял из нарезного ружья, так же хорошо или даже еще лучше, чем мой отец. Но спокойствие, уверенная сила, способствовавшие этому, превращали его в то же время в медлительного стрелка, когда он брал в руки простое ружьецо. С папой была та же история — прекрасный профессионал, посредственный любитель. У папы была, правда, еще одна проблема — со зрением: чтобы увидеть птицу в очках, ему требовалось много времени. В результате он легкую цель превращал в трудную, как игрок в бейсбол, находящийся в дальней части поля, промедливший броситься за мячом и лишь в невообразимом прыжке доставший его, когда стоило всего лишь подбежать к нему вовремя».

На утиной охоте в Сан-Вэлли младший сын был счастлив каждый день общаться с отцом, «настоящим человеком», как он называл его. Грегори не хотелось уезжать домой, и отец разрешил ему пропустить несколько недель в школе.

Отец казался Грегори самым сильным, самым находчивым, самым точным. Впрочем, Хемингуэй и был таким. На охоте в Сан-Вэлли вместе с Гари Купером был и Тейлор Уильямс — один из лучших стрелков Америки. Вот как он отозвался о своем друге:

«Я видел, как Эрнест соскочил с лошади, пробежал ярдов сто и попал в бегущего самца с расстояния в двести семьдесят пять ярдов с первого выстрела. Вот это стрелок!»

Хемингуэй был в расцвете творческих и физических сил. Телу его по-прежнему было тесно в любом пиджаке. Его жизнелюбие, неудержимое, чуть ли не выставляемое напоказ, составляло не

только предмет его гордости, но и секрет его обаяния — обаяния, которое, как свидетельствовал один из современников, было настолько неотразимым, что оно в зародыше убивало всякую антипатию.

Так, в путешествиях по планете, дружеских встречах, уединенных часах литературной работы, озорных спортивных поединках неслись годы. Мчались стремительно, лишь изредка задерживаясь на мелких перекатах реки жизни, дарящей как радости, так и опасности.

Отдельные критики считают, что в тридцатые годы писатель пытался замкнуться в своем мирке. Он жил как бы без связи с «общим миром». Что он описывал — бой быков, охоту, рыбную ловлю?

Происходило непонятное самоограничение творчества — словно и не надвигался фашизм в Германии, словно не бесновались фашисты Муссолини и Примо де Риверы? Неужели ничего для Хемингуэя не существовало на планете, кроме быков, катера и бокса?

По-видимому, все происходящее было не застоем, а накоплением сил перед рывком. Правда, за семь лет он выпускает лишь один сборник рассказов: «Победитель не получает ничего». Победитель не получает ничего: ни успокоения, ни радости, ни славы — такой мрачный вывод делает писатель. И этому можно найти объяснение — Хемингуэй как бы чувствовал, что надвигается кровавое десятилетие XX века. Для Хемингуэя, как и для многих людей планеты, мировая война началась с Испании. С победы республиканцев. С их борьбы. С их поражения.

Хемингуэй ненавидел равнодушие. Он был даже убежден, что «есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже». Когда Эрнест видел несправедливость в жизни,

он брал в руки перо — и негодующие его слова будили читателей. В январе 1936 года Хемингуэй пишет об итальянской агрессии в Абиссинии. И даже здесь он обращается к образам спорта:

«Разумеется, никакое знакомство с прошлым ничем не поможет ни юношам из местечек на крутых склонах Абруцц, где вершины гор рано покрываются снегом, ни тем, кто работал в гаражах и мастерских Милана, Болоньи и Флоренции или ездил на велосипеде по белым от пыли дорогам Ломбардии, ни тем, что играли в футбол в своих заводских командах в Специи и Турине или косили высокогорные луга в Доломитских горах и катались зимой на лыжах, или, может быть, жгли уголь в лесах над Пьомбино...

Они будут испытывать смертельную жару и узнают, что такое местность без тени; у них появятся неизлечимые болезни, от которых ломит кости, юноша превращается в старика, а внутренности источают воду; а когда, наконец, на поле боя они услышат шум крыльев спускающихся птиц, то я надеюсь, что кто-нибудь научит их, раненых, повернуться вниз лицом и прошептать: «Мама! аа-а-а-а!», прижавшись губами к земле.

Сынки Муссолини летают в воздухе, где нет неприятельских самолетов, которые могли бы их подстрелить. Но сыновья бедняков всей Италии служат в пехоте, как и все сыновья бедняков во всем мире. И вот я желаю пехотинцам удачи, но я желаю также, чтобы они поняли, кто их враг и почему».

Хемингуэй всегда шел навстречу опасности. Когда фалангисты Франко, поддерживаемые чернорубашечниками Муссолини и фашистами Гитлера, сжигали в огне Испанскую Республику, Хемингуэй был на стороне республиканцев, гордых и непокорных людей. Его голос — писателя, журналиста — звучал над планетой:

«Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться.

Фашизм — это опасный бандит. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

Хемингуэй говорит устами героя Роберта Джордана в «По ком звонит колокол»:

«Ты узнал иссушающее опьянение боя, страхом очищенное и очищающее, лето и осень ты дрался за всех обездоленных мира против всех угнетателей, за все, во что ты веришь, и за новый мир, который раскрыли перед тобой».

«Человек один не может, — писал он в романе «Иметь или не иметь». — Нельзя теперь, чтобы человек один... Ты работаешь, чтобы люди не боялись болезней и старости, чтобы они жили и трудились с достоинством, а не как рабы». Эти истины не вычитаны писателем. Они завоеваны им. Они добыты ценой многих тысяч жизней республиканцев. В них итог, суть человеческих судеб, рассказанных с неопровержимой убедительностью. И в эти дни особенно ярко виделось, что Хемингуэй совсем не певец абстрактных «мужских качеств» и не трубадур любых «побед сильных».

В рассказе «Разоблачение» он пишет о стрелке Луисе Дельгадо, который «всегда был очень храбр и очень глуп». Дельгадо — стрелок и игрок, который ушел «платить долги чести». Это его вчерашняя характеристика. Сегодня же он — фашист. И когда автор видит его в Мадриде, готовящего диверсию против авиации Республики, он... сообщает о диверсанте в контрразведку. Неважно, что они вместе стреляли по голубям. Важно, в кого сейчас направлены их пули. Кстати сказать, Хемингуэй всегда обличал тех, кто использовал спорт в грязных политических целях.

В рассказе «Мэр — любитель спорта» он безжалостно высмеял такого политикана: «Мэр Черч страстно любит спортивные состязания. Он энтузиаст бокса, хоккея и прочих мужественных игр. Его милость посещает все спортивные зрелища, которые привлекают избирателей. Если бы граждане избирательного возраста ходили смотреть игру в шарики и скачущую лягушку, мэр занял бы место среди болельщиков. Мэр интересуется хоккеем не меньше, чем боксом. Если солдатское «щелканье вшей», безик в шведском варианте или австралийское метание бумеранга когда-нибудь привлекут избирателей, считайте, что и мэр там будет. Ведь он любит всякие состязания». Спорт Дельгадо и мистера Черча — это не спорт Эрнеста Хемингуэя. И нужно воевать за большие и малые реки в Испании и за большие и малые ценности мира — все это должно достаться людям чистым. И он воевал, боролся за то, во что верил, радовался каждому мужественному соратнику. Через много лет он скажет знаменитой актрисе Марлен Дитрих, смело выступившей против фашизма: «Лучше тебя я никого не видел на ринге».

И он сам был одним из лучших на писательском ринге тех лет. Он не боялся выступить против тех своих собратьев, которые, не зная войны, давали советы, как ее описывать. И через несколько лет, прибегая к метафорам спорта, он говорил: «Они похожи на людей, которые приходят на бейсбол и не могут даже назвать игроков, не заглянув в программу. Они похожи на игроков, которые не могут даже поймать хороший мяч, а роняют его на землю и сводят на нет все усилия команды, или же когда подают мяч сами, то стараются вывести из игры как можно больше игроков».

Из Испании он возвращается на Кубу, чтобы написать рассказ «Никто никогда не умирает». Герой его — кубинский революционер, боец интернациональной бригады. После поражения в Испании он возвращается на родину, чтобы бороться с тиранией Мочадо. Хосе борется — и погибает! Умирая, он думает о тех, кто будет бороться после него.

Раньше Хемингуэй и в победе мог увидеть поражение. В этом же рассказе, написанном после поражения, заканчивающимся смертью героя, сама гибель рождает волю к победе.

«Борьба непобежденных продолжается!»

Во время мировой войны — до весны 1944 года — Хемингуэй на своем катере избороздил весь Мексиканский залив, выслеживая немецкие подводные лодки. Звали его на судне Папа. Это прозвище за ним так и закрепилось. А ведь оно было дано для конспирации...

В 1944 году военный корреспондент Эрнест Хемингуэй, высадившись на французском берегу, сколотил из местных партизан боевой отряд и вступил с ними в Париж раньше регулярных частей французской и американской армий. В очерках «Битва за Париж» и «Как мы пришли в Париж» он рассказывает о том, что успешно решить боевую операцию ему помогли... велосипед и прекрасная ориентировка в пригородах Парижа, которые велосипедист двадцатых годов Хемингуэй помнил не хуже любого француза:

«Я хорошо знал местность и дороги в районе Эпернона, Рамбуйе, Траппа и Версаля, потому что много лет путешествовал по этой части Франции пешком, на велосипеде и в машине. Лучше всего знакомиться с какой-нибудь местностью, путешествуя на велосипеде, потому что в гору пыхтишь, а под гору можно ехать на свободном ходу.

Вот так и запоминаешь весь рельеф, а из машины успеваешь заметить только какую-нибудь высокую гору, и подробности ускользают — не то что на велосипеде...»

За участие в боях Хемингуэй был удостоен бронзовой медали. Но если награды, полученные в первую мировую войну, радовали его и вызывали чувство гордости, то эту медаль он получил, не выразив никаких чувств: слишком велика была цена потерь; он подсчитал, что если бы человечество почтило минутой молчания каждого из пятидесяти миллионов, погибших в кровавой мясорубке, то люди обязаны были бы молчать 96 лет.

После окончания мировой войны Хемингуэй мечтает создать большую книгу о войне на воде, на земле и в воздухе. Завершить он успел лишь одну часть — «Война на воде». Неоконченная книга «Острова в океане» увидела свет в семидесятые годы.

Образ жизни писателя не изменился и после войны. По-прежнему он много времени жертвует спорту — боксу, рыбной ловле, плаванию, охоте. А вот работать творчески он долго не мог. Сам Хемингуэй считал, что это — результат ранений.

Его спрашивали, бывает ли он разочарован в том, что пишет, и случается ли ему бросать начатое. Он отвечал, что бывал разочарован, но начатое никогда не бросал:

«Убежать некуда. Джо Луис сформулировал очень точно — на ринге вы можете отступать, но скрыться негде».

В те же дни он шутливо говорил: «Я начал очень скромно — и побил господина Тургенева. Затем — это стоило большого труда — я побил господина де Мопассана. С господином Стендалем у меня дважды была ничья, но, кажется, в последнем раунде я выиграл по очкам. Но ничто

не заставит меня выйти на ринг против господина Толстого, разве что я сойду с ума или достигну несравненнейшего совершенства... Господин Флобер всегда подавал мячи абсолютно точно, сильно и высоко. Затем последовали господин Бодлер, у которого я научился подавать особенно трудные мячи, и господин Рембо, который никогда в жизни не сделал ни одного хорошего мяча.

Далее приятно, что в пятьдесят ты чувствуешь, что можешь защищать свой титул. Я завоевал его в 20-х годах, защищал в 30-х и 40-х и готов защищать его и в 50-х.

Буду по-прежнему отстаивать свой титул перед всеми хорошими писателями из молодых...

Я буду отстаивать свой титул...»

...И возвращался ветер. И рождались новые вещи...

«Все хорошие книги сходны в одном, — утверждал Хемингуэй, — когда вы дочитали их до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так она навсегда при вас и останется: хорошее или плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места, и какая была погода. И нет на свете ничего труднее, чем сделать это».

И чтобы писать именно так, он встречал каждое утро в шесть часов.

«Вставал он раньше всех, в шесть утра, занимался спортивной зарядкой, плавал в бассейне, потом принимался за работу, — вспоминает Ренэ Виллареал — слуга и друг писателя. — Писал он, всегда стоя босыми ногами на полу».

В книге «За рекой, в тени деревьев» ветеран двух войн полковник Кантуэлл, человек, живший всю жизнь рядом со смертью, едет в Венецию на свидание с юностью. Он прощается с жизнью — охотится на уток в болотах реки Пьеве. Он и в последние дни своей жизни остается азартным чело-

веком, с твердой рукой и метким глазом. И с честным сердцем. И со светлой головой.

И он, Хемингуэй, был таким человеком: лез в самое пекло, на передний край — на передовую империалистической войны в Италии, на арену корриды, на ринг против чемпионов, на охоту за львами и носорогами, на ловлю акул. Он родился писателем милостью божьей и был убежден, что литератор все должен испытать лично. Хемингуэй описывал лишь то, что видел, пережил, понял.

А знал он войну, охоту, спорт, журналистику.

И потому самые любимые персонажи его — солдат, охотник, репортер, спортсмен, — люди действия, отваги, риска. Но отнюдь не безжалостные супермены. И не зря Ричард Кантуэлл спрашивает:

«Как ты думаешь, слово «доблестный» произошло от слова «добрый»?

Хемингуэй сам был человек действия, добрый и доблестный. Он оставался преданным действию всю жизнь. И он страдал от того, что был вынужден из-за болезней все чаще повторять вместе с героем: «Каждый выстрел теперь может быть мой последний выстрел».

Однажды Хемингуэя спросили:

«— Что-нибудь связывает вас со спортом сейчас?

— Связывают мои же сравнения. Фигура Брет в первом романе напоминает линию гоночной яхты. Доктор после удачной операции возбужден и разговорчив, как футболист после удачно проведенного матча.

— Вы все шутите.

— Я серьезно.

— Какой вид спорта вы предпочли бы сейчас?

— С удовольствием бы бегал. Человек начи-

нает сознавать прелесть бега, когда ему стукнет 75... А вообще, хотел бы видеть всех новых боксеров, скаковых лошадей, балеты, велосипедные гонки, тореадоров».

В пятидесятые годы он старался не менять режим дня, сложившийся десятилетиями. Мэри Хемингуэй, вспоминая их путешествие по Африке, отмечает, что и там, в походных лагерях, он начинал утро с зарядки и обтирания:

«Когда на Килиманджаро он чуть свет растирался снегом голый по пояс, а вершина горы освещалась розовыми лучами восходящего солнца, он кричал мне во весь голос: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни!»

Это повторялось каждое утро — в течение двух месяцев.

Ничего не изменилось в быте и привычках писателя и после стокгольмской победы, когда ему была присуждена Нобелевская премия. Хемингуэй, правда, стал не только всемирно известным, не только самым читаемым, он стал, к досаде его, просто модным. На Кубу потянулись богатые бездельники — туристы, ловцы рыбы, яхтсмены-принцы, принцессы, государственные деятели, чемпионы мира. Все они стремились встретиться с писателем. Многие из них даже в глаза не видели ни одной его книги. Хемингуэй смотрел на эти визиты, как на утомительное приложение к его славе. Он терпел.

Терпел и работал. По-прежнему с шести утра.

«— Его беспокоила печень, давали о себе знать тяжелые ожоги, полученные в авиационной катастрофе, поврежденный позвоночник. К тому же у него полдюжины ранений в голову, двести с лишним шрамов от шрапнели, простреленная коленная чашечка», — вспоминает приемный сын писателя Ренэ.

В эти годы он иногда повторяет свои слова, сказанные голландскому режиссеру Йорису Ивенсу во время гражданской войны в Испании:

«— Мужчина не имеет права умирать в постели. Либо в бою, либо пуля в лоб!»

В последние годы Хемингуэй все чаще живет в Кетчуме, в штате Айдахо. Его постоянно мучают страшные боли, он не может вести активный, столь привычный для него образ жизни. Ему остается лишь вспоминать строчки своих ранних произведений, под которыми с грустью и теплотой Хемингуэй мог бы подписаться и сейчас:

«— А что, Ник, если нам с тобой больше никогда не придется вместе ходить на лыжах? — сказал Джордж.

— Этого не может быть, — сказал Ник. — Тогда не стоит жить на свете.

— Непременно пойдем, — сказал Джордж.

— Иначе быть не может, — подтвердил Ник.

— Хорошо бы дать друг другу слово, — сказал Джордж.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы. Джордж уже начал подниматься в гору с лыжами на плече».

«Нам с тобой больше никогда не придется вместе ходить на лыжах...»

Нет, не таков старый горнолыжник Хемингуэй, чтобы считать свои ранения, ожоги, чтобы вздыхать над больной печенью. В перерывах между лечениями в клинике Майо он вырывается с женой в Солнечную долину Сан-Вэлли. Здесь он словно встречается со своей юностью, вспоминает лихой скоростной спуск, помогает постичь искусство слалома своей жене, учит сыновей различать

мелодию скорости. Он, как ребенок, резвится в горах.

Он стремился доказать прежде всего себе, что рука его тверда, а глаз по-прежнему меток. На праздновании своего 60-летия Хемингуэй подтвердил меткость, выбив выстрелом из винтовки сигарету изо рта индийского махараджи...

...А болезни не отступали.

«Его таинственная гибель получила гораздо большую огласку, чем смерть любой знаменитости, — констатирует уже знакомый нам Джед Кайли. — У Эрнеста была широкая, могучая натура: если работать — так работать; если играть — так играть; драться — так драться. Даже смерть он себе выбрал трудную...»

«— В то утро, я помню, что проснулась около шести и выпила воды, а он уже встал. Он всегда ложился спать рано, чтобы рано вставать... и поэтому я не удивилась, что он был уже на ногах, — писала на страницах журнала «Лук» вдова писателя Мэри Хемингуэй. — Я опять заснула... Меня разбудил выстрел...»

Утром 2 июля 1961 года — в те самые часы, когда он обычно делал зарядку и плавал в бассейне, чтобы набраться сил для напряженного рабочего дня, раздался выстрел...

Прах писателя покоится в Солнечной долине, в той самой долине, где свистит ветер в ушах горнолыжников, где мелькают цветные костюмы слаломистов, где звучит неумолчная мелодия скорости — «Серенада Солнечной долины».

Вокруг него кипит жизнь. Вот какой-то горнолыжник «стремительно полетел вниз, в его сознании ничего не осталось, кроме быстроты — чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, он понесся вниз, вниз, быстрей, по

последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стремясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдастся и удержится».

В царстве лыжников спит Хемингуэй, на могильном его холме застыла, как бы прыгнувшая из той, прежней, бурной жизни, африканская антилопа. Грациозная, стремительная, как живая. Уж не от имени ли всех «братьев наших», больших и меньших, уважать достоинство которых призывал Хемингуэй, прыгнула она сюда — через океан — с одного из зеленых африканских холмов, прыгнула и застыла в бронзе... И тишина кругом, тишина, тишина...



Содержание

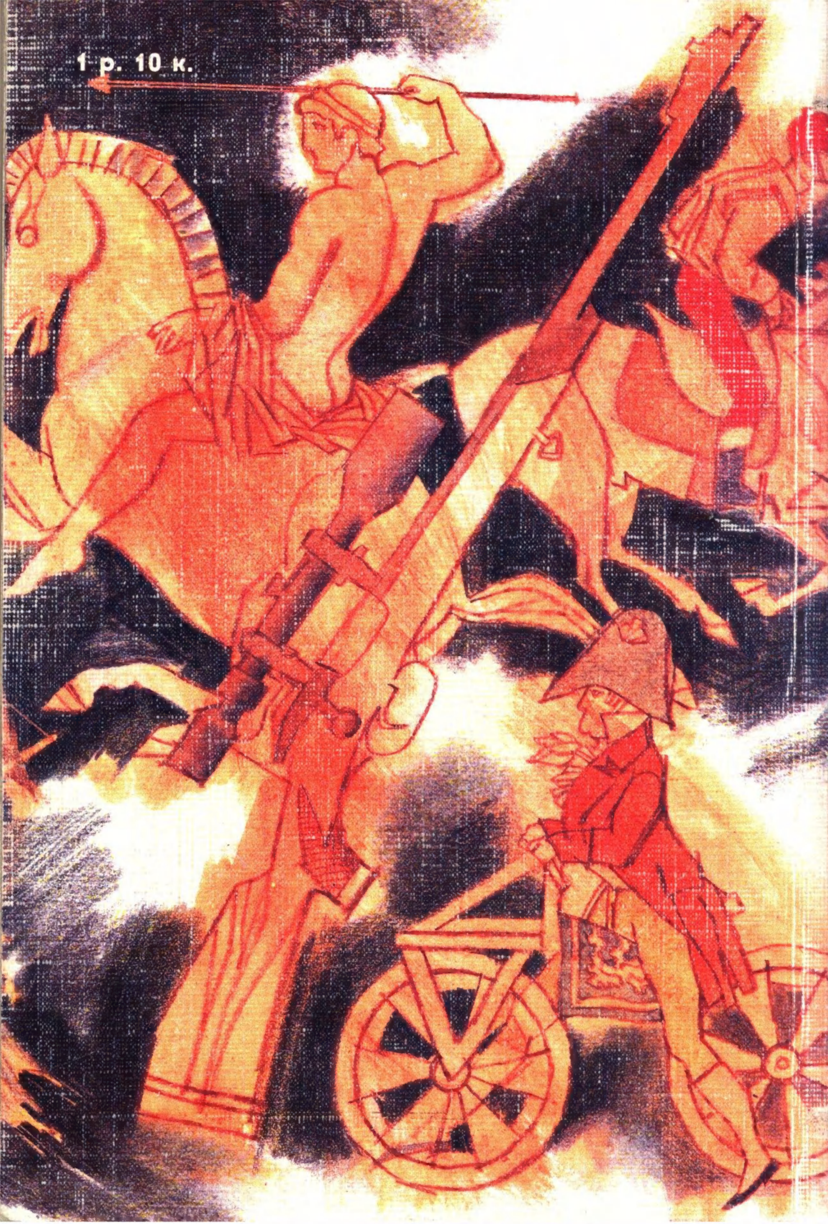
Литературно-художественное издание

Анатолий Андрианович Юсин

«Душой исполненный полет...»

Зав. редакцией *В. Л. Штейнбах*
Редактор *Н. Я. Суслова*
Мл. редактор *А. Ю. Матвеева*
Художник *Г. Д. Новожилов*
Художественный редактор *Е. С. Пермяков*
Технический редактор *О. П. Жигарева*
Корректор *Г. Б. Пятышева*
ИБ № 1861
Сдано в набор 23.07.87. Подписано к печати 06.01.88. А01306. Формат 70×100/32. Бумага офс. № 1. Гарнитура Школьная. Офсетная печать. Усл. п. л. 14,95. Усл. кр.-отт. 30,55. Уч.-изд. л. 15,58. Тираж 100 000 экз. Издат. № 7594. Зак. 1366. Цена 1 р. 10 к.
Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 101421, Москва, Каляевская ул. 27.
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, Калинин, пр. Ленина, 5.




1 р. 10 к.

